

84/2Рое = Руа/6
К.65

Николай
КОНЯЕВ



Бывает!

Тюмень
«Сити-пресс»
2013

84

отдела - 1101
К65

Николай Коняев

БЫВАЕТ!

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени
«Централизованная городская библиотечная система»
ИНН 7204037883
Литературно-краеведческий центр
г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 14

214

- 132099/1-

Тюмень
«Сити-пресс»
2013

УДК821.1БГ.1-32
ББК84(2=411.2)6-44
К64



*Автор
выражает признательность
за содействие в издании однотомника
Департаменту информационной политики
Тюменской области
и депутату Тюменской областной Думы
Козлову Сергею Сергеевичу*

Коняев Н.И.

Бывает: Рассказы и повести / Предисл. С. Луцкого;
К64 послесл. М. Рябия — Тюмень, «Сити-пресс», 2013. —
312 с.

ISBN 978-5-98100-165-9

В однотомник избранной прозы Николая Коняева вошли произведения из книг, изданных в разные годы в Шадринске, Тюмени, Екатеринбурге, Москве, а также новые рассказы.

ISBN 978-5-98100-165-9

© Коняев Н.И., 2013

© Луцкий С.А., предисловие, 2013

© ООО «Сити-Пресс». 2013

И ЭТО ВСЁ О НЁМ...

1

Меня всегда занимал вопрос: когда Коняев умудряется писать?

С Николаем я знаком лет пятнадцать, и почти всё это время он возглавлял писательскую организацию Югры. Должность беспокойная и многотрудная. Это и разработка разного рода документов, и их реализация на деле, и многочисленные выступления перед читателями, и участие в писательских мероприятиях, вплоть до Всероссийских. В том числе, и многолетнее редактирование альманаха «Эринтур». На такой должности ни словом, ни взглядом нельзя задеть гипертрофированное самолюбие авторов.

И тем не менее, Коняев писал. Находил для этого время и силы. Умел сохранять в себе душевное равновесие, без которого ничего толкового в литературе не создашь. А что это как не показатель духовного здоровья и преданности делу, которому отдана жизнь?

Я мог бы перечислить и другие вехи биографии Николая Ивановича. Но в жизни писателя не внешние события определяют суть. Главное — душа и ум, а они наиболее полно проявляются именно в произведениях. Отсюда и название этих заметок. Разговор о рассказах и повестях Коняева — попытка осмыслить его духовную сущность, нравственные критерии и писательский потенциал. Что, повторюсь, главное в настоящем, серьёзном литераторе.

2

У прозы Коняева есть одна любопытная особенность. В ней чувствуешь себя как в обжитом деревенском доме. Ты

не знаешь наверняка, что ждёт тебя в той или этой комнате и какой вид откроется из окна. Но совершенно уверен: и там, и здесь встретишь понятные, близкие твоему читательскому сердцу порядки и вещи.

Ощущение естественное, причины очевидные. Николай Коняев работает в стилистике, имеющей в отечественной словесности давние добрые традиции. Эта стилистика (речь не столько о формальных признаках письма, сколько о нравственных установках) осемена именами Василия Шукшина, Виктора Астафьева, Василия Белова, других хороших писателей. Для них духовное здоровье русского человека всегда составляло главный нерв творчества. Если же заглянуть вглубь времени, то забрежжат фигуры исполнителей нашей литературы, на многие годы и определившие её пафос.

Большая часть включённых в нынешний однотомник произведений хорошо знакома читающей публике. Эти рассказы и повести печатались в московской и региональной периодике, выходили в коллективных сборниках, публиковались в авторских книгах Коняева. Не ошибусь, сказав, что в фокусе внимания писателя находятся прежде всего деревенские жители (отсюда, вероятно, и ассоциирование коняевской прозы именно с деревенским домом). Основное же духовное содержание рассказов и повестей — стремление человека сохранить в себе твёрдые нравственные начала.

Особенность нашего времени: оно насыщено многочисленными идеями — от традиционных до вполне экзотических. Что и понятно, процессы глобализации проявляют себя и таким образом. Кто-то преклоняется перед научным прогрессом, а кто-то верит, что на Сатурне обитают души умерших. Но для героев Николая Коняева главное не отвлечённые идеи (нередко оказывающиеся к тому же ложными), а то, что испокон века существует в народном сознании. Это справедливость, честность, семейный лад.

С симпатией следишь, например, за Таисьей — молодой героиней рассказа «Чужая музыка», сумевшей отказаться от такого нужного ей, но ворованного тёса. Трогает сердце родительское беспокойство Евдокии и Никандра

(рассказ «Письмо без приветов от Кирилла»). Сопереживаешь бескомпромиссному Мартынову («Прости, капитан»). И невольно задумываешься: окажись больше таких людей в нашей стране, так ли сложилась бы её история?..

Почти родственные чувства вызывает Изот Чагин из рассказа «Изоша Поперёшный». Ну не хочет человек быть бараном в стаде, направляемом новыми властью имущими!.. Об исконном для России нежелании начальства понять простого труженика речь в одном из лучших коняевских рассказов «Всё переврут».

Стоит сказать о непростом вопросе, которым в последние годы задаются многие писатели. Гуманистическая традиция — это, конечно, хорошо. Но не устарел ли такой подход в литературе, не остался ли в прошлом? На первые роли всё очевидней выходят произведения другого рода. Разговор не о коммерческих изданиях — все эти детективные, дамские, мистические и прочие сочинения не в счёт. Они не литература.

Имею в виду произведения, авторам которых не откажешь в профессиональных качествах, но которые превращают литературу в некую забаву, в разгадывание невразумительных ребусов и шарад. Их романы и повести — этакие вещи в себе, самодостаточная игра интеллекта. Осмысление новых тенденций в жизни такими авторами происходит никак не с позиций нравственности, чем всегда была сильна русская литература. Декларируется едва ли не полное безразличие к реальной жизни с её болевыми точками.

В какой-то мере позицию таких писателей можно понять. Вероятно, это разочарование в проповеднической миссии литературы. Её высокие идеалы, к большому сожалению, человечество не исправили. (Что, замечу, на протяжении нескольких веков, которые существует светская литература, и нереально. Христианство, к примеру, бьётся над совершенствованием человека два тысячелетия — и с довольно скромными результатами).

Возможны и другие объяснения подобной тенденции в современной изящной словесности. В частности, зависимость от власти, как ни странно это может прозвучать в нынешние времена. Опыт показывает, любая власть

не заинтересована в оценке своей деятельности с точки зрения нравственности. И совсем не обязательно вводить цензуру. Достаточно, к примеру, поставить «толстые» журналы, задающие тон в литературе, в финансовую зависимость от государства. Что благополучно и делается.

Но каковы бы ни были причины смутного времени в литературе, мириться с мыслью, что отныне ей уготована роль пустого и необязательного времяпрепровождения, согласится не каждый писатель. Согласиться — значит лишить литературу смысла, души, отказать в высоком предназначении. В наши дни водораздел между истинной литературой и подделкой под неё — не то, какими стилистическими приёмами пользуется писатель и не устарели ли они. Куда важнее: есть у него нравственная позиция или нет. Именно это оселок, на котором поверяется значимость литературной работы.

Следует всё-таки оговорить один существенный момент. Превозносить прозаика только за то, что он не теряет нравственных критериев, было бы неосмотрительно. Пафос автора становится фактом литературы только в том случае, если он подкреплён профессиональным умением. В этом смысле Николай Коняев, как уже говорилось, также похорошему традиционен, его произведения по-писательски добротны и высокопрофессиональны.

Претендующая на объективность оценка должна быть доказательной. Сделать это в данном случае и легко, и сложно. Проза Коняева из того разряда, когда каждая фраза, вырванная из контекста, ничего из себя особого, казалось бы, не представляет. Но в совокупности с другими создаёт плотную художественную ткань, отличающую настоящую прозу от суррогата.

Прочитую начало рассказа «Изоша Поперёшный».

«Понутру 7 ноября Изот Чагин встал в предвкушении праздника, чему законным основанием служило красное число на отрывном календаре. Встал и, почёсывая грудь, прильнул к окну.

— Погляди в своё окно — всё на улице красно! — продекламировал он с чувством, хотя на улице-то было

вовсе не красно, не ало, даже и не розово, а белым-бело от свежего, ночью выпавшего снега.

Дурачась от избытка тёплых чувств, он мимоходом чмокнул жену в ухо и под её довольное бурчание вышел налегке во двор. Постоял, полюбовался чистым оснежением и расправил плечи...

Через полчаса, выбритый, умытый, сел за стол и выжидательно глянул на жену. Тоже на законном основании. Но она вдруг проявила нерешительность.

— А может быть, Ишоша, без стопки обойдёшься?

— А почему без стопки? — удивился он. — Праздник же сегодня!

— Да, вроде, праздник и не праздник, не поймёшь...

Ещё когда по радио сказали, что демонстрации не будет! Скажи, Иван? Ты слышал?

Сын подтвердил с набитым ртом:

— Угу... Сказали. Слышал».

Ничего, на первый взгляд, особенного. Простота и естественность текста порой создают именно такой эффект. Но искушённый читатель отметит: за каждой фразой свобода обращения со словом и материалом. А они даются даже одарённому литератору далеко не сразу. Коняевский текст имеет самостоятельную эстетическую ценность — он, что называется, вкусен, осязаем. А умело вкрапленные детали с самого начала закладывают в читательское сознание представление о героях.

Изот — обычный, нестарый ещё мужчина, он и грудь способен с удовольствием почесать, и жену попутно чмокнуть, и полюбоваться во дворе свежевывавшим снегом. Живёт Изот, судя по всему, в собственном доме то ли в поселке, то ли на городской окраине (должны же быть у него основания надеяться, что 7 ноября «всё на улице красно», — в деревне такого не бывает). Косвенным подтверждением полудеревенского быта и отрывной календарь на стене — городские, более «продвинутые» жители предпочитают глянцевого календари-альбомы.

Жена Изота тоже осязаема уже по первым фразам рассказа и своим репликам. Она из тех простых женщин, которым приятно внимание мужа, но традиция требует

поворчать, когда тебя целуют при сыне. В семье она не на последних ролях, что по ходу повествования и подтверждается. Жена определяет, когда налить Изоту рюмку, а когда нет; когда дать деньги «на общение» с мужиками, а когда и отказать. Кстати, это обстоятельство — краска в характер не только Изотовой супруги, но и его тоже. Во всех смыслах положительный семьянин вряд ли полез бы на телевышку устанавливать красный флаг...

Всего несколько фраз, но сколько всего за ними! Кроме психологически точного поведения и реплик героев налицо и экономное обращение автора со словом, когда нет ничего лишнего и каждая деталь несёт максимальную смысловую нагрузку. Подобное дорогого стоит, особенно в жанре рассказа, который по определению должен быть лапидарным. Ну и, разумеется, звучание каждой фразы, абзаца. Без чувства гармонии, лада хорошего писателя не бывает. Коняев это чувство демонстрирует убедительно. Как и стремление к неизбежному определению или ситуации. Изот любит «чистым оснежением», а целует жену не в щёку, а в ухо — потому что неловко, мимоходом...

Остаётся только добавить, что всё перечисленное типично не только для «Изоши Поперёшного», но и для всего творчества Николая Коняева.

Написанные в разные годы и собранные под одной обложкой, рассказы стали показателем ещё одной существенной особенности. Речь о направлении, в котором развивается коняевская проза. Так сказать, вектор её движения. «Изоша Поперёшный», «Время поворота солнышка на лето», «Новый русский хант», «Деньги для адвоката», «Прыжок с закрытыми глазами» и некоторые другие рассказы запоминаются не только современностью материала. Они — новый этап становления Коняева-прозаика. В этих произведениях автор самобытней, изобретательней, тоньше, чем в написанных раньше. А замысел новых рассказов объёмней и глубже.

Живописуя, например, жизнь пенсионера Петра Мокевича («Время поворота солнышка на лето»), автор подводит читателя к пониманию состояния человека, выпавшего из полнокровной жизни и в итоге никому не нужного.

Ситуацию объёмно подсвечивает и выводит на общечеловеческий, вневозрастной уровень случай с бывшим сотрудником Петра Мокеевича — Григорашем, которого уволили с работы. Пронзительный, берущий за сердце рассказ! Сделан он на полутонах и, при всей своей самостоятельности в чём-то перекликается с рассказами Чехова.

Или взять «Прыжок с закрытыми глазами». Здесь тоже всё современно, узнаваемо, тонко. И мытарства тридцатилетнего Семёна, в прошлом работника совхоза, а ныне безработного. И недовольство его жены Шуры, которая того и гляди уйдёт от него, а ещё вероятнее — самого Семёна выживет из дома. И возникшая от безысходности мысль пойти служить по контракту в горячую точку...

Удерживает Семёна от опрометчивого поступка случай. Купаясь, он чуть было не напоролся в воде на остро затёсанные колья. Он так ярко представил в мыслях и пережил свою смерть, что это отрезвило его. Семён приходит к выводу: никакие бытовые трудности не стоят жизни. Показательна концовка рассказа. Семён *«...в сумерках пришёл домой и виновато улыбнулся встревожено взглянувшей на него жене.*

— Ну, как вы... без меня тут?»

Эту реплику можно трактовать и совершенно иначе. Может статься, Семён пришёл к другому решению. Мысленно пережитая смерть не отрезвила его, а смирила с неизбежным. Служить в горячей точке всё равно придётся — работы нет и не предвидится, а терпение Шуры на пределе.

Николай Коняев даёт читателю возможность самому додумать, как дальше повернётся жизнь персонажа. Не толкать к однозначному выводу, не расставлять все точки над і — один из показателей писательской зрелости. Жизнь разнообразней нашего представления о ней.

Глубиной и неординарностью мысли запоминается рассказ «Коршун». Он написан в постперестроечные годы, когда о многих ранее притушёвываемых явлениях стало можно говорить открыто. Речь в рассказе о колхозном объездчике по прозвищу Коршун. Во время Великой Отечественной этот человек был механиком-водителем танка, имеет много боевых наград, но до сих пор не перестаёт пакостить односельчанам. Его страсть — убивать плёткой гусят.

Жестокость, возводимая на войне в ранг героизма, осуждается и вызывает неприятие в обычной, нормальной жизни. Парадокс, заставляющий по новому взглянуть на тех, кто был первыми на фронте. Воистину, война — противоестественное, бесчеловечное дело. Единственное, что, на мой взгляд, снижает пафос рассказа, это попытка объяснить жестокость Коршуна житейскими обстоятельствами. Безжалостность — скорее, врождённое качество, а не приобретённое. Именно она, выражаясь словами персонажа, «струя» в его жизни. А «брызги» — и ордена, и убитые гусята. То и другое в одном ряду.

3

Отдельного разговора заслуживают повести Николая Коняева. В том числе, «До поры до времени» — одна из лучших, самых глубоких в его творчестве. В основе этого произведения извечная для русской интеллигенции боль — взаимоотношения с народом. Несколько слов о содержании повести.

Её главный герой Виктор Веремеев приезжает на несколько дней в родную деревню. Он — писатель, служит в журнале, но приехал в деревню не отдыхать, а в тишине и покое написать важную статью. Угадывается время — конец 80-х или начало 90-х с их идеологическими битвами, непомерным авторитетом депутатов и прочей атрибутикой.

Как водится, поработать Веремееву не дают. Сразу возникает масса дел: от необходимости подновить загородку для кабана в хозяйстве немощного дяди — до приглашения выступить перед земляками по районному телевидению. Глазами известного, повидавшего мир писателя мы видим безалаберность деревенской жизни. Пьянство, пренебрежение исконными крестьянскими обязанностями, безразличие к жизни родного человека. Только и остаётся вслед за Веремеевым воскликнуть: «*Самоубийцы вы!..*»

И то сказать, дядин двор — «с обрушенным колодцем у ветхого плетня, с запрокинутым отчаянно в небо журавлём над трухлявым срубом зарос густой пастушьей сумкой, неувыдаемым пыреем». И всё это при вполне здоровом двоюродном

brate Веремеева — Сахе (Александре). Сам Саха берёт с матери деньги за обещание привезти дров, благополучно пропивает их, а дрова так и не привозит. Потребовалось вмешательство Веремеева, чтобы дрова всё же были доставлены. Дядя Пётр (Петруня) готов, что называется, заживо лечь в могилу, лишь бы не ездить к врачам. Сын Саха потворствует ему, хотя мог бы присоединиться к здравомыслящему Веремееву и настоять на больнице...

О деревне в русской литературе написано немало. Если говорить только о классике, это и чеховские «Мужики», «В овраге», и «Деревня» Бунина. А ещё раньше — «Записки охотника» Тургенева, очерки ныне полузабытого Глеба Успенского и многое другое. Любопытна метаморфоза в изображении крестьян. Если, скажем, у Тургенева на первом месте уважение к внутреннему миру и талантам крепостного, то отношение к деревенским жителям у Чехова (и особенно у Бунина) едва ли не диаметрально противоположное.

Людам, выросшим на европейской культуре, кажутся дикими, нечеловеческими условия, в которых живут крестьяне. Давно уже нет помещиков-крепостников, на которых можно было списывать неприглядные стороны жизни деревни, а дикости и грязи, по Бунину и Чехову, стало только больше.

В советской литературе так жёстко о колхозниках не писали. Причина, думается, не только в идеологических установках. Русские интеллигенты (и писатели, в том числе) двойственны по своему мировосприятию. Они понимают: так, как наши крестьяне, жить нельзя — это оскорбительно для человеческого достоинства. Так живут разве что в полудиких Афганистане или Сомали. Но ведь «вышли мы все из народа», народ наш кормилец. Мы, дескать, живём в квартирах с тёплыми клозетами, а крестьяне — в избах с печным отоплением, с единственным на несколько деревень магазином, в который только на тракторе и можно добраться...

Я не склонен преувеличивать значение волевого начала в судьбе каждого из нас. К несчастью, бывает так, что семья, в которой человек родился, окружение, в котором вырос, другие обстоятельства не позволяют ему жить иначе. Однако и то правда, что многие всё же вырываются из

«идиотизма деревенской жизни», стремятся к более достойному существованию, а главное — добиваются его.

Что же касается миссии интеллигенции, которая якобы должна жертвовать собой ради блага народа, лично мне видится в этом изрядная доля лукавства. Жертвенность выгодна власти, которая готова с радостью свалить на плечи интеллигенции то, о чём должна заботиться сама. Подобная позиция выгодна и таким людям, как Саха. Не для того они остаются в деревне, чтобы пахать огороды, помогать колоть подсвинков и т.д., как заявляет Галина. Причина в другом. Так вольготно, как в деревне, людям, подобным Сахе, нигде не будет. Чтобы и выпить, и закусить, и квартиру бывшей жены взломать, и пьяным на тракторе в баню с моющими-ся женщинами въехать без особых для себя последствий, и прочие nepотpeбствa творить.

Выше я говорил о том, что Коняев избегает приговоров. Как многое в жизни, явления вокруг нас имеют противоречивую сущность. Прав Веремеев, но и правы, видимо, пусть по-своему, его деревенские родичи. Может, и в самом деле не стоит «трогать с места» Петруню? Человек прожил большую нелёгкую жизнь, она естественным образом клонится к закату — чем ему помогут врачи?.. (Кстати, удивительно точно автор передаёт состояние тихо уходящего из жизни человека. Ничто вроде бы у Петруни не болит, а он может часами сидеть неподвижно, отрешённо глядя в одну точку, то и дело подыскивает место, где можно было бы прикорнуть, практически не участвует в окружающих событиях. Человек словно готовится к другому состоянию, другой реальности, если таковая существует).

И, возможно, не выговор Веремеева подействовал на Саху, который всё-таки привёз дрова для отца и матери, а нечто другое. Можно пить, но слово своё держать, хотя и выполнять обещанное не сразу. Есть своя логика и в поведении Галины, которая только что была готова упечь Саху за его художества в тюрьму, но сутки спустя яростно бросается защищать от Веремеева...

Крестьянская жизнь — другая цивилизации. Другой образ жизни и мышления. То, что в конечном итоге и разъединяет европеизированного русского интеллигента

и исконного сельского жителя, несмотря на общность языка, истории, менталитета. Такие мысли — непростые, горькие — приходят по прочтении повести. Знаменательна её концовка. У Веремеева происходит обширный инфаркт. Надо полагать, причиной не только идеологические разногласия с ярыми перестройщиками, но и то, чему он стал свидетелем в родной деревне.

Не останавливаюсь подробно на других смысловых составляющих повести. Хотя есть среди них серьёзные. Например, сюжетная линия, представляющая взаимоотношения Веремеева с «апрелевцем» Зарницким, которого на свою голову он когда-то пригрел, помог пробиться в литературе. Символическими выглядят блуждания Веремеева и Зарницкого в поисках дороги — ни «консерватор», ни «демократ» долго не могут её найти, всё выходит на болото... Вторым планом, дополняющим основные события, идут ощущения и мысли главного героя, связанные с положением писателя в обществе. С одной стороны, неуверенность, что он, Веремеев, имеет право чему-то учить людей, на глазах которых вырос. А с другой — убеждённость, что они, земляки, уважают и ценят его. И никому не позволяют оскорбить или ложно обвинить.

События повести показывают — позволяют. И даже сами устами Галины обвиняют.

Такова уж, видно, судьба русской интеллигенции. Быть, по большому счёту, чуждой народу. Не потому ли, что она хочет родной народ видеть другим, стремится, пусть и вяло, изменить его жизнь?..

Если в «До поры до времени» народ показан в восприятии интеллигента Веремеева, то в другой значимой в творчестве Коняева повести «Околоток Перековка» посредников не существует. Вернее, он есть — главная героиня Серафима Ниловна Колягина, пенсионерка шестидесяти трёх лет. Однако она сама одновременно и носитель народного восприятия с его традиционными понятиями о добре и зле, правде и кривде. Обостряет это восприятие горбачёвская перестройка, ставшая бедой для подавляющей части населения страны.

Резкий всплеск преступности, талоны на продукты питания, произвол чиновничества, обман едва ли не везде и во всём — всё это для людей, привыкших к порядку и благополучию 70-х и первой половины 80-х годов, стало шоком. Заправилами в жизни, и это всё очевидней, становятся те, кого власть ещё недавно преследовала. Честный труд стремительно теряет свою цену. Растёт число опустившихся, растерявшихся перед новыми реалиями людей — бомжей.

Да что бомжи! Серафима Ниловна, у которой и крыша над головой есть, и пенсия, всё более и более чувствует себя неуютно в новой жизни. Северу она отдала лучшие годы, а сейчас, на склоне лет, оказывается, что не так жила и в своих бедах сама же виновата. Устами видного в масштабах города чиновника власть внушает ей это. Кроме ветхого домишки на окраине у Ниловны ничего нет. А теперь и его собираются сносить. Казалось бы, радуйся — взамен дадут более благоустроенное жильё. Но тогда не будет огорода, который немалое подспорье для пенсионерки. И квартирантке-студентке придётся отказать. Как, чем жить в условиях повального дефицита и начинающейся инфляции?..

Отчуждение к перестроенной жизни переносится у Ниловны на сам город Кедровый. Женщине кажется, что в родной деревне всё другое, лучше и светлее. Она решает вернуться туда. Однако нужны деньги, чтобы обжиться на новом месте. Вопреки своим убеждениям Ниловна принимается приторговывать водкой. А это не только постоянное беспокойство по ночам, но и страх. Лихих людей вокруг всё больше, а вдруг кто позарится на рубли, что она скопила на переезд? Скажем, тот же вахтовик-пропойца Шуруп, из-за денег убивший уже человека.

Завершается повесть трагически. Ниловна, жертва новой жизни, стреляет из ружья в другую жертву, бомжа по прозвищу Полиглот. Ниловна в своё время выходила его, спасла от смерти, а сейчас убивает, приняв за Шурупа... Гримаса перестроенной действительности, расшатавшей нравственные устои, смешавшей понятия добра и зла. Теперь вместо спокойной жизни в родной деревне — лагерь. Пойдут прахом собранные с таким трудом и насилием над собой деньги. Сама судьба пожилой труженицы будет исковеркана...

И в этой повести Николай Коняев проявляет себя как тонкий стилист — качество, характерное для всего его творчества. Язык повести пластичен, образен, точен. Текст от автора гармонично сочетается с несобственно прямой речью — речью самого народа, одним из лучших представителей которого Ниловна заявлена. Завидую читателям, которым только ещё предстоит познакомиться с повестями и рассказами Коняева!

4

Нынешний однотомник включает в себя и многие другие произведения. Они дают достаточно полное представление о творческом пути Николая Коняева, о его становлении и развитии как прозаика. По сути, это подведение итогов многолетней работы в литературе, пусть пока и предварительное.

Разумеется, что-то осталось и за пределами юбилейного однотомника, по тем или иным причинам не вошло в него, хотя эти произведения тоже заметные вехи в писательской биографии автора. Почитателям таланта Коняева знакома, например, его документальная книга «Моя нечаянная Родина». Это не только благодарная дань памяти родителям, семье, многочисленным родственникам, но и скрупулёзная исследовательская работа о прошлом малой родины.

Значителен, на мой взгляд, потенциал другого документального повествования «Возмездие, или Версия жизни и смерти гражданина из города Берёзова Коровьи-Ножки». Это произведение печаталось в центральной периодике, входило в один из авторских сборников Николая Коняева. В фокусе внимания писателя глубокая мировоззренческая проблема. Коротко её можно сформулировать так: влияние на судьбу простого человека мимолётного случая, сведшего его с исторической личностью. Берёзовский мещанин Кузьма Илларионович Коровьи-Ножки помог бежать из ссылки злому гению российской истории Льву Троцкому...

Насколько мне известно, Коняев и сейчас продолжает работать над этой темой. Документальное повествование превращается в полновесный роман, насыщенный

реалиями времени и осязаемыми характерами. Факт показательный. Он говорит о том, что творческий потенциал одного из лучших прозаиков современной Сибири не истощён. Своё 60-летие Николай Коняев встречает за рабочим столом, в «загашнике» у него тесно от идей и замыслов.

Надеюсь, впереди у собрата по литературе много плодотворных лет. Уверен, не существует художественных задач, которые теперь, в пору писательской зрелости, он не смог бы решить.

Сергей ЛУЦКИЙ

132099/1

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени
«Централизованная городская библиотечная система»
ИНН 7204037883
Литературно-краеведческий центр
г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 14

ПРЫЖОК С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ

Чтоб нас тоже видели
Деньги для адвоката
Прыжок с закрытыми глазами
Обидно!
Прости, капитан!
До поры до времени

Чтоб нас тоже видели!

Жил на нашей тихой улице Мишуня Бикбаев. Мой одноклассник. Его старший брат, Родион Ильич Коньков, и поныне живёт на том же месте в новом коттедже — теперь уже, наверное, пенсионер. В отличие от брата фамилию Мишуня носил материну, потому что, кто был его кровным отцом, твёрдо не знала, похоже, и сама родительница. А её звали Шамсия — она была башкирочка. Невысокого роста, черноглазая, смуглолицая, весёлая женщина. Работала поваром в рабочей столовой. Она как-то вдруг выскочила замуж за одного заезжего красавца кавказской внешности, соседки поговаривали: «за карачая», и этот «карачай» по имени Джамал увёз её вместе с малолетним Мишуней к себе на родину. Родиона они оставили на временное попечение старикам Коньковым. Свой северный домик, построенный первым русским мужем Ильёй, утонувшем в начале пятидесятых на сплаве, Шамсия продала, чтобы на вырученные деньги купить хороший дом на родине Джамала в Карачаевске — городке на живописном месте слияния Теберды и Кубани. Дом купили, Шамсия родила своему карачаевцу наследника — Кемала. А потом что-то сломалось в их жизни. Кто из них был прав, кто виноват, не мне судить, но кончилось всё тем, что темпераментный «карачай» однажды избил свою северную избранницу и буквально вытолкнул её за порог вместе с Мишуней. Шамсия и рада бы вернуться на Север, да путь отрезан — домик-то продан. На первое время изгнанников приютила сердобольная соседка из русской семьи. Шамсия устроилась официанткой в недорогое кафе, Мишуня ходил в школу...

В школу-то ходил, но затаил обиду и, оказалось, долго вынашивал план мести. И как-то тёмной ночью поджёг дом Джамала. Не скрывался и не запирался, на первом же допросе признался во всём. Пожар вовремя потушили, никто не пострадал, но Мишуня получил солидный даже для

малолетка первый срок... Русская соседка после Мишуниной выходки испугалась мести родственников Джамала, и отказала Шамсии в приюте. Шамсия, помыкавшись какое-то время на чужбине, окончательно сломалась и выдохлась: через два года её окоченевший труп обнаружили на железнодорожном вокзале в Ставрополе. Беспаспортную «синюшку» наспех закопали в углу кладбища, воткнули в холмик деревянный крест под номером, и даже Родион до Мишуниного возвращения из мест заключения ничего о матери не знал...

Вторую лагерную «путёвку» Мишуня получил в том же злополучном Карачаевске, не успев как следует отдышаться после первой отсидки. Освободившись, прибыл для розыска пропавшей без вести матери. На местном рынке, успев пропустить стаканчик дешёвого сухого вина, лицом к лицу столкнулся с братом отчима. Тот вознамерился, было, не сходя с места, отомстить за поджог, но приземистый Мишуня сумел упредить удар карачаевского ножа... Усмотренное судьями «превышение пределов необходимой обороны» отправило его проторённой дорожкой по обратному адресу...

После второй «ходки» он предусмотрительно (от «греха подальше») вернулся в родной город. К тридцати годам у Мишуни за плечами имелось восемь классов общеобразовательной школы и двенадцать лет лагерной «академии». Остановился не у старшего брата — Родион к тому времени имел уже двоих детей и занимал ответственную должность в исполкоме, — а у престарелой хантыйки тёти Маши, два женатых сына которой не подавали о себе вестей с незапамятных времён. Устроился столяром в горпромкомбинат. Когда бы и где бы я его ни встретил, на ремне через плечо у него висела кожаная сумка с инструментом — с разными там рейсмусами, рубанками, ножовками. Я всегда останавливался с ним на минутку-другую.

— Привет, Мишуня. Как дела?

Он расплывался в благодушной улыбке.

— Как сажа бела!

— Что так?

— Да так. Строгаю-строгаю, пиляю-пиляю, а денег, корики-макорики, никак не прибавляется, всего-то полмешка осталось!

Меня он уважал. Во-первых, в раннем детстве мы с ним жили на одной улице, играли в одни игры. Во-вторых, ко времени его возвращения в родной город я уже учился в Литературном институте и начинал печататься. А Мишуня с благоговением относился к писателям, особенно к большим поэтам, потому что сам писал. Хотя, сказать «писал» — сказать не точно. Точнее было бы сказать его словами — придумывал «куплеты». Они у него рождались на ходу. Как афоризмы. Он их даже и не записывал, а запоминал. Однажды я вытащил его на очередное заседание городского литературного объединения. Прочесть свои «куплеты» на публике Мишуня так и не осмелился, зато в ходе обсуждения творчества одного из начинающих едва не разразился матом... Дело заключалось в том, что автор с каким-то очень уж неестественным надрывом читал длиннющую, никуда не годную поэму, посвящённую матери, откровенно, к тому же, подражательную знаменитому есенинскому «Письму»...

— Что за хренотень! — вскипел Мишуня. — Ты вообще адрес матери помнишь?

— Помню, — промолвил ошарашенный автор.

— Где она живёт?

— На Украине...

Мишуня в сердцах швырнул через стол раскрытую тетрадь и ручку.

— Напиши письмо! Напиши по-человечески о том, что ты здесь в стихах лепечешь! Что ты её любишь, помнишь, жалеешь, скучаешь! Ты летом в отпуск к матери едешь? Нет! Ты куда-нибудь на море мчишься! Пузо погреть! А ты сядь в самолёт — три часа, и у матушки на Украине! На дворе — двадцатый век! Не пушкинская эпоха. Даже и не есенинская. Не мать ты любишь, а себя в... поэме!

Не на шутку оскорблённый автор двинулся, было, на Мишуню. Немало потребовалось усилий, чтобы успокоить и поэта, и его критика...

С тех пор общаться с городской литературной братией Мишуня зарёкся.

— Туда я больше не пойду. Что там за поэты? Дети, корики-макорики!

С годами я всё больше убеждался в Мишуниной правоте. Сколько всего прошло перед моими глазами! А уж в наши дни человечество научилось спекулировать даже на святых чувствах. С каким искренним убеждением мы иной раз восклицаем, пытаясь переубедить чрезмерно жестокого, на наш «человеколюбивый» взгляд, обвинителя, а пуще всего, наверное, всё-таки самих себя в том, что конкретный негодяй и подонок — человек не совсем конченный для общества. Мы ищем и зачастую находим у подлеца и отморозка какие-то доселе скрытые от постороннего взгляда положительные черты, искорки проявления человеческих чувств. Мы воодушевлённо обращаемся к этому бесчувственному, по нашему убеждению, обвинителю, не способному, якобы, разглядеть в человеке человеческое: «Прочитайте его покаянное письмо к матери. Это не письмо — это молитва! Разве оно не свидетельствует о том, что сердце этого человека ещё не остыло окончательно?»

А то, что этот подонок десятилетия своей беспутной жизни купался в роскоши, прожигал жизнь в дорогих ресторанах и казино, «омывал» в ваннах с шампанским многочисленных любовниц и валютных проституток, но ни словом, ни делом ни разу не помог своей брошенной на произвол судьбы, голодающей с ельцинских времён в какой-нибудь богом забытой деревушке престарелой матери, мы во внимание не принимаем...

Но вернёмся к Мишуне.

Из его многочисленных «куплетов» мне запомнился один:

*В России долго не живут —
В России долго выживают.
А выжив, тут же умирают
И воскресения не ждут...*

— Неплохо, — оценил я. — Вот только последняя строчка...

— А что, последняя не в яблочко?

— Вот именно... Не внятно как-то! Ну, что значит — «воскресения не ждут?»

— А что тут непонятного? Зачем воскресать? Чтоб, воскреснув, начать мыкаться по новой?

— Не в том, Мишуня, евангельский смысл воскресения!

— Мы евангелий не проходили, — буркнул Мишуня, но, впрочем, долго не упрямяствовал. — Ладно, может, как-нибудь докумекаю!

Как-то раз он «забежал» вскоре после моего очередного возвращения из Москвы. Слово за слово, разговорились о столичных знаменитостях. Он всё интересовался:

— А Евтушенку видел?

— Видел.

— Живо-ого?!

— Ну, не мёртвого же, Миш!

— Не, в смысле, не по ящику — в натуре?!

— Не по ящику, в аудитории...

— А Вознесенку?

— И Вознесенского видел.

— У, корики-макорики! — Миша восторженно встряхивал головой.

— А вот этого... который «пил из черепа отца»?

— Кузнецова? Юрий Поликарпович ведёт в семинар в институте...

Большие поэты, по-видимому, представлялись Мишуне людьми из другого мира, дотронуться до которых — «в натуре!» — ему уже и не мечталось...

— Ну, тогда наливай! — Мишуня выковырнул из-под инструмента в сумке запасённую для случая бутылку. — Выпьем!

— За кого? За Евтушенко с Вознесенким?

— Зачем? За нас! Чтоб нас тоже... видели!

С тех пор прошло немало лет. Однажды на вопрос о Мишуне кто-то из наших общих знакомых сообщил, что он, вроде, помер. Я, конечно, погрустил о друге детства, посетовал на жизнь нашу безобразную, вспомнилось мне его проникновенное: «В России долго не живут...». В церкви поставил за упокой души раба божьего Михаила свечку. На том бы и закончилась эта история, если бы...

Этими редкими «если бы» и озаряется порой наша тусклая жизнь.

* * *

В августе 2003-го я отдыхал на одной из черноморских баз неподалёку от Геленджика. Про Геленджик рассказывать не надо. Геленджик, он и есть Геленджик. Солнце, море, пляж...

Моё рассеянное внимание постепенно сосредоточилось на одной восторженной группе отдыхающих. У берега бултыхались два очень похожих друг на друга белоголовых пацанёнка лет семи-восьми. Они грудью ложились на набегавшую волну, азартно молотили руками-ногами, но волна возносила их на гребень и, как щепок, отбрасывала назад...

Кряжистый, средних лет белотелый мужчина и спортивной выправки высокий чернявый парень с бронзовой от загара кожей осторожно, словно по битому стеклу, шли по раскалённому песку от лежаков к морю. Парень сходу, с гиком, бросился в набежавшую волну, на мгновение исчез в ней, затем словно выпрыгнул на полкорпуса из пучины, мощными гребками торпедой преодолел с десятков метров и лёг на спину, взмахом руки подзывая остановившегося в нерешительности на берегу мужчину. А тот, козырьком приложив ладонь к глазам, следил за энергичными движениями пловца и чему-то про себя улыбался...

Я видел его испещрённые многочисленными татуировками плечи, а когда мужчина оборачивался и словно бы впервые с удивлением рассматривал кишачий человеческими телами горячий берег, — широкую белую грудь, на которой ещё не оставило отпечатка палящее солнце, синие от татуировок жилистые руки, которые он не знал, куда деть; коротко стриженные, смоляные волосы и даже розовый треугольничек шрама на левом виске...

Он зашёл в море, сначала по колено, затем по пояс; прикрываясь от долетающих отовсюду брызг, нелепо выставил на уровне глаз согнутую в локте правую руку. Долго не решался окунуться. Наконец, очередная волна объяла его, мужчина на выдохе присел и тут же пробкой выскочил из волны, выброшенный энергией родившегося в нём восторга...

Я видел его глаза. Это были необычайно счастливые, по детски восторженные глаза немолодого уже

человека, впервые, вероятно, оказавшегося в море. Парень по-прежнему лёжа на спине, как в люльке, качался на волнах, а мужчина, совершенно не умеющий, очевидно, плавать, с гиком барахтался с детворой на взбаламученной отмели, кувыркался, сплёвывал и фыркал, и опять нырял, как утёнок, а затем вдруг затих. Сел у кромки моря и сидел неподвижно до тех пор, пока от лежака не подошла к нему и не обняла за плечи полная круглолицая женщина в синем купальнике и белой пляжной шапочке...

— Мишу-уня, — певуче протянула она, — хватит бы уже для первого разу на солнышке... Ступай под зонт в тенёчек!

Вот уж не напрасно говорится: хочешь встретить знойным летом знакомого северянина, поезжай в Геленджик или в Анапу!

Меня, разумеется, как ветром сдуло с места.

— Михаил?! Мир тесен!

Он уставился на меня, не узнавая. Тогда я сдёрнул с глаз солнцезащитные очки:

— Строгаем-строгаем, пиляем-пиляем, а денег всё не прибавляется?

Мишуня медленно приподнялся и расплылся в улыбке:

— Пол-мешка всего-то и осталось! Вот так встреча, корики-макорики!

...На частной квартире в сотне метрах от моря, которую на недельку сняло семейство Бикбаевых, мы с ним проговорили весь вечер и всю ночь...

Мишуня всё так и работал «по столярке». Когда промкомбинат закрыли, «промышлял» то в одиночку, то в составе какой-нибудь сборной бригады. А в начале девяностых исчез из города. По-видимому, тогда-то один из наших знакомых и решил, что Мишуня помер. А он не помер — он «сходил» на третий срок...

Всё лето четверо таджиков вели отделку Родионова коттеджа, а когда пришло время расчёта, брат вдруг замудрил. Неделя прошла, другая, третья, вот уже и месяц позади, холода подступают, а Родион всё кормит своих строителей «завтраками» да «послезавтраками», ссылаясь на какие-то непредвиденные обстоятельства. А затем и вовсе спрятался — даже на звонки перестал отвечать. Таджики занервничали.

Обратились к Мишуне: помоги, повлияй на брата! Жалко стало Мишуне обманутых людей — сам такой же, как они, работяга. Пришёл к брату. А Родион: не суйся, дескать, не в своё дело. Ты расчёт за столярку получил, вот и скажи спасибо. Рабочим аванс на дорогу выдам, а расчёт позже переведу... Сейчас, мол, у меня проблемы. А и не переведу, им жаловаться некому. Они без прописки, на птичьих правах!

Лучше бы Родион этого не говорил!

— Виноват, не сдержался, — развёл руками Мишуня, — врезал по физиономии. Да так, что челюсть щёлкнула. Сломал. А это уже сурьёзно. Надька, жена Родькина, из комнаты выскочила, завизжала: «Изувечил! Изуродовал, зэк неумытый!». Давай звонить в ментовку. А Родька, он ведь, к тому же, ещё и депутат — лицо неприкосновенное. Таджиков моих после этого случая как корова языком слизнула из города. На суде Родька пошёл, было, на попятную, просил о снисхождении, он бы и заявление отозвал, да Надька, стерва, заладила: «Посажу, сгною выблядка!». Дали три года...

Освободился в девяносто четвёртом. Кругом бардак. Всё рушится. Всё с ног на голову... Мне сороковник. Позади — пустота, впереди — беспросвет... Приехал на вокзал. Поезд ночью. Сижу в зале ожидания, размышляю... Хоть под поезд сигай!

Гляжу, стоит у касс дальнего следования женщина. Наша. У меня на своих глаз намётан. Узнал: Зойка из первого отряда женской колонии. Тоже вляпалась в историю, трёшник отмотала... Муж был прапором, что-то там ташил с воинской базы, а она, вроде, перепродавала... Сам из воды сухим вышел, а её утопил. Через полгода женился — замену в дом привёл... Я давно её приметил... Стоит у кассы, потухшая. Такое бывает. Пока сидишь, всё передумаешь, всё обмозгуешь — куда, к кому, с чего начнёшь... А освободился и растерялся. Не знаешь, куда податься. Где тебя ждут. И кому ты нужен. А тебя нигде не ждут и никому ты не нужен! Вот и станешь у кассы, как витязь на распутье.

Не знаю, что на меня нашло, что меня подтолкнуло. Подхожу.

— Ну что, — говорю, — Зоя, крылья на ветер?

Она брови вскинула.

— А ветер, — спрашивает, — с какой стороны?

Я отвечаю:

— С севера на юг!

Она говорит:

— В смысле?

А я:

— В смысле, давай ко мне!

Она совсем потерялась:

— К тебе — это куда?

— Ко мне, — говорю, — на Север.

У неё губёнки от обиды затряслись:

— Ты что, — говорит, — шутишь, что ли? Или за какую-то дешёвую сучонку меня принимаешь?

А я:

— Какие, Зоя, на хрен, шуточки! Не до шуток. Я жизнь уже прошутковал!

— Нет, — отвечает, — не могу. Меня дома ждут.

— Кто тебя ждёт? Никто тебя не ждёт. Меня не обманешь!

Она:

— А кому я там нужна, на Севере твоём?

А я возьми да бахни:

— Мне. — До сих пор не понимаю, что на меня нашло. Я ведь с бабами всю жизнь робел... А тут: — Мне нужна, и баста! Не раздумывай. Поехали!

Она посмотрела на меня этак внимательно и говорит:

— А вот возьму да соглашусь! Что делать будешь?

— На руках носить!

И ношу. До сих пор с рук не спускаю. И до конца жизни теперь не спущу... Мы вообще-то возвращаемся из Ставрополя. У брата гостили.

— У какого брата? — не понял я. — У Родиона?

— Зачем у Родиона? Родион на месте. У меня ведь в Карачаевске брат остался. Младший. По матери. Кемал. Он сейчас в Ставрополе живёт. Спасибо, разыскал материну могилу. Сходили, поклонились. А вот этот молодчик, — с доброй улыбкой кивнул Мишуня на раскинувшегося на раскладушке и безмятежно посапывавшего во сне рослого загорелого пловца, — его сын. Мой племянник. Борис. В гости ко мне едет, на Север наш взглянуть. Из Ставрополя

и надумали заехать на море. Ребятишки упросили. Двое у меня, как видишь. Санька и Виталька. Близняшки. Во второй класс нынче пойдут. Зоя через год мне двойню принесла. Я, веришь, нет, от радости расплакался... В моём-то возрасте, при моей-то жизни... Вон, ворочаются на кровати, спины, наверно, сожгли. Ты, Зоя, смазала бы чем-нибудь...

— Да смазала уже кремом, — Зоя рассмеялась. — Вас ведь всех четверых с берега палкой не угонишь — дорвались до бесплатного солнышка!

— Когда ещё придётся? Да и придётся ли когда-нибудь! — согласился Мишуня. И продолжил, обращаясь ко мне. — Об одном прошу у Господа, чтоб дал ещё хотя бы десятка полтора годков детишек на ноги поставить... Есть, видно, Бог-то... Есть! Разве не он Зою мне послал? Она, можно сказать, к жизни меня воскресила...

Зоя неслышно скользила по комнате, время от времени подливала в чашки подогретый чай, подставляла блюдечки с разными вареньями и вазочки с южными фруктами...

— Вы угощайтесь, угощайтесь! — певуче приговаривала она. — Здесь всё свеженькое, витаминное, не то, что на Севере у нас... Мы вас дома по телеку часто видим! Мишуня о вас много рассказывал...

— Да и я вот приеду, расскажу своим, что Мишуню видел!

Деньги для адвоката

...Под утро она всё же впала в полузабытьё. И приснился сон. За кухонным столом в деревенском доме она заводит тесто на субботние блины, Григорий с папироскою в зубах сидит на корточках у печки с открытым поддувалом, а сынок, Сергунька, шлёпает босой по голым половицам крашеного пола от стола к порогу, катит за бечёвку гремучий самосвальчик. А от не прикрытой Григорием двери стелется понизу холод. «Гриша! — окликает она мужа, — закрой плотнее дверь — простудится ребёнок!» Оборачивается, а Сергуньки нет. Самосвал сам по себе катится к порогу, а Сергуньки нет. Исчез. Будто растворился в наплывавших с улицы клубах морозного пара...

— Вам не здоровится, гражданка?..

Разлепив воспалённые, с колющей простудной болью веки, она приподняла от скомканной, проволглой на паркетном полу вязаной кофты тяжёлую голову, подобралась и села, вытянув перед собою ноги. Морщась от болезненности каждого движения, растирая на груди занемевшую за ночь руку, затравленно огляделась...

В трёх шагах, в углу, под лестницей, ведущей на второй этаж аэропорта, как и вчера, располагалась тихая компания. Сухой жилистый мужчина с нависшими на сальный воротник чёрного пальто сивыми неприбранными космами сидел между двумя синюшными кроткими женщинами в одинаково линялом, замызганном тряпье. Но сегодня к троице добавился четвёртый — высокий и костлявый белобрысый парень в сером выщипанном свитере. Мужчина коротко, вполголоса сказал что-то костлявому и обратился к ней с участливой улыбкой:

— Вам не здоровится, гражданочка?

Затурканные женщины и не шевельнулись, не подали голоса. Обе отрешённо смотрели на захлопнутую дверь служебной комнаты за стойкой регистрации, куда, звонко

простучав каблучками чёрных, отблёскивающих лаком туфель, прошла стройная девица с копной белых выющихся волос, в синей форменной одежде.

— Нет, что вы, всё в порядке!..

Успокоительно кивнув, косматый продолжал рассматривать её.

Глубоко запавшие, тёмные глаза его из-под крутых надбровных дуг смотрели пронизательно и строго. Он словно силился понять, кто она, откуда и почему здесь, с ними на полу, а не в зале ожидания наверху, где в креслах с подлокотниками дремлют безмятежно пассажиры? А если тоже бомж, то почему же не прибьётся к «стае»? Ему было невдомёк, что вчера она подумала о том же. Всё ж таки не так сосуще одиноко будет на душе и тяжело на сердце, думала она, если с этими двумя безропотными женщинами поделится бедой. Какие-никакие, а ведь всё же люди — были и они когда-то матерями. Не пьяные да буйные, не сказать, что безобразные — вонючие да вшивые, как те, что день-деньской толкутся в центре города у мусорных бачков. Она уже, было, решилась, да страх за деньги, вшитые в подкладку старого пальто, в последний миг сдержал её порыв...

Парень в сером свитере полуобернулся, исподлобья коротко глянул на неё. Но и от брошенного вскользь, исподлобья, взгляда бесцветных, водянистых глаз с улыбкой деревенского блаженного, каких она немало видывала на своём веку, ей стало вдруг не по себе. Она схватилась за пальто, слегка его встряхнув, бегло, так, чтоб не заметил не спускавший с неё глаз мужчина, ощупала подклад — пакет с деньгами был на месте...

В первое мгновение и сама не поняла, почему так оробела от этого невидящего взгляда. Не сразу высветило вспышкой в заторможенном сознании: белобрысого она видела вчера! В этом сером свитере, но не в тёмных мятых брюках с подвёрнутыми до щиколоток штанинами, а в белых прочных джинсах на поясном ремне с болтающимся сбоку кожаным футлярчиком; не в резиновых стоптанных кедах, а в светлых тупоносых туфлях и в застёгнутой на молнию короткой чёрной куртке со множеством карманов и застёжек. Шла по мощённой дорожке к зелёной беседке у чугунной

ограды больничного сквера, и этот парень вдруг возник на повороте, как из-под земли, чуть не столкнувшись с нею. Она в испуге оступилась на стерню, открывшуюся из-под вытаявшего снега, и он, слегка оторопевший, на ходу сдёрнул с тонкой переносицы тёмные очки с прямоугольными стёклами линз, глянул сверху вниз белёсыми глазами и быстро удалился в противоположную ей сторону. Уже тогда ей что-то подсказало: она и раньше где-то видела этого блондина, запомнила его бесцветные, навывкате, глаза ...

«И вот — он здесь, в аэропорту... Зачем? Случайно ли всё это?» — не на шутку всполошилась, но тут же успокоила себя предположением, что парень может быть рабочим, явившимся на службу спозаранку и коротающим оставшееся до начала смены время никчёмной болтовнёй с попавшим на глаза случайным бомжем...

Входная дверь уже не закрывалась — входили и проти-скивались боком увешанные багажом и кладью пассажиры ранних рейсов, становились в очередь у стоек регистрации, оклеивали скотчем сумки и узлы, шуршали упаковочной бумагой. Вверху, в зале ожидания, слышались шаги, сухой надрывной кашель, громкий плач ребёнка, хлопки откидываемых кверху кресельных сидений...

Выждав несколько минут, пока затекшая рука нальётся кровью и обретёт подвижность, она встала, без оглядки на компанию с примкнувшим белобрысым с болью оглядела пальто на расстоянии. Во что превратилось оно за месяц её скитаний! И в деревне не наденешь. Но если б и нашлась ему замена, всё равно б не бросила — увезла б домой, повесила б на гвоздик где-нибудь на стенке, как память о Григории. Это синее пальто с роскошным по тем временам норковым воротником было куплено ей мужем по случаю рождения Сергуньки. На радостях Григорий оставил за него в сельмаге всю свою получку и в роддом прибыл с обновкой и охапкой живых роз. Счастливая, не знала, бранить за расточительность или броситься на шею благоверному — хмельному, безрассудному! Тридцать три года минуло с тех пор, десять лет, как нет в живых Григория, а подарок греет!

Она медленно, с трудом натянула на себя ветхое пальто в набрызгах засохшей глины, в пятнах и заплатках,

с истлевшей, прорванной подкладкой, с облысевшим, как и у косматого, воротником, с затёртыми до лоска обшлагами, застегнулась и под пристальными взглядами притихших в углу бомжей направилась к выходу, решив сюда уже не возвращаться.

* * *

Весна выдалась ранняя, но своенравная, взбалмошная. В оттепельные двое суток беспрестанно сгустками валил мокрый снег, затем вдруг крепко подморозило, а ночью и завьюжило. Снег в низинах и пустынных парках издырявило позёмкой, измельчило в крупку и в довершение стянуло коркой льда поверху. С утра опять пригрело, и крупчатое крошево, освободившись от непрочного ледяного панциря, размякло, растеклось в хлюпающую, чавкающую под ногами слякоть.

На открытых буграх и полянах, на местах подземных теплоцентралей, свернувшись разномастными клубками, дремали неподвижно бродячие собаки. Земля ещё не отошла от наркоза зимней стужи, но уже почувствовала оттепель, нутряным дыханием распрямляла жизнеспособные стебли прошлогодней травы. Ещё дня три-четыре, ещё чуть-чуть тепла — и вздохнёт, задышит, заструится паром, разродится первой сочной зеленью...

Она не сразу догадалась, откуда доносило горький, привычный с детства мягкий запах дыма. Но когда одноэтажной деревянной улочкой направилась неспешно к центру города, увидела: на огородах в частном секторе — этом чудом уцелевшем островке полудеревенской жизни, жгли подвяленную солнцем прошлогоднюю ботву и сухие листья, вытаявший мусор и накопившийся в хозяйстве хлам. Щекочущий ноздри запах жженной ботвы и прелых листьев — предвестник подступившей череды огородных хлопот вновь вернул её в мыслях в деревню. Но некогда было предаваться выжимающим слезу воспоминаниям. Она спешила к адвокату. Он сегодня вышел на работу после двухнедельной командировки. Нужно было подготовиться, собраться с мыслями, сжать волюшку в кулак, чтобы не расплакаться при встрече...

Быстрее было в центр доехать на автобусе, всего-то две на третью остановки, но она привычно шла пешком. Экономила не только на разъездах, но и на чашке чая. Как и вчера, прошла мимо кафе с устоявшимися запахами беляшей и кофе. Кто знает, сколько дней придётся провести ещё в этом городе, взявшим в каменный мешок её единственного сына, её кудрявого Сергуньку... А на вшитые в подкладку деньги она не покусится ни под каким предлогом, даже под угрозой лютой смерти. Вот только чаю зря не выпила — знобит после тяжёлой ночи, и голова от дыма или голода кружится...

* * *

Над входом в пятиэтажное здание из стекла и бетона на пересечении двух магистральных улиц среди многочисленных пластиковых вывесок она разглядела «свою»: «Адвокатское бюро «Евгений Суходол и партнёры».

Кабинет знаменитого адвоката располагался на втором этаже. В сером крапчатом костюме, склонясь над письменным столом, зеркально отражавшем подвесную люстру, он, подперев ладонью высокий бледный лоб, нервно перелистывал бумажки в прозрачной синей папке на металлическом зажиме....

— Вы ко мне? Простите, занят, — пробормотал на мягкий вздох открытой двери, не поднимая крупной, лысеющей с макушки головы. — Подойдите к вечеру... А лучше — с утра завтра. Вас с утра устроит?

— Нет! — сорвалось с языка придушённым вскриком.

Адвокат молниеносно вскинул голову.

— Ах, это вы?! Прекрасно! Вы разве не уехали?

— Нет, Евгений Александрович... Как же я могу уехать, когда во всём неясность, неопределённость? И с вами так и не решили...

— Ну вот, что называется — снова да ладом! — Адвокат обескуражено закатил глаза и выразительно пожал плечами. — А мне помнится, недели две тому назад мы с вами обо всём договорились. Я объяснил толково и доходчиво, что не могу взять на себя защиту вашего сына. У меня,

повторяю, неоконченных дел под завязку! Я рекомендовал вам адвоката — серьёзного, учтите! — Он в сердцах захлопнул папку, бросил её в выдвинутый ящикек стола и, вздохнув, привстал. — Напрасно. Уверяю вас, напрасно пренебрегли моим советом... Ну что ж теперь... Садитесь. Присаживайтесь вот, если уж пришли, — указал на кожаное кресло у приставного столика.

Благодарно кивнув, она прошла и села, не спуская с адвоката умоляющих, насторожённых глаз.

Он кончиками двух коротких толстых пальцев демонстративно постучал по фиолетовому стёклышку несоразмерно крупных по руке часов, давая тем понять, что время строго ограничено.

— Пять минут, не больше, — уточнил и сел, по-ученически прилежно сложив перед собою руки на столе.

Всклипнув неожиданно, она запричитала:

— Евгений Александрович, милый человек, спасите мне Сергея! Умоляю вас, возьмите дело сына. Один он у меня. Нет больше никого! Только вы и сможете помочь! Я знаю, вы творите чудеса!..

Адвокат скривился от досады.

— Ну как же вам не стыдно, право слово! Я всё вам объяснил русским языком при нашей первой встрече! Мне больше нечего добавить! И... и не входите ко мне в кабинет в этой ... верхней одежде! — брезгливо потянув чувственными ноздрями, вскрикнул раздражённо. — Гардероб внизу разве не работает?

— Простите уж, Евгений Александрович, возьмут ли там моё пальто? — оно и на пальто-то не похоже...

Но Суходол завёлся.

— Я понимаю ваше состояние... И уважаю чувства материнские. Но не до такой же степени изводить себя. Слезами горю не поможешь... Если б я был не адвокатом, а священником, к примеру, что, впрочем, исключено, — он чуть заметно усмехнулся потаённой мысли, — я посоветовал бы вам вернуться домой и молиться, молиться, молиться! За себя и за сына. Это всё, что в ваших силах в вашей ситуации. — Склонившись над столом, адвокат налил из высокой бутылки в фарфоровую чашку игристого напитка

и придвинул к ней. — Успокойтесь. Выпейте. Возьмите себя в руки. И поймите, наконец: я — не враг ни вам, ни вашему Сергею, но и не всемогущий маг и уж тем более ни господь Бог, как кто-то вам, возможно, меня разрисовал! Я действую исключительно в рамках предоставленных мне законом прав и полномочий, а они, увы, не безграничны. И не велики. — Он встал, потёр ладони и опять опустился на кресло. Но вид убитой горем женщины не позволил сухо распрощаться и указать на дверь: — Я вскользь ознакомился с делом вашего сына. Больше, правда, понаслышке, по рассказам. Дело, как вы понимаете, отнюдь не рядовое. И обвинение серьёзное — убийство. Причём, убийство не простое — заказное. Вы, надеюсь, понимаете, что всё это значит?

— Разумом, Евгений Александрович... Разумом, конечно, понимаю... А сердце отвергает...

— Ваш сын — убил! — прихлопнул Суходол надежду, словно муху. — Смириться с этой мыслью, как ни кощунственно звучит. Вы не должны питать иллюзий. Предварительное следствие хоть и не закончено, но вина доказана. И насколько мне известно, ваш сын признал вину. Именно он расстрелял мерседес из пистолета ТТ. Всадил все восемь пуль. Убит коммерсант, ранены водитель и сынишка коммерсанта — пятилетний мальчик. Водитель, к счастью, отделался лёгкой царапиной, а мальчик получил серьёзное ранение. Жизнь на волоске. Многое будет зависеть от исхода операции. Ваш сын будет жив при любом исходе — к счастью или несчастью, в этой стране, — он ткнул указательным пальцем в столешницу, — смертная казнь приостановлена... И лучше б вам уехать до суда в деревню. Суд состоится не скоро, и, право слово, вам незачем здесь находиться. Есть ли у вас деньги на обратную дорогу? — вдруг спохватился адвокат, с ног до головы окинув её беглым, оценивающим взглядом.

— Деньги есть, Евгений Александрович, но как же я смогу-то... — Она хотела что-то возразить или добавить к сказанному, да слов сразу не нашлось. Щепотью вытерла сухие губы.

— Да так вот и сможете, пожалуйста. Не истязайте себя!

И опять бессильно всхлипнув, почувствовав, что может разрыдаться — опрометью кинуться в ноги Суходолу с бессмысленной мольбой о помощи, она приподнялась:

— Евгений Александрович, милый человек! Ведь я давно всё знаю. И про коммерсанта, и про его сынишку. Я давно всё вызнала в приёмном отделении. Каждый день справляюсь о здоровье мальчика. Каждый день в окне палаты я вижу его мать, она дежурит день и ночь у постели сына. Бывает, смотрит из окна в больничный сквер... Я вижу её. Она видит меня... Операция прошла позавчера. Успешно ли, не знаю. Я молюсь за этого ребёнка... И жизнь свою взамен бы отдала!..

— Не разбрасывайтесь жизнями! — Суходол наморщил бледный лоб. — Жизнь — штука единичная. Это хорошо, что вы давно всё знаете... На что же вы надеетесь?

— На чудо. На чудо и на вас. Ведь не всё потеряно. Мой сын — не конченный злодей! Сам он никогда на это не решился бы!

— Что ж, в этом есть резон, — смягчился адвокат. — Действительно, не всё в том деле ясно... Ваш сын — всего лишь исполнитель чужой воли. Киллер, так сказать. Важно выявить заказчика, выяснить мотивы преступления. Убийство мальчика, водителя, конечно, не входило в его планы. Не видел за тонированными стёклами «лишних» пассажиров. Есть резон, согласен!.. Из любой, даже самой, казалось бы, патовой ситуации иногда вдруг находится спасительный выход. И в ходе судебного разбирательства могут всплыть такие подробности, открыться такие обстоятельства, а, следовательно, и новые возможности для защиты, о которых, уважаемая, мы с вами сегодня и не догадываемся...

— Вот видите! — обрадовано вскинулась она. Слабая улыбка на мгновение оживила тусклые глаза, скользнула вниз по бледному лицу.

Суходол слегка смешался.

— Видеть-то, конечно, вижу, но у меня к вам есть вопрос. Знаете ли вы, что услуги нашего бюро стоят очень дорого? Очень, знаете ли, дорого. В состоянии ли вы оплатить расходы? Вы хоть представляете, в какую сумму выльется?

— В какую бы ни вылилось, Евгений Александрович! Всё, что собрала, всё, что наскребла!..

— Да что вы там собрали? Что вы наскребли? Или спонсоры подкинули? Дружки-приятели вашего Сергея? Что-то не хлопочут, не оседают с просьбами!

— Я продала свой дом в деревне.

Суходол оторопело пожевал губами.

Она произвольно подалась в наклоне, не спуская с него глаз, опасаясь упустить близкое согласие.

— Что вы сказали? До-ом? — Ей показалось, Суходол не столько растерялся, сколько отчего-то испугался. — А где ж вы жить-то ду?.. — запнулся он на полуслове и вновь присел на кресло.

— Да уж где-нибудь... У сестры в деревне дом большой, летняя избушка, зимой курей в ней держит — не выгонит, поди, первое-то время...

— Отчаянная женщина, как я погляжу! А ну, сестра не пожелает в избушку вас впустить? Куда ж она зимой курей-то своих денет? Вы хорошо обдумали?

Внезапно — так, что она вздрогнула, из нагрудного кармана Суходолова костюма выпорхнула лёгкая мелодия звонка. Он выхватил плоский мобильник и, не взглянув на номер вызываемого абонента, нажал на «Сброс».

— Простите, всё-таки спешу. Я жду вас с утра завтра. Обсудим и... договорим. Единственно, что я хотел бы уточнить — деньги при себе или на счёте?

— Какой там счёт, Евгений Александрович! Месяц при себе... Страху натерпелась!

— Отчаянная женщина!

* * *

«Ваш сын — убил, смиритесь с этой мыслью!» — приливами пульсирующей крови при каждом шаге отдавались в висках слова адвоката. Безжалостные, как приговор. Легко сказать — смиритесь! Если б даже сын признался бы при встрече: «Да, мама, грешен, я — убил!», и то бы отыскала в сердце место для надежды. «Сынок, — сказала бы она, — если и убил, то не по своей же воле? Не из жестокости и злобы? Кто-то тебя вынудил? Не под угрозой ли расправы, не под страхом ль смерти? Скажи, тебе зачтётся.

Осудят — да, но не навечно замуруют в каменный мешок, откуда, говорят, возврата не бывает.»

И всё же после встречи с адвокатом отлегло от сердца. Затеплилась надежда на ум и хватку Суходола. Он будто сдвинул с души камешек, перекрывавший полное дыхание. Он молодчина, этот Суходол! Не зря его нахваливают знающие люди. И сестра, и зять, и все в её деревне твердили в один голос: только Суходол сможет вытащить Сергея из-под губительной статьи. О нём во всех газетах печатались легенды. Хороший адвокат, понятно, нарасхват, не за каждое дело возьмётся, а уж если даст согласие, пусть и за большие деньги — считаться ли с деньгами в её-то положении? — в лепёшку расшибётся, но выиграет дело. Хотя, она прекрасно это понимала, дело её сына выиграть нельзя. Невозможно выиграть дело об убийстве. Единственно возможный выигрыш — сохранить жизнь сыну, дать надежду на спасение заблудшей, грешной, но родной души...

Договориться бы вот только с Суходолом окончательно, как говаривал Григорий, «ударить по рукам» да передать бы деньги. Не ввести во искушение лихого человека... Всё же не случайно белобрысый оказался вчера в сквере, а сегодня и в аэропорту. Заподозрил, что пакет в подкладке, впал, прохиндей, в искус, выслеживает жертву... «Господи, спаси мя и помилуй!..»

Избавиться б от денег и решить, что дальше. Не в деревню ж возвращаться ни солоно хлебавши на поклон к сестре и зятю. Во что бы то ни стало дожидаться того дня, когда её Сергея, кудрявого Сергуньку, привезут на суд, увидеть бы последний раз хотя б издалека, пусть в железной клетке и в наручниках под стражей — вот только выдержит ли сердце, не разорвётся ли на части, оно ведь не железное? А может, адвокат устроит и свидание? Он — молодчина, этот Суходол! Добиться бы свидания, встретиться б с Сергеем... Что в его глазах? Холодный блеск зрачков злодея без страха и раскаяния или — дай-то, Бог! — нежность и любовь, вина и покаяние? Мать увидит истину. Вот когда откроется: виновен или нет. До тех же пор никто ей не докажет, никто ей не внушит, что сын её — убийца.

Домой, в свою деревню, она могла уехать и без рубля в кармане. Вышла бы на тракт, за железнодорожным переездом постояла час-другой. Во времена не столь и отдалённые, когда совхоз был в силе, а шофера из отделений знали каждого в лицо, пяти минут не простояла б. И сейчас ещё найдётся добрый человек из шоферов старой закваски. Три часа — и дома... Уехать — не проблема. Смутное предчувствие неминуемой беды в случае отъезда до суда над сыном без малого месяц удерживало в городе. Что-то изнутри держало в убеждении, что в трудные для них обоих дни она должна быть рядом. Её присутствие в одном с ним городе, пусть и по другую сторону высокой тюремной стены, оплётённой поверху колючей металлической спиралью, должно добавить ему сил для грядущих испытаний...

Оживлённой улицей вслепую шла по направлению движения легковых автомобилей, на скорости выстреливающих слякотью и грязью протекторами шин. И лишь когда вдруг очутилась у распахнутых ворот с ажурной вязью чугунных решёток по центру полотен, увидела, стряхнув оцепенение, что вышла, как всегда, к городской больнице. Вошла в больничный сквер по вымощенной гравием дорожке, направилась к зелёной беседке в стороне от центрального входа. Она успела полюбить этот тихий сквер с его мощёными дорожками, беседкой и сиренями... Но сегодня здесь было необычно многолюдно. Медсёстры и врачи, весь персонал лечебных отделений вышел на субботник. Между кустами и берёзами виднелись стайки гомонящих студенток медицинского училища. Рассыпавшись по скверу, переключаясь и дурачась, они шумно, бестолково граблями и лопатами скребли и чистили вытаявшие клумбы и газоны. Из мусорного бака в дальнем углу сквера, где вчера едва ли не столкнулась с белобрысым, чёрно-белыми слоистыми клубами поднимался дым, рассеивался в вершинах рассаженных по периметру ограды берёз.

К полудню припекло. Она проверила на ощупь, на месте ли пакет? — убедилась, что на месте и свернула пальто вчетверо — вдоль и поперёк. Глядела безотрывно в одинаковые окна палат второго этажа белёного кирпичного здания хирургического отделения...

Вот так же тридцать лет назад подолгу сиживала в сквере. Тогда на этом месте не было беседки, как не было газонов, кустарников и клумб, да и сквер как таковой только намечался в чьих-то планах — берёзки по периметру ограды были в её рост, а строящееся здание новой поликлиники заставляло снесённые десять лет назад (в год Гришиной кончины) неказистые, барачного типа строения терапевтического, детского и прочих отделений. В ту памятную осень привезла трёхлетнего Сергуньку на операцию врождённого порока сердца. Всю неделю, пока сын находился на обследовании, она была с ним рядом, а на день операции и на последующие несколько критических, должно быть, дней её попросили покинуть палату. Каждое утро с восходом солнца бежала из гостиницы в больницу, искала встречи с лечащим врачом — одним из первых, помнится, в городе профессором, и до поздней ночи просиживала в сквере с той же странной убеждённой, что пока она рядышком с сыном, под окном его палаты, пусть и по другую сторону кирпичной стены, всё будет с ним в порядке, всё благополучно завершится. Так же пристально, до боли, до чёрных мух в глазах всматривалась в третье с краю мутное окно на втором этаже, будто ожидала, что сын её, Сергунька, вот-вот встанет из-под капельниц, нетвёрдыми шажками подойдёт к окну, склонится через подоконник и окликнет: «Мама, мамочка, я жив!»

* * *

— И всё-таки вам не здоровится!..

Она, кажется, вздремнула ненадолго. Вскинулась спронево, неловким движением смахнула со скамьи свёрнутое вчетверо пальто. Оно упало и раскрылось...

— Кто вы? Что вам надо?

Поигрывая набором ключей на брелке, перед ней стоял бельмастый белобрысый. Всё в том же сером свитере и белых прочных джинсах, плотно облегающих икры худых ног.

— Не бойтесь меня, женщина. Я не маньяк и не грабитель.

— А кто же вы тогда? — спросила необдуманно со страху. Незнакомец улыбнулся.

— Вопрос вполне логичен. Успокойтесь. Сядьте. И поднимите, наконец, свою одежду...

Она безмолвно и покорно подняла пальто, свернула, машинально сунула под мышку. Вновь села на скамью. Присел и белобрысый.

— Значит, так, — сказал он буднично и кратко, словно продолжил прерванный некстати разговор. — Кто я, откуда, как меня зовут — вам знать не обязательно. Достаточно того, что я вас знаю. Я вас однажды видел. Вас зовут Татьяна Николаевна, вы — мать Сергея Клокова... Я не ошибаюсь?

— Н-нет, не ошибаетесь...

— Слушайте внимательно, Татьяна Николаевна... Поклон вам от Сергея. Он, конечно, кается, просит вашего прощения за всё случившееся с ним. Но — это лирика, вступление. Сергею стало известно, что вы продали домик в деревне, чтобы нанять адвоката. Он велел передать, чтоб вы ни рубля никому не платили, никакого адвоката для него не нанимали, а немедленно возвращались домой...

Она и не дослушала — впилась глазами в белобрысого:

— Вы видели Сергея? Когда? Здоров ли он?

— Я сам его не видел. Но он здоров и бодр — так вот и велел вам передать. Впрочем, не перебивайте. Я просил не задавать вопросов. Всё, что можно, я скажу... Деньги верните человеку, купившему дом. О недостающей сумме позаботимся мы...

— Что ж вы всё загадками... Кто это — мы?

— Ну, скажем так — друзья Сергея.

— А если он не согласится?

Теперь её не понял белобрысый.

— Кто не согласится?

— Покупатель дома.

— Согласится. Ещё как. А если возникнут сомнения, мы поможем ему их развеять.

— Да кто же вы? Как вы меня нашли?

— Мне понадобились сутки, чтобы разыскать вас в нашем городе. Ещё сутки я, признаться, следовал за вами по пятам, будучи в сомнении, вы ли мать Сергея. Утром в аэропорту я вас узнал... Впрочем, я отвлекся. Всё, что можно для Сергея сделать, сделаем мы сами. Всему свой час

и свой черёд. В этом вы не сомневайтесь. Завтра вы уедете из города от греха подальше. Сегодня же придётся провести ночь в аэропорту. Подчёркиваю, только в аэропорту! Иначе я не гарантирую вашей безопасности и сохранности, — он едва заметно усмехнулся, — вашей сберкассы... С бомжами в порту я потолковал. Они уже пронюхали, что у вас в пальто, но вы их не бойтесь. Они сегодня сами будут вас бояться. Будут охранять ваш сон и... ваш багаж! Вот, кажется, и всё! — Белобрысый неожиданно поднялся, бросил брелок с набором ключей в боковой карман куртки.

— Как это — всё?! — встрепелась она. — Подождите! Я ничего не поняла... Что могу я сделать для Сергея?

— Только одно: уехать домой и тем успокоить его и себя.

— Скажите, он виновен или нет? Он действительно убил? Белобрысый и не приостановился, лишь махнул рукой:

— Не человека он убил — он отстрелил шакала. Это не одно и то же!

Всё произошло так неожиданно и быстро, будто и не въяве, а во сне — не сразу и поймёшь, к добру или к худу.

* * *

Последний раз она виделась с сыном лет пять тому назад, зимой, под Рождество. В самые морозы. Приехала по вызову вставить себе зубы. Кое-как, уже в потёмках, с помощью подсказок припозднившихся прохожих, на заводской окраине, за диким пустырьём на предпоследней остановке «Трамвайное депо» отыскала общежитие — одно из немногих в городе рабочих общежитий, такое же запущенное, неухоженное, как и холостая жизнь Сергея. Это было старое двухэтажное здание чуть ли не довоенных времён, понизу обшитое ядовито-зелёными, треснувшими по «волне» листами шифера, с окнами без стёкол, сплошь и рядом заткнутыми жёлтыми, прожжёнными подушками и обрывками цветных одеял.

Бойкая, чернявая бабка — то ли вахтёрша, то ли комендантша, обликом, движениями рук напоминавшая шуструю ворону, в комнату сына её не пустила, хоть и поверила на слово, что приезжая — мать Клокова Сергея, а велела

подождать в миниатюрном холле у беззвучно мерцавшего телевизора, даже стул сама придвинула. Вошедшего с улицы высокого, светловолосого парня попросила пригласить приятеля. «Серёгу?» — уточнил вошедший и с любопытством взглянул на приезжую, вскинул бровь и улыбнулся. Но и мгновения хватило, чтобы надолго запомнить взгляд бесцветных водянистых глаз... Он коротко, по-свойски шепнул что-то вахтёрше (или комендантше), та не поняла или не расслышала и с напускной досадой отмахнулась: «Да ну ты к лешему, ступай, зови сюда товариш-ша!..» (Вот где увидела бельмастого впервые! У сына в общежитии!)

... Сын спустился в холл не сразу, и ей пришлось побеспокоиться, да не на смене ли Сергей, и если в ночь сегодня, куда ей подаваться в малознакомом городе? Работал он по графику — то в день, то в ночь, то на подмену, без выходных и праздничных. «Да не пр-реж-живайте! — неожиданно вскаркнула шустрая старуха, кивнув острым носиком куда-то вверх, на потолок. — Здесь иде-то шлэндает!» — «Может, после смены отдыхает?» — предположила мать. Бабка усмехнулась ядовито, ничего не разъяснив и не добавив к сказанному.

И сын — красивый, рослый, статный молодой мужчина в расстёгнутой белой рубашке, заправленной под пояс безупречно, как всегда, отутюженных брюк, легко сбежал по выщербленной лестнице. Нахлынувшее чувство материнской гордости за красавца-сына выжало слезу любви и умиления, которую, однако, тут же и смахнула.

Но сын, её Сергунька, не бросился навстречу, не приподнял в объятиях, не расцеловал, как прежде, в обе щёки, а сухо отстранился и раздражённо бросил: «Опять как снег на голову?!» Она оторопела: «Как это — опять?» — «Ведь я просил предупредить заранее о своём приезде! А если б не было меня сегодня в общежитии? Где б разыскивала ночью?» — «Да, как-то не подумала... — согласилась с доводом Сергея. — Приехала-то как? Вчера ещё не знала, поеду или нет...»

Сын принял из её руки крутобоковую тяжёлую сумку: «Что там у тебя?» — «Сала да мясца тётка положила». — «Сала да мясца! Сколько я просил, чтоб ничего не привозила! Не нужны мне ваши передачи!» — «Да как же... Покупное-то,

оно надоедает, а тут своё, домашнее... Не на себе припёрла... Вот, правда, в городе маленько руки оттянула. Не сразу разыскала...» — И осеклась, заметив, как вахтёрша — комендантша, глянув на Сергея, осуждающе качнула головой и тяжело вздохнула, вздёрнув острый, как вороний клювик, носик...

«Ладно, подожди, — приказал Сергей. — Я сейчас... Я — быстро!»

Необычная холодность, раздражительность Сергея не могли не задеть за живое. «И зайти не предложил!» — отметила она с подступившим к горлу комом незаслуженной обиды. И было отчего-то стыдно и нехорошо встретиться глазами с нахохленной вахтёршей, хищно зыркавшей по сторонам и вздыхавшей показательно прискорбно.

И всё же, сглотив ком, она искала оправдание Сергею. Ведь он действительно просил предупредить заранее о своём приезде. Он давно не мальчик, не златокудрый юноша — он зрелый, опытный мужчина со своею, не похожей на родительские, жизнью, со своими планами, привычками, друзьями, а, может быть, и с женщиной... Пора, давно пора обзавестись семьёй! Внуков бы понянчить... Может, вырвала не вовремя? Так хоть бы познакомил... Или стесняется её — неграмотную, тёмную, в вечном синеньком пальтишке, в подшитых серых валенках, не способную понять людей из чуждого ей мира?

Вскоре сын предстал в распахнутом дублёном полушубке, но без шапки. «Идём быстрее, ма!» — Решительно толкнул входную дверь. Мать беспрекословно подчинилась.

Незащищённое лицо обожгло порывом ветра...

«Ты почему без шапки-то, Серёжа? — Она остановилась. — Шапку-то забыл! Вернись, надень сейчас же!» — «Идём, идём, не отвлекайся!» — Сын прибавил шаг. Он направился к депо, к трамвайной остановке. — «Да как же ты без шапки-то?» — «Нету шапки, ма. В прокате!» — «В ка>ком ещё прокате?» — «Другу дал на вечерок. К утру вернётся шапка!» — «А друг чего без шапки?» — «А друг свою продал. Зарплаты ведь не видим по полгода, чему тут удивляться!» Мать не унималась, семена за ним: «Разве это дело? Голову застудишь!»

Сергей остановился и резко вскинул руку. Ярким, сильным светом фар выхватив из темени сектор трамвайных

рельсов, из-за поворота выскочило и, скрипнув тормозами, остановилось такси. Сын усадил её на заднее сидение, сам сел впереди и коротко скомандовал: «В гостиницу!» В фойе сам заполнил за неё анкету, заплатил за двое суток. Затем провёз на лифте вверх, провёл по длинному, сумрачному коридору к дежурной по этажу и полученным у неё ключом открыл одну из многочисленных, одинаковых дверей. Они вошли в прокуренный, плохо проветренный, но просторный и довольно-таки уютный одноместный номер.

«Вот здесь и поживёшь... Располагайся, отдыхай. Можешь принять ванну или душ. Утром отвезу в стоматологию... А сейчас я должен быть на месте»

Она сидела не раздетой на заправленной кровати, наблюдая, как Сергей мечется по номеру, включая-выключая телевизор, холодильник, радио, торшер, открывая-закрывая никелированные краны в ванной комнате. Проверил всё, что было, на исправность... Молча, проницательно поглядел на мать, и лёгкое смятение скользнуло по его лицу. Подошёл и опустил перед ней на корточки, уронил на колени кудрявую голову: «Ты уж извини, что всё так получается. День сегодня нервный, трудный. Ты устала, я устал... Завтра обо всём поговорим. Не обижайся, мама!» — «Господи, о чём ты, какая может быть обида? Устроил, как царицу! Мать в таких хоромах сроду не жила!»

Много ль надо матери? Пару добрых слов, чуточку внимания, и все обиды прощены. — «Вот и поцарствуй. Побегу!» — «Ступай, я ведь понимаю! Воротник хоть у дублёнки подыми, голову застудишь! Не бережёте себя смолоду — к старости спохватитесь!»

* * *

Он ушёл без шапки в стужу, в темень, в ночь, и теперь, сидя на скамье в беседке сквера, она силилась понять, когда, в какой момент в душе Сергея произошёл излом, приведший к страшному финалу?

После разговора со странным другом сына она уже не знала, на что решится завтра: пойдёт ли, как договорились, к адвокату (месяц добивалась Суходолова согласия!)

или же уедет «от греха подальше» по настоянию Сергея. Всё смешалось, голова шла кругом...

В лечебных отделениях истёк послеобеденный тихий час. Настало время посещений и прогулок. В окнах больничных палат раскрывались форточки, распахивались створки. Выздоровливающие в пальто и тёплых куртках один по одному выходили в сквер, опустив глаза, словно бы выискивая что-то под ногами, бродили по дорожкам. Субботник завершался. Бойкие студентки сбрасывали в кучу грабли и лопаты...

Она долго всматривалась в тусклое окно «своей» палаты. На треть забелённые снизу, стёкла в переплётах рам отсвечивали солнечными бликами, но никаких движений в них не отмечалось.

«Неужели мальчик всё ещё в реанимации?»

Она чувствовала слабость во всём давно не знавшем отдыха изболевшем теле. Усталость медленно окутывала пелериной сна. Хотелось малого — покоя и глоточек чаю. Свежего, горячего, домашнего чайку... Вновь впала в забытьё, а когда очнулась, взглянула машинально на окно. И, словно по сигналу, неслышно распахнулись створки, и в проёме возник знакомый силуэт. Это была она — вдова погибшего от пули сына коммерсанта, мать ни в чём не виноватого дитя, стройная, со стянутыми в узел на затылке волосами, со строгим взглядом больших глаз молодая женщина. Они встретились взглядами, долго, безотрывно смотрели друг на друга — со стороны могло бы показаться, равнодушно и бесстрастно — мать убийцы и мать жертвы...

Женщина вдруг скрылась в глубине палаты, но через минуту подошла к окну с запеленатым в простынку сынишкой на руках. Русоголовый мальчик широко открытыми глазам вбирал открывшийся пред ним законный мир ...

* * *

Рыженькая девушка-студентка взволнованно рассказывала испуганным подругам:

— ... Сползла старушка со скамьи, видно, плохо стало, а сама, поверите ли, светится от радости, и всё шепчет: сын,

сыночек где-то там в окне — живой и невредимый... Бредила, наверное.

Врач «скорой помощи» прощупал пульс больной:

— Слабость, жар, переутомление... Ничего серьёзного — случается такое. Денёк-другой придётся подержать в стационаре... Кто знает эту женщину? Где она живёт?

— Она не местная — приезжая. — В беседку сквозь толпу медленно прошла молодая женщина со стянутыми в узел на затылке волосами, в наброшенном на плечи лёгком осеннем пальто. — Я вижу её каждый день из окна своей палаты. Ей стало плохо на моих глазах.

— Кто она? Откуда?

— Какое это имеет значение? Она просто мать...

— Ладно, разберёмся. А это что за свёрток под ногами? Похоже на пальто. Не пальто, а жуть какая-то... Там, поди, и живность в подкладке завелась...

— Не надевайте на неё это грязное тряпье! — Молодая женщина болезненно поморщилась, сняла с себя пальто. — Накройте моим...

Толпа мало-помалу разошлась, сквер постепенно опустел. Старое пальто, брошенное в бак, долго исходило паром, тлело, а затем вдруг вспыхнуло с плотоядным гулом. К ночи из бездонного мусорного бака выветрило пепел.

Прыжок с закрытыми глазами

Когда закрыли маслозавод, Семён с Потапенкой слегка подрастерялись, но не настолько, чтобы заметать икру, полагая легкомысленно, что уж кому-кому, а им, тридцатилетним слесарям и дизелистам, применение в совхозе всё-таки найдётся. Но и совхоз к весне распался...

Месяц вынужденного отдыха — ещё куда ни шло, два — непозволительная роскошь, на третий — впору волком взвыть. И ведь что интересно! Пользуйся, казалось бы, нечаянной свободой — дома дел невпроворот, ан нет, не спорится работа, и дома не сидится. С гнётом-то на сердце! Отчаяние и стыд перед семьёй срывают с места, с утра спешишь с надеждой хоть за что-то зацепиться. Вот и получается, что самый занятой народ — это безработный.

Весной прошёл слухок — в посёлке, час езды на мотоцикле, начали строительство кирпичного завода. Мужики — туда, Семён с Потапенкой вдогонку. Завод действительно затеяли, уже смонтировали корпус, но в спешке и неразберихе, понадеясь на авось, слепили на глазок да кое-как, что-то там в расчётах напортачили. Заморозили строительство...

С одним из поселковых воротил сговорились вылить фундамент под коттедж. Чтобы не терять время на дорогу, вселились в воротилину времянку на участке. Но только закатали рукава, явилась делегация из трёх патриотически настроенных посредников, объяснила, что в посёлке все подряды распределены заранее. Не грубо, можно сказать, вежливо, сочувственно предложила чужакам взять самоотвод. Взяли, некуда деваться...

Прошли все организации, да отовсюду, как в насмешку, их выпроваживали с носом. Взрывом обернулся визит в УЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство. Начальник управления, пожилой шутник, предложил пойти уборщиками улиц. Это им-то, слесарям и дизелистам, тридцатилетним здоровилам! С мётлами податься! Потапенко сбледнел от

возмущения и послал начальника в одно не очень респектабельное место. И вышел, хлопнув дверью. Семён призадержался, смущённо извинился, на что начальник отмахнулся: ведь он хотел как лучше, ничего зазорного в любой работе нет — у него, если хотите, в дворниках сегодня заслуженный художник-живописец, кандидат сельскохозяйственных наук и бывший председатель сельсовета...

Потапенко аж трясся на ходу.

— Ещё день-два, — стонал, сжимая пальцы в кулаки, — и... это, бомбану кого-нибудь из воротил. И рука не дрогнет! Семён замедлил шаг.

— И долго думал, бомбардир?

— А что ещё-то остаётся? У тебя хоть Шура что-то в дом приносит, а у меня и Полька без работы, с ребятнёй сидит. А им в школу осенью. Думай, как одеть-обуть. Пачку папирос не на что купить. Скандалы каждый вечер. Это, выйду на дорогу с кистенём, у меня не заржавеет! — Посопел и усмехнулся, глянул сверху на Семёна. — Ладно, не пугайся, крыша пока не поехала. Насчёт бомбёжки я, конечно, пошутил. С кистенями в наше время на дорогу не выходят, а на «калашникова» нам и вдвоём не наскрести.

Пошутить-то он, понятно, пошутил, да по нешуточной тоске в его глазах Семён твёрдо уяснил: если на неделе никакой работы им не подвернётся, Потапенко созреет для любого дела. Не отговоришь.

Остановились у щита для объявлений. И сразу бросилось в глаза: «РАЙВОЕНКОМАТ ПРОВОДИТ ОТБОР НА КОНТРАКТНУЮ СЛУЖБУ В ЗОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ...»

Семён уставился на друга.

— Ты что? — не понял тот.

— Зайдём, узнаем, что почём?

— Ты... это, выдумал, ей-богу! — Потапенко струхнул.

* * *

Худо было Семёну. Хуже не бывает. И причина не в похмелье, хотя вчера с Потапенкой хорошо контракт обмыли. Подписали всё-таки спустя почти два месяца!.. Похмелье

что? — пустяк, в привычку. Плохо оттого, что главное — объяснение с Шурой по поводу контракта — впереди. Не знаешь, как и подступиться. Что с Потапенкой они подписали что-то и не сегодня-завтра отправятся куда-то на «большие деньги», она уразумела, но что и с кем подписали, куда уедут и надолго ли — вчера он натемнил, напустил туману. Шура сгоряча не разобралась, но ведь успокоится и спросит.

Лучше бы открыться — всё-таки в Чечню, не на курорт, но всё может разбиться о преграду женской истерии. И что тогда? Опять, высунув язык, мотаться по посёлку? Сил уже не хватит.

Держась за ноющую поясницу, Семён с трудом распрямылся, уткнул тятку в землю...

На соседнем огороде через узкий переулочек в оранжевом купальнике орудовала тяткой Потапенко Поинка. Чуть сзади, с тяткой в длинных и худых, как черенки, руках гнул спину двухметроворостый Потапенко Егор. Там и сям на огородах белели спины склонённых мужиков.

«Это ж сколько нас, ненужных? Летом, в самую страду, столько мужиков с тятками горбатится!» — Семён отёр испарину с лица и запрокинул голову: выплывшая из-за горизонта дымчатая тучка зацепилась краешком за гребень заречной горы...

— Что посматриваешь? Жарко? — заметила жена его движение.

— Душно, Шура. Исккупаться б!

— Перед грозой, видать, парит. Надо поспешать! — объяснила Шура и заторопилась. — Тятпай, тятпай, не вздыхай. Ходи, Сёма, веселей! Вздыхать-то вчера надо было, когда первую рюмашку с Егором поднимал. Вот походи на солнцепёке, узнаешь, как она, картошка, достаётся!

— А то я, Шур, не знаю — не в деревне вырос!

— Ты, Сёмочка, не зна-аешь! Знал, так подзабыл. На заводе работал, некогда было помочь, в безработных оказался — опять руки не доходят. Первый раз и вышел. А я всё сама. Посадить — сама, ладно, этот год Витька помогнул, ведра к луночкам подтаскивал... Прополоть — сама, окучивать — сама. За нею, за картошкой-то, ухаживать,

оказывается, нужно... Теперь вот и копать одной придётся. Всё сама, сама, сама! С работы прибежала, кусок в зубы и айда. Думаешь, легко?

— Думаю — не думаю... Витька у нас где? — Семён вспомнил о сынишке.

— Где он может быть? Купается. С утра до вечера в воде. Ты бы поругался... Хотя, до сына ли тебе? Ты в мыслях уже там... Мечтаешь, как смотаешься!

— Ни о чём я не мечтаю, — поморщился Семён. — Ладно, Шур, пилить!

— Ладно, видите ль, ему! Ничего не ладно. Я ещё не начинала, — распаялась Шура. — у других мужья, посмотришь, — тоже, между прочим, сокращённые — устраиваются где-то, что-то да находят, жён не надрывают, семьи не бросают. А вы с Потапенкой намылились... Да был бы, Сёма, толк, а то ведь толку, чую... Тьфу! Дома на заводе денег не видал, а там, куда уедешь, и вовсе не увидишь. А впрочем, поезжай! Катись на все четыре стороны, удерживать не стану, что ты есть, что нет тебя. Каб не Витька, так давно бы!.. — Шура осеклась и, мельком взглянув на буреющую с края тучку, вновь пошла в наклоне по меже.

— Чего — давно б? — прищурился Семён. — Ушла бы, что ли, а?

— Дудки, Сёма! Не на ту напал. Сам бы глаза скрыл, если б захотела.

Семён расхохотался.

— Ты, Шура, перегрелась. Отдохни. Я тоже съезжу, искупаюсь, а то не вмоготу... Егор! — окликнул он Потапенко. — Заводи свой мотик, съездим на протоку, освежимся!

Потапенко Полинка в замедленном расклоне погрозила тяткой.

* * *

Лет пять тому назад, чтобы срезать крюк на ферму, протоку задавили насыпью с поперёк проложенной трубой. Летом вода скатывалась в речку, и закупоренные илом концы трубы торчали с двух сторон дороги. С них-то и ныряла детвора.

— Витя, хватит, накупался. Посинел весь, как цыплёнок! — приказал Семён сыну, но проследил, как тот с оглядкой прошёл к краешку трубы, сложил ладони лодочкой и прыгнул, взбив столб грязных брызг. Довольный, выскочил на берег, дрожа от холода, подобрал велосипед и подошёл к отцу.

— Езжай, сынка, домой — дождик вот-вот брызнет. Да мамке помощи там!

Тучка постепенно принимала очертания нависшего над гребнем реликтового ящера, отбрасывающего тень на лысый склон горы...

— Ну, как спалось сегодня? — любопытствовал Потапенко.

Семён пожал плечами.

— Сегодня, как ни странно, крепко. Едва Шура утром раскачала.

— Нервы у тебя! А меня и водка не сморила. Я, признаться, так и не заснул. Раздумался чего-то...

— Теперь чего раздумывать? Назад ходу нет. Теперь вперёд, и с песней!

— ... раздумался и... это, — гнул своё Потапенко, расковыривая пяткой углубление в земле.

Семён насторожился:

— Ну, ну, раздумался, и что? Ты договаривай, не мямли.

— Боюсь чего-то я, Семён. Сомнения какие-то. Предчутья нехорошие. Погорячились мы с тобой. Я чего подумал ночью? У меня же шурин в области... Это, Полькин брато. Магазины у него, шмотками торгует. Из Турции привозит. Сам туда-сюда курсирует, а баба продавцом. Вроде, получается у них. Съезжу, посоветуюсь... Может, что подскажут. Чем, может, пригожусь. Что на это скажешь?

— Что тебе сказать? — помрачнел Семён. — Предчутья у него! Пословица не даром, видно, молвится: ближняя копейка дороже дальнего рубля... Шуринок челноком, а ты, значит, подчелночником? Баулы шурина таскать? Хорошее занятие, без риска... Сам придумал или Поля подсказала?

— Не-е, я Польке ни гу-гу! И не в ближней копеечке дело, Семён. Не в дальнем рубле. Тут всё намного проще — жив человек смерти боится.

- Тоже верно. Действуй. Отговаривать не стану.
- А ты? Может, вместе съездим? Не укусит шурин!
- У меня контракт подписан.
- Подумаешь, контракт! Контракт не присяга – бумажка. Как подписали, так и... это. Денег ихних мы не получали? Пока не получали. Вот и всё, и нет претензий... Дети, Сёма. Де-ети! Кабы не они. Кто их на ноги поставит, если... не дай Бог? Военкомат? Да он про нас забудет на другой же день! Может, всё же, передумаешь?
- Давай, что ли, купаться! – сказал на выдохе Семён. – Мы для чего сюда приехали?
- Не купаться я приехал – с тобой поговорить. Наедине, без Польки. Это, не пори горячку, подумай до утра.
- Ну и поезжай назад! Я пешком вернусь!

* * *

«Вот и скис Потапенко! Скис наш бомбардир!» – Семён внешне оставался совершенно равнодушным к такому повороту, будто ничего другого и не ожидал.

Ниже по течению, метрах в двадцати, виднелись старые мостки. Берег был сухим и травянистым. Семён прошёл туда, разделся...

У ног, в переплетении трав, то и дело опрокидываясь навзничь, сновали сухопутные букашечки с перламутровыми панцирными спинками; низко над протокой, выписывая в воздухе ломаные линии, стремительно носились синие стрекозки; по осоковому стеблю в тихой воде упорно карабкался вверх жучок-плавунец... Вот он достиг зелёного листочка на поверхности, уцепился лапками за краешек, завис, как бы осматриваясь – а что же тут, на суше, интересного? – сорвался, но поплыл не к берегу, а вглубь, ко дну, чтоб вновь начать оттуда нелёгкое всхождение...

Разом вдруг стемнело. Со стороны затянутой сизой пеленой горы неслась сорвавшаяся с гребня туча-яшур с надломленным, опущенным до земли крылом. Крупные, как градины, первые капли дождя задробили по плахам мостков, больно хлестанули по плечам...

С непроизвольным выкриком восторга Семён с разбегу взвился над водой. Вынырнул и отдышался, покружив на месте, поплыл вдоль берега вразмашку. Метров через пятьдесят лёг на спину и поплыл против течения...

Но дождь не разошёлся. Тучу разметало, клочья пронесло, проглянуло солнце. Край неба подсветился розовым, на глазах перетекал в алые, бордовые тона.

Растирая грудь, Семён устало выбредал на берег. И... остановился. В полушаге от места, куда он совершил прыжок, двумя четырёхгранными штыками из глубины виднелись связанные проволокой осиновые кольца...

Семён сообразил, что осенью какой-то идиот снял с последнего пролёта плахи, а кольца опрометчиво оставил... Хладнокровно раскачав их под водой, поднатужась, по одному вытащил и вынес на берег. Сел и огляделся — в стороне по-прежнему плескалась детвора...

Только теперь объял страх. Он обхватил затылок... А перед глазами на штыках двух колеев крутилось, корчило в предсмертных судорогах распластанное тело, и не отблески зари — кровавые потёки расходились по воде широкими кругами...

Сдавленный, короткий вскрик пронёсся над протокой...

В сумерках пришёл домой и виновато улыбнулся встревожено взглянувшей на него жене.

— Ну, как вы... без меня тут?

Обидно!

Дежурная администраторша — дородная голубоглазая женщина с копной вызывающе рыжих волос со вздохом отвела глаза от мерцающего телеэкрана, задавила в пепельнице малиновый уголёк сигареты и безапелляционно заявила:

— Мест нет, и сегодня не будет. Завтра, может быть, с утра...

Но Змановский не спешил откланяться.

— С утра мне ни к чему, я завтра улетаю. Не подскажите, в какую ещё гостиницу в вашем посёлке можно сунуться? Не ночевать же на вокзале!

Дежурная с улыбкой лёгкого упрёка качнула рыжей копной и убедительно разъяснила:

— У нас тут не Москва, уважаемый, с её отелями-хотелями... У нас на весь посёлок одна-единственная гостиничка... Без шику, но не пустует. Кому нужно, тот бронирует.

— Дал маху, не побеспокоился вовремя, — согласился Змановский. — Я у вас проездом. Только не из Москвы, а из Тюмени. Проездом... А самолёт на Ханты завтра...

— Есть тут где-то частная, — смягчённым тоном произнесла администраторша, — не знаю даже точно, где, но это, скорее, квартира в наём. Вам, если до утра, то ни к чему...

Её двусмысленный ответ: «Мест нет и не будет, но и частная вам ни к чему» Змановский истолковал по-своему. В старые добрые времена в провинциальных гостиницах в подобных ситуациях приходилось незаметно вкладывать в паспорт трёшку-пятёрку. Безотказно срабатывало... Он уже стал про себя соображать, сколько же нужно сунуть в пересчёте на нынешние деньги, когда, ещё раз окинув его заинтересованным и даже сочувствующим взглядом, рыжеволосая хозяйка положения сняла с аппарата трубку и набрала короткий номер по внутренней связи:

— Люда, у тебя там из двести семнадцатой братец не выехал? Как не выехал, когда у него до двенадцати оплочено?

Во скоко? К полуночи? Тогда вот что, к тебе сейчас подойдёт один... тоже неприкаянный... подсели его к братцу. — Она угнездила трубку и кратко объяснила. — Есть вариант. У нас один тут занимает двухместный однокомнатный. К полуночи уметётся... Если не против, заполняйте анкету и к дежурной на второй этаж...

* * *

«Братец» — грузный, в годах, мужчина с ёжиком сивых волос, в несвежей белой сорочке, с выпавшим на подушку бордовым языком галстука неподвижно лежал на постели.

Змановский неслышно прошёл к свободной кровати. Едва «приземлился» и с облегчением перевёл дух, как зазвонил мобильник. Он мельком глянул на высвеченный номер.

— Слушаю, Дашутка!

«Папка, ты уже в посёлке? Как доехал? Где остановился? Когда будешь дома?» — очередью выпалила дочь.

— Да, я в гостинице... Только что вселился... Всё в порядке, буду завтра днём! — односложно, шёпотом отвечал Змановский.

«Тебя плохо слышно! Перезвони мне сам!»

— Хорошо, хорошо... Я тут не один... Сейчас перезвоню из коридора!

Грузное тело на соседней кровати тяжело ворохнулось и бодро произнесло:

— Не беспокойтесь, разговаривайте, я не сплю!

— Я разбудил вас, наверное?

— Днём я никогда не сплю, — чётко произнёс «братец». — Днём я иногда молча отдыхаю!

И только после того, как Змановский закончил долгий разговор и распрощался с дочерью, «молча отдохавший» сосед по номеру поинтересовался:

— Дочка? — Он уже сидел на кровати, со скучающим видом почёсывал складчатый живот и с любопытством рассматривал голые волосатые ноги.

— Дочка. Беспокоится...

— Это хорошо, что беспокоится. Беспокоится — значит, любит. Уважает, значит. — «Братец» привстал, зевнул

и сладко потянулся, вывернув до хруста в суставах сцепленные в замок над головой толстые пальцы. Он оказался крепко сложенным коротышкой с набрякшими веками, с водянистыми мешками под тёмно-карими глазами, не утратившими, впрочем, былой живости и выразительности. Высвобожденный из-под брючного ремня складчатый живот ритмично задышал. Сосед энергично поскрёб расчёской ёжик волос на макушке, взгляделся в собственное отражение в осколке зеркала на внутренней стороне раскрытой дверцы шкафа, подушечками пальцев помассировал вспухшие подглазья и так же резко и неожиданно, в энергичном полуобороте, выбросил руку в сторону Змановского.

— Будем знакомы? Говорков. Олег Владимирович. Ведущий инженер по энергосистемам...

— Вячеслав Аркадьевич, — представился Змановский. — Можно просто — Слава.

— Ну, Слава так Слава, Тогда и я Олег. Олежка! — Говорков глянул на часы и скороговоркой сообщил. — Я скоро выметаюсь, Слава, но время пока есть. Как нащёт по сто пийсят? За случайное знакомство и кратковременное, так сказать, соседство?

Змановский с гримасой отвращения отмахнулся.

— Нет, что вы, совершенно ни к чему! С дороги, с поезда — устал! Сейчас бы под горячий душ да отоспаться всласть!

— Под душ он размечтался! — ядовито усмехнулся Говорков. — Про душ, Слава, забудь! Я в этой тьмутараканской гостинице в общей сложности прожил больше года, но не вспомню, чтобы здесь когда-нибудь была горячая вода. Кстати, ни кафешки, ни забегаловки сносной тоже поблизости не наблюдается, а буфет на этаже закрыт. Может, чаю за компанию? Или — кофеёчку растворимого?

— Вот чашку чая с удовольствием!

Говорков засуетился:

— Это нам не трудно... Это мы всегда готовы... Сейчас вот кипяточничек достану. Что-что, а кипяточник, сахарок, заварка у меня всегда с собой. Можно кипятку в дежурке у Лисички взять, она ни в чём мне не откажет, я тут за своего, словно брата привечает... Лисичка — это

администраторша. Рыжая. Любашка. Славная бабёнка, я тебе скажу... Тебе, значит, чаю, а сам, пожалуй, дёрну стопочку-другую, если ты не возражаешь. Освежусь перед отъездом! Мне вчера после банкета по случаю завершения пуско-наладочных работ кто-то из местных деятелей сунул коньячок в качестве презента... Ты не возражаешь?

Змановский снисходительно развёл руками:

— Да ну, Олег, какие возражения?

— А если возражаешь, дёрну всё-равно! Я сегодня малость... вялый! Клин клином вышибают! — Говорков достал из прикроватной тумбочки плоскую бутылку тёмного стекла, повертел её в руках, рассмотрел этикетку. — «Златен лев». Болгария. Семь звёздочек, смотри-ка! Продегустируем напиток братского народа! — Но тут же уточнил. — Бывшего, увы, братского народа! Братьев и сестёр у России не осталось — все бывшее родство похерено под дудочку заокеанских друганов Бориса Николаича! А ведь хоро-ошими строителями были братовья-болгаре! Я работал с ними. Знаю. Я, Слава, старый кадр, из тех древних мамонтов, в трудовых книжках которых всего одна запись... Не поверишь, сорок лет в одной конторе! Начинал с электромонтёра... С ввинчивания лампочек в подъездах да с замены проводки. Начальники менялись, контора то дробилась-крошилась, то распадалась-рассыпалась, то воссоединялась-укрупнялась, то передавалась-продавалась, а я, Слава, как стойкий оловянный солдатик, оставался на посту. От монтёра до главного инженера дошёл. Без хвастовства: я спец, каких в моей отрасли мало. Меня в энергосистеме знают все — от министра до последнего работяги...

— Сорок лет на одном месте?! Я не ослышался, Олег? — не поверил Змановский.

— Сорок! — утвердительно тряхнул головой Говорков.

— Невероятно!

— Невероятно, но факт!

Говорков между тем достал из холодильника пару зелёных яблок, порезал их на дольки. В синей эмалированной — «походной» — кружке приготовил кипяток, заварил пакетиком «липтона». Для себя сполоснул под раковиной гостиничный стакан. — Да-да, с самим министром

знаком! — продолжал он по ходу дела. — Министр лично руку мне пожал во время последнего визита... В новостях по телику показали! Начальство меня во все времена уважало. Что советское, что нынешнее. И не обижало. Всё, что нужно, я имею: заслуженного энергетика, орден за заслуги, приличную зарплату, завидную квартиру, домик с садом в Азове... К старости готов! Хоть сейчас вались на диван да молча отдыхай, но остановиться не могу... Мотаюсь всё по командировкам. Всю страну исколесил, а уж Сибирь родимую взял вдоль и поперёк. И не по одному разу. В любой гостинице я — почётный гость. Без преувеличения!

Сорок лет на одном месте! Такое Змановскому действительно представлялось фантастикой. Сам он к своим сорока восьми сменил с десятков мест работы, больше двух-трёх лет в одной должности и даже в одной организации не задерживаясь. «Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше», — часто повторял он для самооправдания. Тем более, в беспокойные, смутные времена бесконечных реформ, перестроек и всяческих ломок. Да и не тот характер. Не характер, а характерец! Ни к чему не прирос, ни к чему не прикипел. Да и в семье-то пяти лет не выдержал...

Сумбурный, пустой, в общем-то, монолог вечного командировочного Говоркова, развязавшего язык в предвкушении «братского напитка», навёл Змановского на мрачные мысли о своей, не сказать, безнадёжно запутанной, но и не столь однозначно простой жизни. Он держал в ладонях горячую кружку, цедил свежий чай, в знак внимания кивал каждой реплике собеседника, а сам в мыслях витал в затрашнем дне — (с прошлым было всё ясно и понятно — его уже не исправишь, не перечеркнёшь), видел себя в кругу бывшей семьи, куда ехал почётным гостем — по просьбе повзрослевшей дочери, ибо Клавдия, бывшая жена, неделю назад в предварительном телефонном разговоре прямо заявила, что особого желания видеться с ним не имеет, но и воле дочери наперекор не станет. С Клавдией расстались — подумать только! — двенадцать лет назад. Дочери в ту пору тоже было двенадцать. Со второй женой — медсестрой Ингой в мире и согласии не прожили и года. Не сложилось.

Он ехал на свадьбу дочери эдаким матёрым стареющим волком, мечущимся в поисках выхода из опасного круга одиночества, обозначенного флажками жизненных обстоятельств. Не надеясь ни на воссоединение и примирение с Клавдией, ни на её великодушное прощение...

— Сорок, и ещё не вечер! — хорохорился Говорков с уверенностью знающего себе цену человека. — А вы, Слава, если не секрет, по какой части служите?

Змановский уклонился от прямого ответа.

— В данный момент представляю интересы одной тюменской фирмы. В этом посёлке хозяин планирует учредить небольшой филиальчик... Необходимо согласование кое-каких мелочей с местной администрацией. А завтра — в Ханты. К дочери.

— Понятно! Бизнес — дело хлопотное. Ответственное! — Говорков плеснул себе коньяку. — За знакомство, Слава! За тебя и за твою удачу! — Выпил одним махом, закусил яблочной долькой и поинтересовался:

— У вас сколько?

— Чего — сколько? — не понял Змановский.

— Детей я имею в виду.

— А-а! Дочь. Одна.

— Как зовут?

— Дарьей... Дашуткой.

— Дашутка — хорошее имя! Взрослая?

— Взрослая. В прошлом году университет окончила. За муж вот выходит... На свадьбу еду.

— Дочка — это хорошо... А с корабля на бал — что может быть лучше! Поздравляю! Вы не курите, Слава?

— К сожалению, курю.

— А вот это зря! — Олег шмыгнул носом. — Не одобряю. По мне, лучше пропустить стопочку-другую, чем табаком себя травить... Бросать не думаете?

— Нет, всё как-то не решусь...

Но Говорков вдруг изменил своё мнение:

— А если курите давно, то лучше не бросать... Организм, знаете ли, привык, настроен на индивидуальный внутренний микроклимат, а резкое изменение климата может отрицательно сказаться на организме... И вообще, должен вам

сказать, существует мнение, что курение в иных случаях полезно... Да-да, не удивляйтесь. Мне Лисичка — она, кстати, дымит, как паровоз — очень, знаете ли, толково с медицинской точки зрения обосновала это парадоксальное, на первый взгляд, утверждение... Так что курите, если хочется, на меня не смотрите...

— Спасибо, — хмыкнул Змановский. Он со всё возрастающим любопытством поглядывал на говорливого соседа, легко соскальзывавшего в разговоре с одной темы на другую.

— Дочка — это хорошо! — раздумчиво произнёс Говорков. — Взяла и позвонила... Как, мол, ты, папашка? Доехал ли, устроился? А мой не позвонит, не поинтересуется... Он и не знает, и знать не желает, где в данный момент находится родитель, здоров ли, болен он...

— У вас сын? — больше из вежливости, чем из любопытства к семейным проблемам Говоркова поинтересовался Змановский.

— Сын.

— Один?

Инженер по энергосистемам удручённо вздохнул:

— Слава богу, один!

— Что, проблемный парень?

— Как вам сказать? Они ведь все нынче проблемные. Потому что времена, Слава, проблемные. Каковы времена, таковы и дети. Жестокосердные. Но мой — особый случай. Идиот, не идиот, но и разумным не назовёшь. Не знаю, как и назвать всё это... Умная голова дураку досталась.

Змановский отставил кружку с чаем, прочистил горло вынужденным кашлем:

— Это в каком же смысле?

— А в прямом и полном! Как же не идиот, если Родину на Америку променял, а родителей на мулатку!

— Эмигрировал, что ли?

— Получается, эмигрировал. — Говорков тренированным наклоном бутылки плеснул ровно полстакана, выдержал значительную паузу. — До сих пор не понимаю, как и почему... Рос нормальным ребёнком. Домашним. Можно сказать, вундеркиндом. Мамаша баловала. Сам я, как понимаете,

постоянно в разъездах, дома почти не бываю, а он с матерью да бабушкой... Думал, на всю жизнь останется маменькиным сынком. Однажды, года четыре ему было, приходит домой со слезами. «Что случилось?» — спрашиваю. — «Стёпка, — говорит, — обидел». Стёпка — это пацанёнок из соседнего подъезда. «Следующий раз дай Стёпке сдачи, а не беги жаловаться мамке с папкой! Будь, — говорю, — мужчиной, умей за себя постоять!» Ладно. Через какое-то время снова в слезах является. «Что, опять Стёпка обидел?» — «Опять Стёпка!» — «Почему сдачи не дал?». — «Да-а, — ревёт пуще прежнего, — я хотел дать, а он не даёт!»

Змановский рассмеялся от души:

— Хотел дать, а он не даёт?!

Говорков мрачно усмехнулся:

— Именно так. И смех, и грех. В школе учился на четвёрки-пятёрки. И за это опять же от двоечников перепало. Сколько раз с разбитыми очками домой приходил... В университет сходу не прошёл. Осенью армия светит. А я не против. Пусть, думаю, послужит, возмужает. Но — мать в шоке. «Наизнанку вывернусь, а сына на погибель не пущу». Запугали их заполошные «солдатские матушки», отвращают от армии всякими правдами-неправдами... Вывернулась. С кем-то встретилась, с кем-то переговорила, кому-то заплатила... Выхлопотала белый билет. После университета в бизнес ударился. Задумали со Стёпкой на пару магазин по продаже компакт-дисков, аудиокассет и прочей дребедени учредить. Олигархи сопливые! Арендвали место в супермаркете, взяли кредит, закупили всякого барахла. Через год прогорели. Расплачивайся, батя. Расплатился, куда денешься? Я думаю, комп его окончательно испортил. После банкротства подсел на комп. Дни и ночи напролёт в интернете торчал. Всё бы ничего, если б делом занимался, а то ведь непонятно чем. Какие-то программы придумывал.

Чуть, было, не посадили. Оказывается, хакерами заделались со Стёпкой на пару...Что-то где-то там взломали. Код или пароль. Я в этих делах ни бум-бум. А это подсудное дело. Полгода по судам таскали. Опять, отец что заработал, то вынь да положь. По судебным делам расходов мало не бывает. Откупили, можно сказать. А он опять за комп. А он опять

в интернет с головой! Не наигрался! А однажды является солнышком майским. Какую-то программу всё-таки продали. Премия солидную получили, мой машину купил, приоделся, приобулся... Ну и шут с тобой, думаю, копайся ты в своих программах, если на большее не способен! Смирился.

А в позапрошлом году вдруг заявляет: в Штаты еду. «В какие Штаты, к кому, зачем?» — Мать в трансе, я в шоке. — «По приглашению!» — «Какое приглашение, кто тебе его прислал?» — А он, оказывается, на сайте познакомился с одной американкой. Переписывался с ней, шуры-муры... Она его и пригласила. Съездил. А через месяц опять укатил. Женился на своей мулатке. А у неё батя какой-то крупный деятель. Известный в штате человек. Стал мой оболтус американцем. Вот как случается. Служит программистом в тестевой фирме, вроде, ценят его там... С матерью на сайте иногда общается, а я не подхожу. И не подойду.

— Да, эмиграция — дело серьёзное, — после затянувшейся паузы посочувствовал Змановский. — Тем более, в США. Не ближний свет. Но стоит ли так расстраиваться? Судя по всему, программист из твоего сына вышел неплохой. Если его там ценят, значит, парень толковый. Золотые головы там не пропадут. А пригодился бы он на родине, в России? Я лично не уверен. Известная российская проблема — утечка из страны мозгов. «Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше». Это — факт. И, возможно, не печалиться, а радоваться тебе надо, Олег...

— Да и я, в принципе, рассудком понимаю, — согласно кивнул Говорков. — Не дурак, конечно, парень, но сердцу не прикажешь — родительскому сердцу обидно всё равно. Тебе вот дочка позвонила: «Как, мол, ты, папашка? Жив-здоров? Скоро ли приедешь?» А мой не позвонит. Матери только иной раз: «Как, мол, у вас дела, всё ли о кей?» — «Всё, — отвечает, — у нас о кей!» — «Ну и ладно, ну и пока, ну и чао-какао!» Вот и весь разговор!

К полуночи осушив бутылку коньяка, Говорков вызвал такси. А Змановский, несмотря на дорожное утомление, долго ещё ворочался с боку на бок в постели с волглыми простынями, ещё и ещё раз мысленно проживая непростой завтрашний день.

* * *

Утром он сдал ключ от номера дежурной по этажу и спустился в холл. Не успевшая смениться администраторша — рыжая Любашка поприветствовала лёгким кивком:

— Доброе утро! Как отдохнулось?

— Спасибо, всё замечательно.

— Не уболтал вас вчера наш словоохотливый братец? Наверное, уши прожужжал про дочку, которая вышла замуж за итальянского миллионера?

Змановский вопросительно вскинул брови.

— Про дочку? Нет, про дочку не рассказывал. Даже не упоминал... А вот о сыне действительно рассказывал... А разве у него и дочка есть? Она тоже эмигрировала? В Италию?

Администраторша мотнула рыжей копной и беззвучно рассмеялась:

— Эмигрировала! Так же, как и сын! Такой уж он у нас есть... Сочинитель! Одному про дочку сказку сочинит, другому — байку о сыне... А на самом деле нет у него ни сына, ни дочки, ни жены, ни семьи... Нет и не было никогда.

— Как нет? — опешил Змановский. — Почему — нет?

— Да вот так! Век прожил бобылём. Всю жизнь по мотелям-хотелям...

— Странно... — Змановский ещё какое-то время постоял, в недоумении пожал плечами, но ни о чём больше не спросил. Отправился в администрацию по делам своей фирмы. А вскоре и думать забыл о Говоркове и его вымышленных детях. И лишь когда в аэропорту Ханты-Мансийска его встретили дочь с женихом, а затем в салоне жениховой машины Дашутка без умолку рассказывала о семейных и городских новостях, с мимолётной лёгкой грустью вспомнил вдруг случайного соседа по номеру — знатного энергетика Говоркова. И даже посочувствовал: «Как же не обидно!»

Прости, капитан!

— А помнишь, Володя, игру с «Политехом»?

— Много их было, разве все запомнишь? О какой из них ты всё напоминаешь?

— Ты мне брось тут: «Мно-ого!» Такой не бывало. Если не помнишь последнего матча, какой ты, к чёрту, бывший футболист! И о чём тогда мне тут с тобою разговаривать!

— Не горячись, Мартын. Напомни, о каком матче речь. Может, я и на поле-то не выходил. Тебе ль не знать, что я в последнем первенстве в запасе больше просидел?

— Выходил, Володя, выходил! Неужели вправду позабыл? Ты, может, и команду нашу позабыл? — не на шутку распаляется мой институтский однокашник.

— Ну при чём тут команда? Она в памяти моей осталась навсегда. Разве я могу ребят, тебя, Мартын, забыть? — Я тоже начинаю горячиться, хотя и понимаю, что должен уступить, должен повиниться перед капитаном институтской сборной по футболу. Чувство вины усугублено, вероятно, тем, что, проездом оказавшись в городе своей студенческой юности, я застал Мартына в его не лучшей форме, а может, и в какой-то переломный для него период, о чём догадываюсь смутно по застывшей в его потухших глазах покорности судьбе... Догадываюсь, но не могу себе позволить, как мог ещё пятнадцать лет назад, спросить его впрямую по праву преданного друга: «В чём дело, старина? Отчего хандра?» Что-то, полагаю, не сложилось, не заладилось. Да и у кого из совестливых, порядочных людей жизнь в наше подленькое время сложилась или не разладилась!..

— ... Разве я смогу забыть команду? Всё я, Мартын, помню. Всех и всё! — уверяю своего распалившегося друга, мягко похлопав его по плечу.

— Ну вот... А то: «Не помню!» — примирительно бурчит Семён Мартынов, придвигая по столу банку пива.

Мы сидим за столиком в летнем кафе. Снаружи по натянутому тенту шелестит мелкий дождик. Внутри, от стойки бара, звучит лёгкая мелодия. Уютно и покойно после сутолоки дня...

Ах, Мартын, Мартын! Мой старый, добрый друг! Как же нам не помнить «команду молодости нашей»? Ту пору — «пору золотую» — как не помнить? Помню мегафонный голос комментатора: «Гол забил Семён Мартынов!», гул восторга преданных, признательных тебе болельщиков на трибунах стадиона...

Семён Мартынов — центр нападения, восходящая звезда любительского футбола, кумир студгородка. Да и не только городка — Мартына знал весь город. Помню — зря, Мартын, психуешь! — тебя знали и болельщики, и тренеры команды первой лиги «Водник» зачастили на просмотр твоей игры...

Он восхищал не только знаменитыми рывками, таранными проходами по центру, техникой игры (мячом владел он виртуозно! Мяч, казалось, прилипал к носочку его бутсы!), но, несмотря на средний рост, отнюдь не богатырское сложение, превосходил всех нас и в верховой борьбе, и в точности и силе паса, и в видении поля в самые, казалось бы, «слепые» от перенапряжения кульминационные моменты... Но главное, что отличало Мартынова Семёна — это неуёмная жажда победы. Даже тогда, когда любого из нас устроила бы и боевая ничья...

Помню, Мартын, помню, как доставалось твоей правой! Шесть травм и операция — за четыре полных года в сборной. И всё же, главное, наверно, заключалось в том, что в каждом матче ты игру брал на себя. Не уклонялся от борьбы, не избавлялся от мяча безадресной поспешной передачей, не катался по полю при лёгком столкновении, выпрашивая штраф или же выгадывая несколько мгновений передышки, чем — чего уж там! — грешили многие из нас в особо трудные минуты. Ты вёл игру. Ты вёл команду!

— Всё, Мартын, я помню. Всё. Всё до мелочей. И ребят всех помню. График игр. Забитые голы...

— А не забитые, Володя?

— Ну, это, Мартын, слишком. Я не блистал, как ты.

— А игру с «Политехом»?

Нет, не избежать воспоминаний о злополучной той игре!

— Дался тебе этот «Политех»!

— А я, Володя, помню... Первые годы после Афгана мучился бессонницей. Лежу, припоминаю, прокручиваю в памяти все свои бои и матчи... И не забитый гол с твоей подачи помню! — мрачно усмехается мой друг. — «Политех» да ещё, пожалуй, «Автодор» нам всегда давались нелегко. Как и в той игре. Ну, вспомни же её!.. Заканчивается матч. Счёт по игре — ноль-ноль. И вдруг за три минуты до финального свистка в ворота Генука вкатывается мяч... Помнишь Генука? Вратаря-то нашего?

— Председателя студкома Гену Хомякова?

— Не Хомякова — Хомченко. Председателя, вот именно. Он и сегодня в нашем городе какой-то не последний председатель. Вижу его часто, но не подхожу, не разговариваю с ним. Для меня его не существует.

— Неужели с тех пор?

— С тех пор. Не перебивай... Мяч, который должен брать ребёнок, пересёк черту наших ворот. «Политех» ликует. Три минуты до финального свистка! Что делаете вы? Вы цепенеете, Володя. Вы — сломлены. Вы — сникли. А это уже поражение!

— Но и проигрыш не сбрасывает нас с верхней строчки турнирной таблицы, — вспоминаю ситуацию. — Судьба-то первенства была предрешена задолго до последнего матча!

Мартын смотрит не мигая, не меняя выражения чуть насмешливых в упреке утомлённых глаз.

— Значит, всё же, не забыл?!

Да, я не забыл. Но и через пятнадцать лет мне стыдно вспоминать всё связанное с тем злополучным матчем!

Я всё, конечно, помню.

... Соперник тянет время, затеяв в центре поля мелкую перепасовку. Судья уже посматривает на секундометр. Две минуты до финального свистка! И вот Семён Мартынов перехватывает мяч и пушечным ударом посылает его в сторону ворот соперника в надежде на рывок правофлангового. Правый крайний принимает передачу, обрабатывает

мяч и... топчется на месте в ожидании партнёра. Мартын пулей устремляется по центру. В пяти метрах от штрафной его сбивают с ног... Должен быть штрафной, но судья не видит, игра не остановлена. Мартын медленно встаёт. Охнув, снова приседает на газон. Вижу по глазам, суженным от боли: удар пришёлся по лодыжке. Неужели травма? Правый, между тем, запутавшись в обводке, навешивает мяч на левый фланг. Мяч у меня. Одна минута!.. Мартын встаёт. В кольце защитников и опекунов, хромя, пятится назад, открывая «коридор». Нужен хороший прострел под удар его правой! Но замысел разгадан. Форвард «Политеха» «ведёт» меня по кромке. Не уйти, не развернуться, не подать, как следует! Нет сил на мощную прицельную передачу! В конце концов я чудом проталкиваю мяч. Мяч в подскоке катится к Мартыну...

— ... Я врезал по мячу сломанной ногой. По диагонали, правой, с разворота, сходу! Мяч лёг на ногу, как в гнёздышко. Я в тот удар вложил всего себя. Фейерверк огней из глаз от боли! На какое-то мгновение я потерял сознание. Увы, мяч ахнул в перекладину... И всё — свисток судьи. Если б мне, Володя, не сломали ногу, а у тебя хватило б сил на хорошую передачу, я б тот мячик вколотил в ворота. Я бы спас игру. Спас команду от позора!.. Тот матч стал моим последним матчем. — Опершись ладонями на край мраморного столика, Мартын в наклоне долго, выжидательно смотрит на меня.

Не выдержав его пронизательного взора, отвожу глаза на стойку бара, где мирную беседу ведут официант с барменом.

— Ту игру сдал «Политеху» наш Генук. Я узнал об этом на другой же день. От одного из игроков того же «Политеха». Валялся в общежитии на койке с гипсом на ноге. И он ко мне явился. Думаешь, с повинной? Совесть, думаешь, заела? Ничего подобного. Гонец пришёл осведомиться, по уговору ли Генук распорядился взяткой... Да, нас и поражение не лишало «золота», ты прав, а им нужна была победа. Только два очка выводили их на второе место. Сторговались с Генуком за одиннадцать стипендий. По стипендии на брата. Вот такой расчёт, такая арифметика!

— В чём-чём, а в математике Генук наш был силён!..

— Он и сейчас силён в расчётах. Так вот, я выпроводил с боем гонца из «Политеха» и на костылях отправился на поиски нашего голкипера. Застал его в студкоме. Шло очередное заседание — распекали нерадивых. Он аж привстал со стула. Он побелел и улыбнулся... Впервые я увидел, как человек бледнеет и потеет на глазах. Я вышел, не сказав ни слова...

— Думаешь, он помнит?

— Всё он, Володя, помнит. Ведь сговор был, по сути дела, первой в его жизни сделкой. Это он теперь может позабыть какие-то свои предпринимательские сделки, а ту — первую подлянку на стипёшках — помнит как дебют! Через месяц сняли гипс, и я бросил институт. Я катастрофически запустил учёбу. «Хвосты» за мной тянулись со второго курса. Даже и зимой, в отличие от вас, я пропадал в спортзале. Всерьёз готовился, Володя, к переходу в «Водник». Получил и приглашение, и сразу — в основной состав. О чём ещё мечтать? Но осенью призвали, и даже главный тренер не смог добиться для меня отсрочки. И тогда, — напыщенно-торжественно заключил Мартын, — в одну из тёмных холодных ноябрьских ночей под проникновенное «Прощание славянки» бывший центр нападения с группой свежестриженных юнцов скорым поездом Владивосток — Москва отбыл с пятого пути к месту исполнения воинского долга!.. А через год — Афган.

— Ты отбыл, и с твоим отъездом рассыпалась команда.

Мартын смотрит на меня пронизательным прищуром много повидавшего в жизни человека.

— Ты ничего не понял, друг. Не оттого, что отбыл я, рассыпалась команда. Она рассыпалась тогда, когда игру продали «Политеху». Когда вы, Володя, отметили победу в первенстве на «премиальные» соперника...

И нечего-то мне возразить на это. Бессмысленно и глупо запыряться!

Рассчитавшись, покидаем уютное кафе. Дождь перестал. Перед тем, как разойтись, присаживаемся рядышком на краешек скамьи. Мартын устало отставляет ногу. И только теперь из-под приподнявшейся

штанины над его коричневым ботинком я вижу чёрный ствол протеза...

Перехватив мой взгляд, Мартын невесело смеётся:

— Ничего, Володя. Зато я навсегда избавился от травм. «Духи» помогли. Моя правая нога обрела вечный покой!..

Прости, капитан!

1999

До поры до времени

*Скрытен он стал, народ-то!
Прямо жуть как скрытен!*

И. Бунин

1. Понедельник.

ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ, МУЖИК НЕ ПЕРЕКРЕСТИТСЯ

Веремеев только что поставил точку в конце заглавного абзаца начатой статьи, расслабленно отпал на спинку стула, отпил холодного крепкого кофе из граненого стакана в медном подстаканнике и машинально закурил. Привстав, придвинул стол. Взял тетрадный лист, исписанный наполовину мелким почерком (за тридцать лет писательства он так и не привык печатать сразу на машинке), и, дальнозорко щурясь, на расстоянии руки пробежал текст. Статья пошла. Пошла определённно!

Удовлетворённо хмыкнув, сбросил лист на стол.

— Ну-с, юные друзья литературы, посмотрим, что вы запоёте! Ужо задам вам трёпку! А то, вишь ты, распоя-ясились, почувствовали волюшку, управы на вас нет!

Статья была заказана журналом, в котором Веремеев заведовал отделом публицистики уже десять лет, как отповедь «апрелевцу» Зарницкому — нахальному мальчишке из молодой газетёнки. Бывшей комсомольской областной. «Заказана» — пожалуй, не то слово, точнее — главный попросил всыпать желторотому со всей его компанией по первое число. С чувством, толком, расстановкой. Так, чтоб впредь им неповадно было ввязываться в драчку с солидными журналами.

Да и кто потерпит? Была б хоть драчка-то серьёзная, а то ведь курам на смех. Детские забавы. Начитались сопляки столичных газетёнок, возглавляемых «прорабами».

Скопом навалились. Кусают в каждом номере, благо, газетенка не журнал, через день выходит. Авторы журнала для них сплошь графоманы, редколлегия, редакция — сборище бездарных «коммуняк» и шовинистов. «Нет звёзд. Авторитетов. Поступков нет. Хара-актеров! На свалку всех. На свалку. Дорогу молодым!»

— Будет вам дорога. Торная, просторная! Всем. И нам, и вам... А вам-то уж тем более. Кому вы там нужны со своими книжками, в новом «светлом» будущем? Агитаторы реформ! Пропагандисты рынка! Борзописцы хреновы!

Обидно, что Зарницкий...

Пусть бы кто-нибудь другой накатал последнюю статью, только б не Зарницкий. Столько с ним носился! Пестовал. Печатал. Выдвигал. Подхвалявал. Когда и незаслуженно... Довёл до первой книжки, в Союз помог вступить. Как же — землячок, из райцентра Ревино! Если б не помог, сидел бы до сих пор в районке, мотался б по колхозам. Один из всех газетчиков на что-то и способен, а поди ж ты — с ними. Прораб, едрёна мать! Отблагодарил. Спасибо! «Зелёный свет другой литературе!..»

— Будет вам зелёный свет!

Веремеев в нетерпении бросил сигарету в наполненную пепельницу, взял шариковую ручку, к первому абзацу приписал второй. В соответствующем пасквилю писаки-оппонента полуиздевательском, но выдержанном в рамках внешнего приличия тоне с блеском, мастерски нанёс удар двумя отточенными фразами. Нокаутировал на выходе. А цепко схваченная мысль азартно диктовала последующую серию ударов...

И тут пронзила сердце боль. Короткая и острая, как прокол иглы.

Веремеев охнул, выпрямился, замер. Ручка выпала из пальцев, лист скользнул по полировке рабочего стола, уплыл на середину кабинета. Он затаил дыхание, со страхом ожидая повторного прокола, которого, однако, не случилось, а боль от первого горячими толчками пошла по всей груди. Он слабо выдохнул:

— Опять!..

Обеими руками опершись на краешек стола, медленно поднялся, подушечками пальцев потёр через рубашку грудь.

«Опять... Опять. Опять!»

Вышел в коридор, захламлённый битой штукатуркой, известью и дранью, загромождённый пыльной старой мебелью, стремянками и вёдрами с растворами и красками, — ремонт на этаже длился другой месяц. Из отдела прозы через приоткрытую филенчатую дверь доносилась сбивчивая, лающая речь полковника в отставке пенсионера Рыбина, на склоне лет вообразившего себя, должно быть, Сименоном. Сименон не соглашался с внутренней рецензией на рукопись романа, с каковым таскался по редакциям уже с десятков лет. За столиком у зава сидел смешливый рыжий ответсек, держа по-женски на отлёте скатанную трубочкой газету. Две девчушки из корректорской шли по коридору с чайником и чашками в руках.

— Виктор Алексеевич, за компашку с нами!

Он рассеянно кивнул в ответ на приглашение, спустился на этаж, куда ремонт покамест не дошёл, остановился у окна с широким подоконником, усыпанным окурками и пеплом. Стёр платком испарину со лба. Скрестив руки на груди, уставился на серый, облупленный фасад жилой пятиэтажки с отметинами сброшенных недавно панно и транспарантов...

— Боже мой, второй звонок!

...Впервые боль — короткая, прострельная — застала так же вот внезапно год тому назад на конференции в Москве, уже под самый занавес бурного собрания, после выступления, которое на пару с главным «обсасывали» ночью накануне в номере гостиницы. Охнув громко, удивленно, рухнул на сиденье, задев локтём соседа. И тот испуганно вскочил: «Товарищи! Товарищи, человеку плохо!»

Как сквозь зыбкую дымку тумана различал вокруг себя растерянные лица, а голоса слились в сплошной, невыносимый гул. Через проход к нему метнулся чернявый бородач (позже познакомились — прозаик с Заполярья), одним движением руки ослабил узел галстука, поймал за кисть, прощупал пульс, но боль уже прошла. Веремеев улыбнулся и, бледный и подавленный, вышел в коридор...

— Пора... Пора, дружище, к эскулапам, — произнёс он тихо, но решительно, как год тому назад. Он отдавал себе отчёт, что значит «сдаться эскулапам». Приёмы и анализы. Кардиограммы и рентгены... Суета и нервотрёпка. А вдруг в стационар? Отлёжка на больничной койке надолго выбьет из привычной колеи, спутает все планы, но главное — придётся позабыть о предстоящем съезде, куда был он делегирован своей организацией, где собирался выступить, излить всю боль, что накопилась за последний год, сказать всю правду, что не высказал. Он отдавал себе отчёт, но — прозвенел звонок. Второй. И глупо было бы ждать третьего.

Веремеев повернулся и пошёл наверх. В отделе прозы Сименон кричал уже на ответсека. Тот снисходительно кивал и улыбался простодушно. Избегая встречи с настырным романистом, Веремеев проскользнул в свой кабинет и запер дверь на ключ. Поднял с пола лист бумаги, сунул в боковой карман пачку сигарет. Сел и написал на четвертушке чистого листа: «Иваныч, не теряй: спрячусь в Веремеевке, спокойно доработаю статью». Записку передал в приёмной секретарше — возвращение редактора из командировки ожидалось со дня на день...

Съехав в лифте вниз, направился к машине. «Пропади всё пропадом — работа, съезды, конференции! Пора подумать о себе. Сдать статью и — в поликлинику... Статья пошла, недели хватит с лишком!»

2. Вторник. ПРЕЖДЕ СМЕРТИ НЕ УМРЁШЬ

Деревня Веремеевка в сорока верстах от города съежилась на взгорье тремя порядками пустынных обречённых улиц в кольце овсяных, с прожелтью, полей, заслоненных частыми берёзовыми колками.

С вечера рассчитывал выехать на своей машине, но утром передумал: что, если вдруг прихватит? За рулём? Не успеешь тормознуть. Выехал с вокзала рейсовым автобусом, шёл теперь от остановки, подолгу отдыхая через каждые сто метров. Утром пролил дождь, просёлок развезло, ноги вязли

в рыхлом чернозёме вперемешку с прелью прошлогодних листьев. Баул, набитый провиантом (теперь продукты приходилось брать с собой из города), отягощал попеременно его руки... Под страхом третьего «звонка» вслушивался в сердце: то казалось, оно бьётся, как у пойманной пичуги, то совсем не ощущалось...

Вертушка на калитке въелась намертво во влажную берёзовую доску с наружной стороны. Он перелез через забор, подобранным с завалинки осколком кирпича стал сбивать её вокруг проржавленной оси — толстого гвоздя...

— Кто там шарится в потёмках? — остановил знакомый голос с крыльца домика поодаль, отделённого от дедовой избы ветхим ивовым плетнем.

Веремеев обернулся. «Тётка Спиридониha!»

— Добре службу правишь, лёлька! Денно-ношно бдишь? Темная фигура застыла в напряжении.

— Виктор, ты?

— Я, лёлька... Я.

— Прие-ехал? — Спиридониha, не мешкая, приблизилась к плетню. — А я лежу и слышу: кто-то шебаршит. Не Сашка ли, подумала, пьяненький шарашится? Дедке говорю: выйди погляди, а дедка ухом не повёл... Лежит бревном, хоть вор ходи — он не колыхнётся... А это ты. Один? Не по бруснику ли пожаловал?

— Нет, лёлька. Поработать.

— А-а! Ну поработай... Дома-то всё ладно? Валя не хвораёт? Пошто вдвоём-то не приехали?

Вертушка подалась. Веремеев сбросил на завалинку осколок кирпича, внёс баул во двор.

— Не все вопросы сразу, лёлька!

Спиридониha смущенно спохватилась.

— Что же в избу-то направился? Нетоплено в избе. Знала б, что приедешь, печку подтопила бы. Оно не холодно, да сыро. Дожжичек прошёл. У нас переночуй, а утречком смотри... К нам бы сразу и стучался!

— Не хотелось беспокоить — время уже позднее. Ну а раз застукала, иди ставь чайник.

— Ладно, что приехал, всё будет пошумней! — Растопырив локти, она довольно прытко направилась к крыльцу.

* * *

Обстановка в доме у Петруни — дяди по отцу, погибшему на фронте в первую же осень и которого, рождённый за месяц до войны, Веремеев, разумеется, не помнил, так же, впрочем, как и мать — Агафью Селивёрстовну, в один из оттепельных дней зимы сорок второго ухнувшую вместе с возом сена и впряжённой в сани лошадию в скрытую заносом полынью, — казалось, обстановка не менялась со дня переселения из дедовой избы. Избу построил дед Григорий ещё до появления коммуны. Её пять лет тому назад, после переезда в Моховое старшего брата, Егора, Веремеев с младшим, Александром, перебрал и поставил на фундамент. А дом в пятьдесят втором году поставил сам Петруня. Веремеев помнил: после обжитых дедовых полатей трудно привыкалось к койке в новом доме. Эта койка (без шаров на высоких спинках — он открутил их в детстве) и поныне древним экспонатом стояла слева от двери, на ней сидел Петруня и курил, облокотясь о дряблое бедро...

— Ну, здравствуй, дядя Петя! По-прежнему чадишь?

— Здравствуй, коль приехал, — бормотнул Петруня. Его ладонь была холодной и шершавой.

— Чадит, Вить... Ой, чадит! — подтвердила Спиридониха, нарезая хлеб. — Я и курево уже прятала в сарайку, так он у Сашки наберёт, под матрас напрячет и смолит втихушку...

— Бросать бы надо... Я вот бросил! — Веремеев снял пиджак и прошёл к столу. «Ничего не изменилось!»

Тот же стол под облезлой клеёнкой прямо против двери у окна с видом на скрытое сумерками озеро в камышовых сизых зарослях. (Первая книжка рассказов писалась за этим столом!) Та же печь с полдюжиной окурков в поддувале. В простенке между входом в горницу и глухой стеной — посудный шкаф с резными дверцами вроде бы ещё дедовой работы. Домотканый половик, в углу — герань в кадучке. Тусклый свет стоватки, неистребимый запах тёплого — лелькиного — хлеба. Веремеев не был здесь уже больше года. Но за год Спиридониха мало изменилась. Лишь потемнела кожа да заострился нос. Ещё походка сделалась нелепой — локти отодвинуты назад, кулачки на грудях. Но — живая,

расторопная. А Петруня сдал. Свесив ноги, сложа руки на колени, сидел недвижно на кровати, уставясь в одну точку. Его крупные глаза подёрнулись какой-то мутной влажной плёнкой тоски и безысходности.

Свежий чай, заваренный вкрутую вперемешку с мятой, не взбодрил — расслабил. Сон одолевал. Сказывались, видимо, дорожная усталость и проведённая в бессоннице ночь в канун отъезда.

Облокотясь на краешек стола, Спиридониха расслабленным, тёплым после чая голосом вела беседу с Веремеевым.

— Захирел наш дедка... С утра ещё шевелится, как-то копошится, а к вечеру совсем никуда не гош. Задумываться стал. Вот так, — кивнула на Петруню, — сидит себе пеньком, молчит и не сморгнет. Сидит вот и не слышит, о чём с тобой калякаем. Боюсь я, Витя, за него...

— В больницу бы сводить. Может, приболел?

— Не жалуется вроде... И разве он пойдёт? Да и какие нам теперь больницы, развалюхам старым? Наше дело доскрипеть, три дня до смертушки осталось.

— Так уж и три дня!

— Чего бы ты хотел? Петруне восемьдесят скоро, и я ненамножко отстала. Молодые, видишь, валяются снопами, а нам-то уж подавно помирать пора. Прибираться надо. Косую не обманешь. Пойдёшь к врачу — догонит: а-а, скажет, развалюхи, ещё не нажились, обхитрить удумали? Нет, Витя, дорогой, наша песня спета. Сколь на веку написано, столь и проживём, лишку нам не надо.

Веремеев улыбнулся трогательной речью, успокоительно коснулся предплечья Спиридонихи.

— А кем написано-то, лёлка?

— Будто ты не знаешь! — поджала она губы. — Тоже ить немолодой, шестой десяток разменял. — Пальцем указав на потолок, разъяснила шёпотом. — У него там всё расписано: кому когда родиться, кому когда прибраться... Нет, не увернёшься. Помнишь ведь дружочка своего, Гешеньку Тоболина?

— Как не помнить? Помню.

...Тихий бледный мальчик с синими губами медленно, но верно угасал после операции на сердце. Раз в год Гешкины

родители — он был у них единственным ребёнком — возили сына «до Москвы» на показ врачам. Деревенские мальчишки Гешку не любили. А не любили потому, как позже понял Веремеев, что одному из детворы — пусть не по доброй воле, по злой необходимости — ему подолгу доводилось жить в Москве. В столице. В белокаменной. А значит, видеть Кремль, гулять по Красной площади, ездить на метро, иметь завидные фабричные игрушки... Гешкины родители на сына денег не жалели. О Гешке он впоследствии написал рассказ. «За игрушками в Москву». И напечатал в первой книжке. Один из лучших, может быть, рассказов...

— Вот Гутюшка Крылова, цыганка моховская, — её ты тоже должен помнить, возьми да нагадай: помрёт, сказала, мальчик на двенадцатом году, помрёт, сказала, на воде. Вот ему одиннадцать. Отец с матерью от Гешки ни на шаг — на озеро, на речку путь заказан, колодец на замке, бочки и кадушки — всё поубирали. А он, бедняжечка, играл играл себе в оградке, да, видно, и запнулся о замок на крышке, упал и помер на колодце... Вот и на воде. Скажи, что, Гутя соврала? На веку написано! Да ты, однако, спишь?

У него действительно уже слипались веки. Он привстал, развёл руками.

— Засыпаю, лёлька!

— Что же это я? Счас, Витя, постелю. Ложися, отдыхай... Ты, дедка, тоже засыпай, хватит сидеть столбиком. Слышишь меня, нет?

— А-ась? — сморгнул Петруня. И поглядел на Веремеева бесцветными глазами.

— Никого не слышит! — вздохнула Спиридониха. Прощла в затемнённую горницу, постелила на диване. Раздёрнув шторку на окне, долго всматривалась в ночь. — Должно бы распогодиться... Ишь вызвездило как! Тихо да спокойно. В такую ночь о жизни думать, а я заладила о смерти, нагнала тоски. Ну её к холерам! — Из глубины её спокойных, умиротворённых глаз исходила тёплая ирония. Не насмешливо-лукавая, а излучающая свет. Как благостный напев...

— Верно, лёлька. Верно! — Веремеев медленно разделся, сбросил брюки и рубашку на спинку стула в изголовье, снял с руки часы и лёг. И провалился в сон.

3. Среда.

МУЖИК УМИРАТЬ СОБИРАЙСЯ, А ЗЕМЕЛЬКУ ПАШИ

Утром он проснулся от хлопка двери. От порога донесли шаркающие звуки резиновых сапог, зычный голос брата Александра:

— Здорово ночевали! Как вы тут сегодня? Без потерь? Всё ли по уму?

— Мы-то по уму, — съязвила Спиридониха. — По уму ли ты? Опять глазиши красные!

— Сварки нахватался! — оправдался Александр. Он про-чистил горло кашлем, прошёл к столу, придвинул табуретку. Острый запах солярки распространился по комнатам. — В Ревино собрался. На минутку заскочил с разнарядки из конторы... Перекусить найдётся?

С мая Александр обитал в пустующей квартире через дорогу от Галины, с которой состоял в разводе уже четыре месяца. Олюха — её он привозил летом из райцентра и, общала Спиридониха, собирался расписаться, стреканула от него с первым же залётным торгошом-кавказцем...

— Он сварки нахватался! — заворчала Спиридониха. — Не сварки, а... угарки!

— Ладно, дай перекусить!

— Да не сготовила ещё.

— А я на скору руку — похватаю да айда. Трактор за углом.

— Тише, Виктора подымешь!

— Приехал, что ли, Витька? — удивился Александр.

— Приехал. Пусть поспит.

— А чего приехал?

— Сказал, что поработать...

— Вот и пусть встаёт, нечего филонить! — Александр рассмеялся, полагая, что брат встанет, выйдет поздороваться. Но Веремеев не спешил соскакивать с дивана. Обычно малоразговорчивый, Александр вызвал подозрение бурным словоизвержением, что означало: либо с легкого похмелья, либо подшофе с утра. Гость в доме мог стать поводом к добавке или опохмелке... Да и было в удовольствие после длительной отлучки лежать

с закрытыми глазами и отстранённо наблюдать неторопливое движение в этом старом доме, слышать голоса родных людей.

Сниридониха легонько стукнула тарелкой.

— Сядь перекуси.

Александр с набитым ртом осведомился:

— Пенсию-то выдали?

— Принесли вчера.

— А то я на мели. В Ревино сейчас, оттуда по пути в Моховое заскочу. Дровишек привезу.

— И сколь тебе на это?

— Тыщонки две-три нужно!

— Не комбинируй, Саха! — пробурчал Петруня.

Александр обиделся. Громко шмыгнув носом, встал из-за стола.

— Даром не дадут! Смотрите, дело ваше. Но чтоб потом мне без упрёков. Я погнал. Пора.

— Ладно, обожди. — Спиридониха неслышно зашла в горницу, на цыпочках, взглянув на Веремеева, подошла к комоду, выдвинула ящик, отсчитала деньги и бесшумно вышла. — Держи. Да не обмани!

— Ну, ты, мать, даёшь! Что я, без понятия? Всё, погнал, пора! Виктору скажите, как вернусь — зайду. Батя, не тужи! — Александр вышел. Следом громыхнула со звоном пустых вёдер и кастрюль на лавке сеничная дверь.

Установилось долгое молчание. Веремеев снова погрузился в дрёму. А когда очнулся, было уже солнечно. Из передней долетали голоса. Он невольно вслушался.

— ...Ты б вставал, Петруня. Чего сидеть-то сиднем на постели? Шевелиться надо. Встал бы, загородку перебрал. Боров жерди изломал, всё на огороде поизрыл, норья кругом поделал. Вот и бегаю за им, вот и бегаю весь день — где же мне угнаться?

— А-ась? — выходил из спячки медлительный Петруня.

— Вот тебе и «а-ась!» — сердилась Спиридониха. — Слушай, что толкую. Загородку перебраться! На кого надеяться? На Гошку? Гошка далеко. А Сашка то в загуле, то в отъезде.

— Надо перебраться...

— Вот и взялся бы сегодня... Я ведь не прошу тебя погреб углубить. Скоро за картошку приниматься, а куда ссыпать? Погреб обвалился. Гошку надо звать.

— Можно Гошку, можно Саху...

— Гошку! Гошка хоть не пьёт, а Сашка ненадёжный.

— Гошка понадёжней.

— Ну а чего сидишь? Вставай!

Непродолжительная пауза.

— ...так за что, мать, браться?

— Опять «за что!». За загородку. На погреб Гошку позовём.

— Можно Гошку... Можно Саху.

— Дался тебе Саха! Зови хоть Саху, хоть Лексаху, хоть сам берись и делай!

Сон в ту ночь был удивительно глубок. Веремеев встал с дивана свежим и взбодрённым. Сделал несколько коротких, энергичных приседаний, вслушался и ритм сердца — сердце не частило. Оделся и, причёсываясь, вышел к старикам. Петруня, сидя на пороге, наматывал портянку, Спиридониha за кухонным столом чистила картошку.

— Что, лёлька, время разнарядки? Правильно, командуй! Снаряди-ка и меня на эту... загородку.

— Не за тем приехал, Витя! Своих делов, поди, полно. Мы сами как-нибудь!

— Сами, потихонечку, — подтвердил Петруня.

— Моим делам конца не будет. Привязать себя к столу я всегда успею. Дай, лёлька, повод сачконуть!

— Ну сачкони, если в охотку, — уступила Спиридониha. — Покуда загородку ладите, я супчику сварю да в избушке у тебя маленько приберусь.

Веремеев выпил стакан чая, переоделся в то, что предложила Спиридониha: просторные брезентовые брюки Александра и — поверх голубой безрукавки — серый, в клеточку, пиджак с Егорова плеча.

Двор с обрушенным колодцем у ветхого плетня в запрокинутом отчаянно в небо журавлем над трухлявым срубом зарос густой пастушьей сумкой, седой от утренней росы, неувядаемым пыреем. С летней «загородкой» — загоном для скота, где раньше содержались овпы и Егорова корова,

а теперь дневал в одиночку грязный боров, Веремеев поначалу рассчитывал управиться за час. От расшатанных столбов, наполовину утонувших в толще перегноя, отбил сломанные жерди. Лепить на прелые столбы свежие жердины, что в углу двора принялся ошкуривать Петруня, не имело смысла. Он разыскал лопату, снял пиджак. Впритык к заполненным навозной бурой жижей ямкам из-под вынутых столбов выкопал другие — полуметровой глубины. Из штабеля сухого долготья под навесом перед входом в стайку выбрал несколько берёзовых вершин, снял с гвоздя в стене сарая двуручную пилу, подозвал Петруню. Но пилильщик из Петруни оказался никудышным. Он выдохся уже через минуту, «лег» на пилу, и Веремееву пришлось «таскать» его до первого распила...

— Ладно, дядя, отдохни... Я как-нибудь один. Ножовкой. Петруня подчинился, вновь принялся за жерди.

Веремеев с удовольствием отесал столбы под четверть.

Отточенное лезвие легко входило в мягкое, податливое дерево. Рассовав столбы по ямкам, почти без передышки уплотнил засыпку увесистой трамбовкой, скрепил столбы жердями сначала в один ряд, затем набил второй и третий. Перед тем как сколотить лёгкую калитку, присел и по привычке пошарил по карманам... В нарастающей тоске по никотиновому яду отщипнул от рябинки у плетня кисть недозрелых ягод, стал жевать их по одной, смакуя прохладительную вяжущую терпкость.

Петруня между тем пристроился в сарае.

— А-ась? — приподнял он голову на шаги племянника.

— Спится, дядя Петя?

— Дремлется чего-то.

Веремеев присел сбоку на верстак.

— Ну подремли, не возбраняется... Каково живётся, такого и спится. Так или не так?

Петруня приподнялся на локте, сел и закурил.

Под низким потолком висели в связках старые берёзовые веники, заготовленные впрок ещё, наверное, Егором — любителем попариться. «С Егором бы увидеться, — подумал Веремеев. — Наказать бы кой-чего на всякий случай. Егор — мужик серьёзный, поймёт, что нужно, с полуслова. Жить можно врозь, но кладбище должно быть на семью одно...»

— А ты давно ли курить бросил? — стряхнув пепел с папиросы, поинтересовался вдруг Петруня.

— А со вчерашнего утра!

— Вижу, шибко тяжко?

— Да как тебе сказать!

— Оно, конечно, отвыкать-то! — сочувственно мотнул Петруня подбородком. — А я вот всё смолю. Теперь уж до победы.

— Зря. Не одобряю.

...Из-за частокола черенков лопат и вил, мётел и граблей, прислонённых к стенке, из хламья в разошедшейся кадучке торчали пыльные углы необычных рамок. Веремеев встал и вытянул одну. Рамку из трёхслойной крашеной фанеры с овальным вырезом внутри на истлевшем основании из куска картона украшали по углам узоры из соломки. В таких рамках под стеклом, вспомнил Веремеев, по белёным стенам дедовой избы и — поначалу — в доме у Петруни висели фотокарточки. Он рукавом стёр пыль с узоров и, не отрывая от них глаз, вышел из сарая...

Удивительное дело! На письменном столе в редакционном кабинете с незапамятных времён на костяной подставке в ворохе бумаг стояла инкрустированная солодкой карандашница. Десять лет перед глазами, и никогда не обращал на узор внимания. Эта же старая рамка вдруг поразила необычным блеском соломенной орнаментовки...

В сыром тяжёлом воздухе ещё, казалось, плавали пылинки недавнего дождя, отсверкивали жёлтыми, зелёными, оранжевыми блёстками. Солнце, рассеявшее облачную мглу, отражалось в мокрых листьях иван-чая, подорожника, чёрного паслёна. Эти неожиданные блёстки, искры, огненные капельки и капли — тысяча мерцающих разноцветных солнышек под ногами и над головой — дополнялись фантастическими — чудо игры света! — переливами узоров. Веремеев загляделся...

— Виктор, до тебя!

Он резко вскинул голову. На крыльце стояла Спиридониха.

— Кто там до меня?

— Вика!

— Ви-и-ика?

— Вика, Вика! Ждёт тебя.

4. Среда.

НА БЕЗЛЮДЬЕ И ФОМА ДВОРЯНИН

С Викой — бывшей одноклассницей, влюбчивой, смешливой толстушкой-хохотушкой в коротком белом фартуке с вечно оттопыренным кулёчком монпансье маленьким кармашком, а теперь — дородной и степенной женщиной бальзаковского возраста — он последний раз встречался лет шесть, наверное, назад. Тогда всё в жизни было по-другому, и на душе было покойно. Он пребывал в почёте и в зените славы, на гребне громкого успеха нового романа, увидевшего свет в «Нашем современнике». И по просьбе Вики провёл творческую встречу в репинском ДК. Даже согласился приехать через год по выходе романа книгой. Но роман так и не вышел. Ни через год, ни через два. Теперь уже не выйдет, рухнули надежды...

«Зачем она приехала? От кого узнала, что я здесь? Никому не сообщал, что еду в Веремеевку». — Он взял под мышку рамку, направился к крыльцу.

За столом сидела Вика. В сиреневом просторном свежем платье, густые, забранные в узел на затылке волосы в свете окна отливали сиреневым, в прозрачных тонких мочках, продуманно прикрытых прядками волос, виднелось по сиреневой сердцевидной капельке... Тургеневская барышня!

Вика обернулась на хлопок двери и, увидев Веремеева в необычном облачении — в широких выпачканных брюках и мешковатом пиджаке — наигранно всплеснула полными руками.

— Чьи же вы, батюшка, прежде-то были?

Он принял правила игры. Смял Петрунину кепчонку и, сложив руки за спиной, на манер Сучка из «Льгова» деланно расшаркался.

— А Сергея Сергеича Пехтерева. По наследствию ему достались!

— Виктор Алексеич! — не сдержалась Вика и, раскрыв объятия, двинулась навстречу. — Дорогой вы мой! Сто лет тебя не видела! — (Она уже отвыкла с ним запросто на «ты», но и на «вы» ещё не получалось.) — Встретила б на улице, точно, не узнала б.

— Что, сильно постарел?

— Ничуть, но в этом пиджаке!

— Так уж и ничуть! — Посмеиваясь, он привлёк её к себе, расцеловал попеременно в обе щёки, подвёл к столу, присел с ней рядом. — Рассказывай, как жизнь!

— Да что там уж рассказывать! — отмахнулась Вика. — Жизнь у нас здесь тихая, пока что не трясёт. Стареем потихоньку.

— По тебе не скажешь!

— Ска-ажешь, Виктор. Скажешь! Дочку замуж выдала, последнюю сбыла... Зять покладистый достался. Муженёк на пенсии, кроликов разводит. Живём, Вить, помаленьку, жаловаться грех. Цены, правда, душат, но ведь так везде... А ты? Работаешь? Всё пишешь? Как там Валя поживает? Всё у вас в порядке?

Он терпеливо отвечал: Валя всё ещё работает, всё там же, в старой школе, завучем, здоровье, слава Богу, есть. Сам уже почти не пишет — время, Вика, неписучее, так, кое-что из старого иногда печатает. Дочь с зятем ждут второго — братику сестрёнку, по заказу, так что, Вика, жизнь идёт, жизнь, как ни странно, продолжается...

Речь её, отметил он, сделалась чуть медленней и взвешенней, слова произносились влажно и округло, словно камушки с морского дна выталкивались ласковой волной и ложились в ряд... Вспоминали друзей и одноклассников. Мало кто остался. Один погиб по пьяной дури, другой попал в аварию... А кто остался — где теперь? Вовка Герк недавно в Германию уехал... Всех поразбросало. А какой был класс!

Сама же Вика, выяснилось, с библиотекой распростилась год тому назад (кому сейчас нужна культура? Да и кому была нужна?), работает в районной телестудии, примчалась в Веремеевку ради встречи с ним. О том, что он приехал, узнала от Сашуни, случайно встреченного ею утром в Ревине. Веремеев приглашался на теледиалог, в котором при её посредстве двое «уважаемых», «известных» в Ревине людей творческого склада, желательно с полярными мнениями, взглядами, должны, как стало теперь модным, поспорить о путях, поговорить о перспективах, «выработать» истину...

Веремеев усмехнулся...

— Кто же оппонент?

— А вот это пусть пока останется секретом, — заглянув ему в глаза, попросила Вика. — Пусть это будет маленьким сюрпризом.

— Хорошо. Но почему ты пригласила именно меня?

— А кого ж ещё-то? — Она едва не спрыгнула со стула, чем рассмешила Веремеева.

— Логично, — кивнул он.

— Ты — свой! — зарделась Вика. — Тебя здесь всякий знает не лично, так по книгам. Да и давно не выступал, пора бы показаться на глаза народу.

— Наро-оду? — Он иронично вскинул брови.

— Ви-иктор, ради бога, не лови на слове! — простонала Вика. — Ты неисправим. Каким ты был просмешником, таким и остался! Пусть не народу — телезрителям!

Веремеев сменил тон:

— Вряд ли, Вика. Вряд ли. Дело в том, что я приехал на одну недельку. И не на отдых — поработать. С утра, а может быть, и с вечера засяду за работу.

— Обижусь, Виктор Алексеевич! Тебе нужна разрядка. Отдых. Вот и прокатись. Машину мы пришлём. У нас теперь свой «рафик»!

— Не обижайся, не смогу. Как-нибудь в другой раз. Пойми же, срочная работа.

— Виктор, я не ожидала, — растерялась Вика. — Учти, другого раза может и не быть. Мне до пенсии чуть-чуть, а молодёжь не пригласит. У них теперь свои кумиры — богданы-титомиры!

— Знаю, понимаю. Наше дело — доживать, дописывать своё, а молодым решать, что делать с нашей писаниной... Се ля ви, Виктория!

И все же она добилась своего. Уже когда он вышел проводить её до остановки маршрутного автобуса, вздохнула, обернулась и упрёком оскорблённых карих глаз — достала.

— А может быть, договоримся? Я там пообещала, что мне ты не откажешь.

И он мотнул согласно небритым подбородком, непри-
нуждённо рассмеялся:

— Ладно, присылай сюда свой «рафик». Ставь в мероприятия галочку заранее!

Вика просияла, схватила его за руку.

— Да не ради, Виктор, галочки, как ты можешь думать так? Недооцениваешь, вижу, сам себя. Поверь, ты людям интересен. Как человек и как писатель. Да и как земляк ты нам не безразличен. Всё же — знаменитость!

— Районного масштаба, — усмехнулся он.

— В субботу, значит. В восемнадцать! — уточнила Вика, пропустив мимо ушей его ироничную реплику.

Он помог ей сесть в автобус и вернулся в дом.

Петруня с верстака в сарае перебрался на кровать, повернулся с боку на бок, неподвижно устремил взор на окно. Вслушивался то ли в шелест листьев, опадавших в палисаднике с осины, скользивших по оконным стеклам, то ли в громкий ход будильника на кухонном шкафу.

Веремеев прошёл в горницу. Обхватил затылок, постоял в раздумье, покачиваясь с пятки на носок, вздохнул и навзничь рухнул на диван. Нужно было идти в избу, приниматься за статью — день уже проходит, но как себя заставить сделать первый шаг?

* * *

Так уж получилось, что по настоянию неотступной Вики он примирился с обязательностью встреч. Но встречи с земляками давались ему вовсе не легко. С самого начала.

...В тесном, душном зале бревенчатого клуба рассказывались группками приятели, родные, соседи и знакомые. От робости, смущения он опустил глаза на стол, покрытый кумачом, стал лихорадочно листать книжечку рассказов, пахнущую свежей типографской краской, и из неё посыпались лепестки закладок, вложенных с вечера в страницы, которые по ходу встречи он намеревался прочитать. Закладки упорхнули, а вместе с ними ускользнула нить беседы, и он не знал, не мог придумать, как обратиться к землякам, с чего начать, как поглядеть, куда деть руки — спасибо, выручила Вика, а то бы убежал со сцены...

И потом было не легче. Он долго ощущал смятение, неловкость, связанные с мыслью, что вот он — Витька Веремеев, не самый лучший и способный мальчуган в деревне, известный в Веремеевке, а затем и в Ревине больше как Петрунин внук, — будто он — всё тот же неразумный шалопай! — сидит сейчас вот тут, на сцене, один, на расстоянии, уже на отдалении, как бы не в заслуженной или же присвоенной роли поучателя, а те, кто несравненно достойней и мудрей, чьим хлебом со стола, водою из колодца он вскормлен-вспоен, чьей лаской и вниманием выпестован, те, кто худо-бедно вбил знания в его бедовую головушку, — сидели перед ним, внимая каждому его промолвленному слову — умному и глупому, доброму и злему, доброжелательно кивали, как отвечающему робко с трудом усвоенный урок...

Сколько встреч и выступлений было на его писательском веку! Да по всей России. Да по всему Союзу! Сколько съездов, пленумов, различных конференций! Все и не упомнишь. Взять хоть грандиозную последнюю. Уже лет семь тому назад? Летит, однако, времечко. Семь лет — уже эпоха... Как же называлась-то? В семьдесят восьмом — «Герои пятилеток...». А эта — громкая, с благословения Мокеича (да будет земля ему пухом) называлась, помнится, «Вопросы воспитания...» то ли в свете пленума, то ли в свете съезда... Что не так и важно. Многие теперь не вспомнишь без улыбки. Были времена! Сам первый секретарь бывшего обкома за голову схватился. Ещё бы, тучей навалились! Весь Семиреченский обком на ноги поставили. Полписательской Москвы, братья из республик, гости из соцлагеря. Всех надо разместить, занять и ублажить. Одних писательских десантов сформировали два десятка. Транспаранты, лозунги: «Все флаги в гости к нам!», «Хлеб-соль!», «Добро пожаловать!», «Большой корабль литературы прибыл в Семиреченск!» Доклады. Выступления. Гвоздики к Ильичу. Спектакль в театре драмы. Попойки в ресторанах, кутежи в гостиницах...

Да и в загранички полетал, обижаться не на что. В Варшаву и Гавану. В Софию, Бухарест... Где-то вы теперь, Рэнер, Ласло, Дуда? Как ты там, на Кубе, Мануэль? Здоров ли, милый Ленерт? Жив ли, Догвадорж?

«Отпировали мы, отпировали!..»

Была, конечно, помпа. Была и показуха. Трескотня. Шумиха... Но было, чёрт возьми, другое, чего никто не вычеркнет, — был праздник духа и души, Дружбы, черт возьми, господа ниспровергатели!

Вот там, на встречах, выступлениях перед незнакомыми людьми, на буровых, строительных площадках, в цехах и учреждениях, он вёл себя уверенней, раскованней, свободней. Ко встречам с земляками так и не привык. Да и задолго до последней — шестилетней давности — встречи в ревинском ДК сам уже не выступал, предпочитая зазывать для этой цели под разными предложениями знакомых литераторов, особенно поэтов, из тех, кто помоложе, кого, что называется, хлебом не корми — дай порисоваться с подмостков сельской сцены — здесь, благо, не столица — не осмеют, не освистают. Того же вот Зарницкого! Себе же отводил при этом роль гостеприимного хозяина да изредка давал по просьбе Вики справки — где какая книга вышла, где что напечатано, над чем сейчас работает. И в зале собирались совсем другие люди: сыновья и внуки тех, с кем рос, озорничал, кого прекрасно помнил. Подолгу всматривался в лица, стараясь угадать по разным внешним признакам — бровям и шевелюрам, улыбкам и глазам, жестам и походкам — принадлежность к роду-племени. Он понимал, что приходили многие не столько ради интереса к его творчеству, сколько из простого любопытства к имени. Ведь осознание того, что он — прозаик, публицист, бессменный секретарь правления Союза, член многочисленных комиссий, обществ, редколлегий, кавалер, лауреат — плоть от плоти ихний, местный, веремеевский — льстило самолюбию. Что известную в районе бабку Спиридониху, заменившую ему с малолетства мать, принародно, не стесняясь, как издревле принято в деревне, называет лёлькой, — вызывало уважение и, наверное, доверие. И потому он мог поклясться, что половина зала, не читавшая его романов и статей — эта половина любому оскорбившему его ложным обвинением или незаслуженным упрёком ответит грозным кличем: «Наших бьют!»

5. Среда. ТОЛКУЙ, БОЛЬНОЙ, С ПОДЛЕКАРЕМ

К вечеру он всё же перешёл в свою избу.

У стены, где раньше, ещё при жизни деда, стоял комод ручной работы, покрытый белой бабушкиной скатертью с вышивкой царевны Лебеди из сказки о царе Салтане, теперь располагался письменный выщербленный стол. Резная этажерка на колёсиках (Сашкина конструкция) со стопкой книг на полке, настенный книжный шкафчик с давнишними комплектами так и не прочитанных как следует журналов (в текучке оставлялось на «потом», свозилось в Веремеевку из городской квартиры), диван и радиоприёмник — всё было на местах. Валентина с дочерью приезжали в мае. Побелили стены, печку, забили окно ставнями, но, увы, неплотно — понабилось пыли в щели и пазы. И крыша протекла — углы под потолком желтели свежими подтёками. И хоть Спиридониha вымыла полы и подтопила печку — ещё плита дышала жаром и на краю пыхтел пузатый медный чайник, — в нежилой избе всё же было сумрачно, сыро, неуютно.

Веремеев выложил вещи из баула, задёрнул шторку на окне. Надел спортивное трико, меховые тапочки — подарок друга-литератора из заполярного посёлка. Разместил бумагу, рукопись и папку с подборкой статей из агрессивной молодёжки, с которой предстояло продолжить жёсткий спор — да и не спор, какой там спор! — а, скорее, отместить все обвинения и осмеять, наткнуть носом, как шкодливого котёнка в загаженное место, их вожака Зарницкого. С кем там полемизировать! Важно довести себя до точки закипания, выплеснуться разом, а затем, остывнув, пройти карандашом по горячим строчкам, сверить с разумом эмоции и — сдавай статью...

Он встал, засыпал в чашку кофе, залил кипятком. Включил приёмник в сеть. Бодрый голос диктора сквозь слабый треск эфира сообщил о митинге сторонников правительства, о боях в Абхазии, о зреющей шахтёрской забастовке. Но бодрый голос диктора, как и бедлам в свихнувшейся стране, показались Веремееву настолько отдалёнными в пространстве

и во времени, настолько неуместными в предвечерний час в дедовой избе, что он тотчас выхватил из розетки шнур, снова сел за стол, машинально хлопнул по карманам... Отпил кофе, придвинул лист бумаги.

— Нуте-с, юные друзья!..

Дверь внезапно распахнулась, и в проёме возник брат. Александр. Сашуня..

— Гутен морген, сочинитель!

Веремеев приподнялся.

— Здорово, баламут!

Александр был «под мухой». В промазученной насквозь тёмно-синей робе с неистрибимым запахом солярки, жилистый, костистый, с вечным бронзовым загаром на сухом лице, в свои сорок с гаком он выглядел уже не ясным соколом, а скорее подуставшим деревенским бодрячком. Оставляя на полу мокрые следы, прошёл к столу, взял в горячую ладонь руку Веремеева, тряхнул и из-за пояса вытащил бутылку. Установил её на стол.

— Я не помешал? Может, не ко времени? Ты со мной не церемонься, если не ко времени, пошли меня подальше — по-братски не обижусь, потому что я сегодня датый.

— Садись. Не помешал. — Он и впрямь поймал себя на мысли, что обрадовался поводу отложить работу. Пока разогревал на плите тушёнку и разрезал батон, Александр разулся у порога и, сидя на диване, пролистывал книгу с этажерки, многословно объяснялся:

— Ты, братка, извиняй, что я сегодня датый... День сегодня сумасшедший. Где не побывал! В Ревино скатал... Вика заезжала?

— Заезжала, заезжала...

— Я её направил! Дал координаты... Навёл, как говорится. Ты не возражаешь? В Моховое зарулил. От Егора, брат, привет, в обиде, что не кажешься. Заедь к нему хоть на денёк... Попутно бабке Ерофеихе тележку дров завёз... Добавил в мастерской. Там главного механика сегодня обмывали. Свежего поставили. Ну и растрясли, понятно, на обмывку — у нас закон такой. Вместе ведь работать. Мужики остались, а я, брат, к тебе. Как не показаться, правду говорю? — Он закурил, и дым от папиросы разошёлся по избе.

Веремеев сморщился.

— Ты бы воздержался.

— Что так?

— Бросил. Вторые сутки мучаюсь...

— А ты закури, и конец мучениям. Всё в этой жизни просто, не надо усложнять. Вот я не усложняю... — Александр рассмеялся и захлопнул книгу. — А чего приехал? Поработать, что ли? Вот лафа, ей-богу! Захотел — работай, захотел — филонь. Кабы нам так, а?

— Не завидуй, Сашка.

— Нет, я понимаю, я просто так шучу. В вашем деле, брат, нужна особая солярка. Это не движок — завёл да и поехал. Ответственность великая. Тебя, к примеру, взять. Ты глупость не напишешь. Ты всё про жизнь. В науку, в назидание! Так я говорю? О жизни писать — её понюхать надо.

Веремеев пристально посмотрел на брата:

— А скажи мне, только честно, ты все мои романы прочитал?

— Честно?

— Честно.

— Нет. Не все. Но ты не обижайся, когда нам тут читать? Вертишься, как белка... У нас тут тракторов-то — мой да Сашки Веремеева. Но тебя я знаю: ты глупость не напишешь, потому что нюхал жизнь. А иной такое понасочиняет — в голове сумбур и на сердце тошно. Да всё во вред, во вред!

— А что, по-твоему, во вред?

— А то не понимаешь! Мне, что ль, тебя учить? Стихи вот вредные бывают... Послушаешь одни — и, вроде, стопку опрокинул, хоть с песней по жизни ударь. То — полезные стихи, тут спору быть не может. А есть — слушаешь и — тошно, и — места не находишь. Как вот у Зарницкого, который кляузы в газетах на тебя строчит, грязью поливает. Газету мы читаем, знаем. Земляк, едрёна вошь!

— Любопытно, любопытно! — остановился Веремеев.

— Ещё б не любопытно! Помнишь, скопом в Веремеевку приезжал ваш брат-писатель? Тогда и ты был с ними. Лет семь тому назад? В тот год я на Гальке женился. А в аккурат курить бросал, как вот сейчас ты. Галина привязалась:

Сашуня, да пойдём, посмотрим на людей, может, отвлечётся. Пришли, а там читают. Читали часа два. Всё бы хорошо, да вышел твой... Зарницкий. Давай своё читать. И всё вроде, ладно, складно, слова по-русски произносит, о чём — не понимаю, но душу, сволочь, вывернул. Наизнанку вывернул! Как вроде по больному месту втихаря царапает... Такое, братка, накатило, прямо волком вой! Смертная тоска. Не стерпел, поднялся. Галька: «Ты куда?» Я: «Да на минутку». Вышел, стрельнул закурить... Еле успокоился. Вот тебе стихи! Скажи, едрёна вошь, не вредные? До этого неделю не курил!

— Вредные, конечно, — улыбнулся Веремеев. — Ещё какие вредные!

Он выставил закуску, разлил водку по стаканам, пригласил к столу. Выпили за встречу.

— За избу не тревожься, — успокоил Александр. — Мать за ней следит. Когда плиту протопит, когда полы помоеет. Она по этой части нечего сказать — любит чистоту. Когда и я переночую...

— Оно и видно, что ночуешь. Хоть бы тару прибирал, подпол весь забил бутылками. Как трюм.

— Сдам, не беспокойся. В сельпо ящики появятся, отнесу и сдам. Очищу помещение... Дали, что ли, по второй?

«Дали» по второй. Александр, отметил Веремеев, водку пил как воду, без закуски, не хмелея. Зато курил он беспрестанно, обволакивая дымом себя и Веремеева.

После третьей Веремеев произнёс мечтательно:

— Жаль, Гошки нет, а то б с ним спели!

— Гошка подтянул бы, — поддакнул Александр, — Гошка у нас песельник!

Бутылка опустела, и в разговоре вышел сбой.

— Слушай, — обратился Веремеев к брату. — Что у нас с отцом? Он давно такой?

— Какой?

— Разве сам не видишь? Квелый. Сидит весь день молчком. Спит или сидит. Как бы не в себе. Не нравится мне это.

Александр приподнял за горлышко бутылку, рассмотрел её на свет, шелкнул пальцем по зелёной этикетке.

— Вода. Голимая вода. Химичат коммерсанты! — поставил бутылку под стол и взглянул на Веремеева. — А что отцу? Сиди. Все дела поделаны, и слова все сказаны. То хоть солодкой занимался, время убивал, а теперь куда с солодкой? Глазами ослабел. Сиди себе и думай. Есть, поди, о чем подумать. Тоже ведь не ангел, всякое бывало, плохое и хорошее... И выпить мог, погреховодничать... с бабкой Ерофеихой. Все мы греховодники. О душе не думаем до поры до времени...

— В больницу бы сводить, вдруг хворь какая привязалась? Точит старика...

— Кому он нужен в той больнице? Восемьдесят лет! Там на него и не посмотрят... Мать как-то вызвала врачуху. Пришла, давление измерила, послушала и всё... Всё, говорит, в порядке, не беспокойтесь понапрасну.

— Как это — не посмотрят? — вспыхнул Веремеев. — Как это — кому он нужен? Живой ведь человек! А если ему... плохо? Если плохо человеку? Списали старика? Как вещь, которой вышел срок? Как хлам какой-нибудь? Как это у вас просто! Ну, деятели, а! И лёлка тоже: не пойдёт! Да я и спрашивать не стану. В субботу отвезу. Спеленаю, как ребенка, и в машину. В районную больницу! И пусть мне только скажут... «Всё в порядке!»

— С чего ты, братка, вскипятился? — рассмеялся Александр. — Гляди, какой горячий. Разве я добра бате не желаю? Да я двумя руками «за». Но не поедет он в больницу. Не поедет, знаю. Не надо его трогать. Не надо усложнять! Дома стены помогают... Давай лучше добавим! Я знаю тут местечко, в минуту обернусь...

— Никакой добавки! — отрезал Веремеев. — Хватит, Саша. Посидели. Мне ещё работать. И тебе остепениться не мешало б. Дома дел невпроворот: погреб обвалился, загон в назьме попрел — тебе и горя мало. Недосуг заняться?

— С чего ты, братка, рассерчал?

— Я тоже гусь хороший! Сижу вот, распиваю тут с тобой бутылку, и невдомёк, что водка-то на деньги, что утром ты у матери выманил обманом. Так или не так? Дрова ей обещал, а сплавил бабке Ерофеихе? Я спрашиваю: так?

— Привезу и старикам, без дров не оставлял.

— Докатился, Сашка! Как тебе не совестно у матери на водку вымогать! На пенсию позарился! Вот тебе три тысячи, зайди сейчас же к старикам и верни им деньги. Утром я проверю! — Веремеев рывком сдёрнул пиджак со спинки стула, вывернул карманы...

— Потолковали, называется! — Александр прошёл к порогу и, присев, обулся. Бросил, уходя: — А деньги свои спрячь, добрая душа. В семейной бухгалтерии мы сами разберёмся.

6. Четверг.

ЕРЁМА, ЕРЁМА, СИДЕЛ БЫ ТЫ ДОМА, ТОЧИЛ БЫ СВОИ ВЕРЕТЁНА

«С чего я, в самом деле, набросился на Сашку? — недоумевал утром Веремеев. — В конце концов, пришёл как к брату, пусть нетрезвый, но по-человечески. Можно было с ним помягче.

Он упрекал себя за неожиданную, необъяснимую запальчивость, но на душе было легко... Необычно мягким, нежным, тёплым светом освещалась комната. Совершалось чудо! Петрунины узоры на фанерной рамке играли тысячью оттенками неземных цветов, расцветивая стены, печку, потолок... Высветивая в памяти милые картинки незабываемого детства...

* * *

Август. Утро. Воскресенье. Петруня окликает: «Витька, Гошка! Кто со мной сегодня на поля?» — «За солнышком на зиму?» — «За солнышком. Пора!» — «Я!» Он и — следом Гошка, отодвинув миски и отбросив ложки, стремглав из-за стола, одеваться-обуваться наперегонки. Лёлька недовольна? «Витька! Гошка! Не ходите, ну его к холерам со всякими придумками!» Не отговорить! С дядей! На поля! Берёзовая роща... Солнышко... Луга... Сиреневые шапки цветов тысячелистника... Облетающие мётлы жёлтого вербейника... Ромашковое море... Бурый чернобыльник... Акварельная синь неба... Позолота спелого овсяного поля... Густой янтарь

высокой ржи... И — возвращение домой с охалками соломы... Лёлька на пороге: «Мякины да половы мне только не хватало!» Петруня, улыбаясь: «Для тебя — полова, для нас — солнышко в соломе! Верно, Витька, говорю?» — «Верно, дядя. Верно!»

* * *

...Зимний поздний вечер. Керосиновая лампа. Он отсекает острым косяком от соломенной полоски одинаковые ромбики для выклейки узора. Глянцевая плёнка на соломе трескается под нажимом лезвия, отслаивается мелкими чешуйками, края обреза мнутся, рвутся. От досады он бросает нож. В закопчённой лампе трепещет язычок синего огня. «У меня не получается!» — канючит со слезами на глазах. «Подумаешь, беда — не получается у нас! — гудит в ответ Петруня. — Давай заплачем оба. А лёлька поглядит, как мы в рёв ударимся. Вот будет хорошо! — Он откладывает рамку, на которой рейсмусом размечает линии очередной орнаментовки. Подходит. — Что там у тебя? Крошится соломка? Как ей не крошиться! Ты её мочил? Вот тебе и «не-ет!» А для чего водичка в банке? Ну-ко, подвигайся, гляди во все глаза! — Из вороха соломин Петруня собирает по пучку зелёных, янтарных, золотистых... — Тут, Витя, надо понимать, на что которая годится. Гаазами понимать. Зелёная — молочная, мягонькая, нежная. Куда её такую? А линии выклеивай янтарной. Янтарная — осенняя, солнцем прокалённая, прочная, как бронза. Не каждая соломина солнышко хранит. Вот видишь — золотистая? Веселая, здоровая — просится в узор. её мы и возьмём. Но прежде построгаем... Как ей не крошиться, когда с изнанки мякоть ломит! — Он кладёт соломину плёнкой вниз, соскабливает белый рыхлый слой — полоска распрямляется, пружинит. — Вот и отсекай. Держи косяк уверенней. Да не пили соломину, секи её порезче! Как лёлька крошит лук! Смелей, смелей! Вот так, вот так! А говоришь, не получается!» Лёлька решительно встает и задувает лампу: «Завтра насидишься, полуночник! А сейчас — марш спать. Надсадишь вот глаза-то с малых лет!» — «Ещё хоть пять

минуток!» — «Никаких минуток, лезь давай на печь!» Лёльку не упростишь. Он забирается на печь, смыкает плотно веки, но перед глазами играют переливами Петрунины узоры...

* * *

Чайник закипел. Кипяток из-под брякнувшей крышки плеснулся на плиту. Веремеев сделал кофе и присел к столу. «Пора, в конце концов, приступить к работе!» Поднёс к глазам тетрадный лист с двумя начальными абзацами, перечитал, но взятый тон не показался остроумным. Скорей, наоборот: а-ля Козьма Прутков во гневе.

Он попробовал собраться, сосредоточить мысли на статье. Обхватив руками голову, растопыренными пальцами с нажимом «въехал» с висков в волосы... Но при виде вырезок статей и реплик оппонента, с которым предстояло сойтись в заочном споре и пригвоздить к позорному столбу — чем хлётче и безжалостней, тем лучше, — испытывал сомнения и страх... Лень и отвращение к писанию, к преодолению себя ради перехода из состояния апатии к столь необходимому в работе состоянию горения.

Встал и заходил. От стола к порогу. Семь шагов туда, семь — обратно... Потеряв счёт шагам, плюхнулся на диван, взял с этажерки первый подвернувшийся под руку журнал. Задержал взгляд на фамилии «обещающего» автора из когорты, как он понял по строению самых первых фраз, пресловутых постмодернистов с их холодным, мёртвым стилем и прущим без удержу изо всех щелей омерзительным цинизмом. Прочёл кусок из первой главки, в которой рисовался эпизод совокупления героя с героиней, заглянул в концовку со сноской «Окончание в следующем номере». В концовке утомлённый, издёрганый герой, лёжа после первого голодного наскока в объятиях другой, не менее, чем первая, измученной «совковостью» страдальицей, готовился к повторному любовному броску...

Веремеев сморщился, зашвырнул журнал. Встал и снова заходил. Но взгляд скользнул по рамке. Рамка отвлекала. «Убрать бы её с глаз!»

Но перед тем, как спрятать в шкаф, ещё раз пристально всмотрелся в соломенный узор, как бы надеясь разгадать секрет свечения.

* * *

...Петруня, как и дед Григорий, был, без сомнения, художником. Дед был плотником от Бога. На фотографии в альбоме он молод и красив. Чубат и пышноус. Надменный взгляд из-под бровей, губы плотно сжаты. Сидит, закинув ногу на ногу, в сапогах в гармошку, на высоком стуле с оплетённой спинкой, откинув прямо голову. «Лёлька, это кто?» — поинтересовался Веремеев как-то в детстве. «Это дед твой, Витя... Григорий Епифаныч. Да ты его не помнишь!» — «Нет, помню, лёлька... Руки». Он помнил руки деда: с натянутыми жилами, окостеневшими суставами под тёмной и сухой, как пергамент, кожей, поглаживающие нежно его по волосам...

Свезти бы дедовы постройки да со всей округи — получится деревня. Да ещё какая! Солнечная, светлая! Весёлые наличники, причудливые ставенки, жестяные петушки на тесовых кровлях! Веремеевские зодчие гремели по району, но тем дед и выделялся изо всей артели, что в эти «безделушки» вкладывал всю душу...

Если дед Григорий нашёл радость в дереве, то Петруня — в солнечной соломке... Но как художника его «сломала» лёлька. Она не в пример мужу была женщиной практичной. Умела снять зубную боль, остановить кровотечение, лечила от испуга и заикания. Знала заговоры, травы и коренья... В войну, со смертью дряхлой повивальной бабки, неожиданно для многих стала повитушничать, да весьма успешно, как теперь сказали бы: её услуги пользовались спросом. И, надо полагать, одаривались щедро — одних платков и шалей запас не иссякал...

В детстве Веремеев пробуждался иногда от дребезжания стёкол в двойных рамах, кашля, шарканья шагов, вслушивался с печи в придушённый шёпот вошедших незнакомых мужиков в подпоясанных тулупах, с заиндевевшими ресницами, бровями и усами. Лёлька зажигала керосиновую

лампу и раздувала самовар. Приезжие сбрасывали на пол шапки и тулупы, пили чай, сопя и отдуваясь. После чаепития лёлка надевала привозной тулуп, набрасывала шаль, обувала валенки. Уезжала в ночь. В соседнее село. К очередной роженице...

Петрунину привязанность к сололке она не поощряла. «Баловство всё это», — была её оценка. И походя в запале сметала с лавки снопики соломы, которую Петруня при тусклом свете лампы зимними ночами «строгал» и расщеплял. В избе, затем и в доме, места для соломы всегда недоставало. Снопики висели в связках на гвоздях по стенам и под балкой...

Но однажды (после выхода своей, по счету третьей, книжки), приехав ненадолго к старикам, Веремеев стал свидетелем невиданного ранее Петруниного гнева. Петруня, от которого никто и никогда не слышал даже окрика, не то что бы ругательства, грозя и топоча, красный и взъерошенный, безобразный в гневе, честил Спиридонику последними словами. Сгребал с печи и лавки, срывал со стен и балки снопики соломы и отправлял их в печь. С плотоядным гулом огонь безжалостно пожирал солому. Спиридонику в испуге отступала к горнице... Как прояснилось позже, она, резонно полагавшая, что всякая вещица имеет свою стоимость, стала потихоньку, скрытно от Петруни, приторговывать его шкатулками и рамками...

* * *

Веремеев убрал рамку, снова заходил, будто заведённый...

«Петруня... Спиридонику... Узор... Сололка... Рамка!

Что-то всё перемешалось! Думай о статье! Хочется, не хочется, а нужно её сделать!»

Но о статье не думалось...

— ...Всё мечется, всё мечется! Чего ты уходился? Как кот кругами возле сала. Вышел бы. Погодка разгулялась — в дом бы не входила!

Веремеев не слышал, когда явилась Спиридонику. Растопырив локти и деловито озираясь, будто проверяла — всё ли здесь в порядке? — подошла к столу.

— Работа, лёлка, не идёт... Не идёт, зараза!

— А где ж она пойдёт, когда полдня голодный? На одном чаю-то? — кивнула на стакан с недопитым кофе. — Пойдем, я супу наварила.

— Спасибо, я перекусил.

— Чего перекусил? Чего там всухомятку? Пойдём, поешь горячего, а на пустой желудок голове досадно.

— Хорошо, уговорила... Иди, я подойду. Вот только приберу на столе бумаги.

— Давно бы так! С утра не евши... В окошко погляжу — всё мечется и мечется. Да ладно ли с ним, думаю? И Сашки где-то нет... Сашка молодец! Тот не поевши на работу не подумает.

...Вечером Веремеев укладывался спать так и не дотроновшись до начатой статьи. Рассматривая мысленно узор на фанерной рамке, он вдруг подумал, что, посвятив себя служению идее, подчинив талант, каков он ни на есть, работе на идею, не изменил ли он предназначению? И знал ли он его когда-нибудь? Знал ли? Понимал ли?

Как знать, как знать...

Ведь ни в благоразумной зрелости, когда писались пухлые романы, ни в возрасте Христовом, когда вынашивались первые новеллы и рассказы, ни даже в юности беспечной, когда легко, свободно ложились на бумагу пылкие стихи, не испытывал он радости, сравнимой с той, далёкой — детской, но до сих пор волнующей, когда рукой нетвёрдой, ведомой дедовой ручищей, слагались из соломки первые узоры...

7. Пятница. СВОЙ СВОЕМУ ПОНЕВОЛЕ БРАТ

Едва успел он пробежать глазами текст неожиданной телеграммы: «НАПОМИНАЮ ВСТРЕЧА ЗАВТРА МАШИНУ ПОДАДИМ НЕ ПОДВЕДИ НАДЕЮСЬ ВИКА», как в сенцах звякнула шеколда. В избу зашла, точнее, кое-как порог переступила — Спиридониха. В Петруниной фуфайке, руки на груди кулачками в подбородок...

— Ой, Витя, горяшко у нас... Ой, горяшко какое! Никак беда сторонкой не обходит!

Вскочив, он кинулся навстречу.

— С дядей плохо, да?

— Не с дядей, а с дитятей... Сашка, паразит, опять набе-докурил! Без горя не живём!

— Да объясни же толком, что случилось?

— Тюрьмы себе заробил, окаянный!

...Из бестолкового рассказа Спиридонихи, прерывае-мого всхлипами и вздохами, Веремеев всё же уяснил, что от него позавчера Александр зашёл к бабке Ерофеи-хе, которой накануне завёз тележку дров. Та рассчиталась с благодетелем веремеевской «валютой» — банкой пер-вача. Окрылённый Александр от «валютчицы» помчался и мастерскую, где оставались мужики «обмывать» меха-ника. Мужиков он не застал, но, как сознался сторож, выпил с ним полбанки, остатки слил в бутылку, заткнул и за полночь пошёл на «именины». Вспомнил на беду, что у Галины день рождения. Спьяну и в потемках не ус-мотрел замка на двери и не догадался, что бывшая жена в гостях у стариков на краю деревни. Дверь не откры-валась, и Александр заподозрил, что Галина затаилась. Через окно проник в квартиру, но, не обнаружив там хо-зяйки, решил её дождаться. Во что бы то ни стало. То ли для того, чтобы поздравить, то ли чтобы выведать, где она была. Включил магнитофон и под музыку в одиночку за ночь осушил бутылку. Утомлённый ожиданием, к рассве-ту задремал. Утром по дороге на работу, увидев в окнах свет, Галина оробела, прихватила депутата Пашку Вэ-Пэ-Ша (Павла Филимоновича) и с ним зашла в квартиру. То, что там увидела, повергло её в ярость: включённый магнитофон, порожняя бутылка, банка, полная окурков, табачный смрад и... бывший муж. В промазученной спе-цовке лежал он, всхрапывая, навзничь на её заправлен-ной, безупречной чистоты и свежести постели. Галина пыталась его растормошить, стащить с кровати за ноги, сгоряча драла за лохмы. По подсказке депутата бросила за ворот бывшему супругу кусочек льда из холодильника. Александр заворочался и продрал глаза. Галина, пользу-ясь поддержкой присутствующей власти, дала ему затре-щину. Он неожиданно вскочил. Она вовремя отпрянула,

но депутат попался в лапы разъярённого медведя и в одну секунду был с треском вышвырнут с крыльца...

Расправившись с беспомощной деревенской властью, он распластался на полу и снова захрапел. Оскорблённый депутат, а за ним Галина побежали в сельсовет, к участковому Тюльпанову. Часом позже участковый, депутат и на подмогу вызванный неразговорчивый механик, «обмытый» накануне, во главе с Галиной выехали к месту преступления... Пашка Вэ-Пэ-Ша, на собственных боках испытывавший крепость Александровых ручищ, заскочил домой за сетью. Замысел раскрыл перед началом операции. К спящему «преступнику» он должен был пройти один, а участковый и механик спрятаться за дверь. Как только разъярённый спросонок Александр кинется за Пашкой, а тот метнётся в дверь, участковый и механик набросят на преследователя сеть. Так и поступили. Александра обмотали, обвязали сетью и погрузили в «газик». Выгрузили в бывшем Красном уголке напротив кабинета участкового и разрешили отоспаться на раздвижном столе. Затем Галина с депутатом написали заявление и подмахнули протоколы...

— Сделай, Витя, что-нибудь, помоги оболтусу! Засадит его Галька! Засадит, к бабке не ходи — убивалась Спиридониха. — Сейчас только от ней... Говорю: прости его, ведь не со злом же он зашёл, спяну-то чего не начудит? Нет, заладила одно — поучу маленько. Да и Пашка Вэ-Пэ-Ша озлился на него... Сходил бы до Тюльпанова, всё ж таки товаришши!

— И поделом, если посадят! — воскликнул Веремеев. — Не семнадцать лет балбесу, должен понимать. — Но начал одеваться. — Где, лёлька, он сейчас?

— Сашка? В мастерской. Покамест отпустили.

— Ну, братец, доконал, возьмусь я за тебя!

* * *

Дверь в кабинет участкового в конце сельсоветского коридора была притворена. Сержант Сергей Тюльпанов, в мятой, неопрятной форме, сидел за шербатым столом

в прокуренной сумрачной комнате, подперев щеку рукой и устремив взор на окно.

— Разрешите? — подал голос Веремеев.

— Разрешаю, разрешаю, — уныло отозвался участковый, не отводя глаз от окна. На замутнённых стёклах в рамке копошились крупные, как оводы, комнатные мухи.

— Не по уставу принимаешь! — бросил Веремеев, проходя к столу.

Тюльпанов нехотя привстал и подал руку.

— А по уставу это как? Рассыпаться в любезностях? Предложить чашку кофе? Кофе здесь не подают. Кофе — в телесериалах. Вот если сигаретку... Угости!

— Увы, Серёжа, бросил!

— Жаль. Свои кончились давно, а идти не хочется.

— Видок сегодня у тебя! Что за меланхолия? — Веремеев сел.

— А-а, Виктор, надоело! Обрыдло, знал бы как!

— Что тебе обрыдло?

— А всё... На что ни погляжу. Подам, однако, рапорт. Уволюсь. Перееду. В гости к тебе буду заходить.

— Везде теперь не сладко.

— Так-то оно так, да всё же, может, повесельше... Ладно, ближе к делу. — Он придвинулся к столу и развязал тесёмки одной из папок. — Вовремя приехал — Сашуня зачудил. Протоколы показать?

— Не надо, я всё знаю.

— Давай решай, что делать... Спустить на тормозах я больше не смогу, придётся заявлениям дать ход. Сколько, Виктор, можно? В июне учудил. С пьяных глаз на тракторе въехал прямо в баню. Бабы с перепугу голышом на улицу. Ладно, что не подавил... Да и Пашка не отстанет, дойдёт до прокурора. Мне же и по шапке. Понимаешь, да? Вот что он в ней нашёл, в заполошной этой? Ведь выгнала его — снова туда тянет. Так туда и тянет! Я его предупреждал: пожалуется Галька ещё раз — упеку. Там, собственно, и дело... Пародия, не дело. И смех и грех, ей-богу, но годик-полтора может схлопотать, шуточки плохие. Сходи, поговори. С Галькой, с депутатом... Простят — простят, а нет, так — нет... Денёк-другой повременю...

— Его, Сергей, не жалко, пора бы поучить! Жалко стариков. Они с ума сойдут.

— То-то и оно, каб он понимал! Может полечить его? Оставить так — он плохо кончит. Жалко человека.

— Согласен. Что-то надо делать...

От Тюльпанова Веремеев пошёл к Пашке Вэ-Пэ-Ша. Все трое были одногодками, но если с Тюлей (участковым) в детстве были в дружбе, то с Пашкой мир не брал.

Нынешнее прозвище просилось к Пашке смолоду. Прислал из армии письмо своей тогдашней суженой, нынешней супруге Доре Тимофеевне. Туманно намекал, что по строжайшему отбору попал в какую-то особо засекреченную часть, на конверте обозначенную кратко ВШП, что начались полёты и прыжки (Дора догадалась: с парашютом!). Предупреждал заранее, что не имеет времени писать ей часто и помногу. Загордившись суженым, отобранным в «секретчики», Дора обежала всех подруг и родичей. Письмом заинтересовался её смешливый дед, школьный повар Трифон. Повертев в руках конверт, ехидно ухмыльнулся: «Ты, Дорка, фотку попроси у своего «секретчика». На ВПК, при полной форме, с разводягой». — «А что такое — ВПК?» — То же, что и разводяга — секретное оружие!» Дорка написала, попросила фотку. Пашка не ответил. Не отвечал, пока однажды не приехал в отпуск. К тому времени у деда Дорка выведала, что её «секретчик» учится в военной школе поваров (ВШП), а ВПК — не что иное, как военно-полевая кухня, и разводягой в армии называют поварёшку. Словом, оконфузился... Над незадачливым «секретчиком» в деревне подтрунили, но прочно прозвище за ним с незначительной поправкой закрепилось позже, когда Пашка — Павел Филимоныч, окончивший заочно ветеринарный техникум и вступивший в партию, по направлению парткома уехал в... ВПШ и воротился в Веремеевку по прошествии двух лет в должности парторга. Вот когда всплыла в памяти сельчан давнишняя история с загадочным письмом. И хоть знали в Веремеевке, что ВШП имеет к ВПШ такое же примерно отношение, как ши к марксизму-ленинизму, Пашка Рябов стал отныне Пашкой Вэ-Пэ-Ша...

Он встретил Веремеева в прихожей.

— О-о, кого я вижу! Классик Виктор Веремеев собственной персоной! Понимаю, понимаю: «чем живёт российская глубинка?» В кои веки заглянул к старинному приятелю! Неспроста, чать. Неспроста-а! — В серой, плотно облегающей отнюдь не богатырскую, но выпяченную грудь фланелевой рубашке, заправленной под модные простроченные варенки, он с напускным радушием на жёлтом, измождённом, но гладко выбритом лице тряхнул рукой Веремеева. — Прошу, прошу в мой кабинет!

В бывшей детской комнате на месте двух кроваток стоял двухтумбовый стол. На стене перед глазами висел цветной предвыборный плакат президента Ельцина с победно вскинутой рукой. Угол справа занимал остеклённый шкаф, слева — телевизор на подставке.

— Прошу! — Пашка из-за открытой двери выкатил уютное, под синей плюшевой накидкой, низенькое кресло.

Веремеев не сдержал иронии:

— Да ты и в самом деле государственный мужик!

— Трудимся на благо, приходится оправдывать доверие! — засмеялся Пашка. Две глубокие морщины от крыльцев узенького носа к подбородку очертили скобами его крупный рот с блестящим верхним рядом золотых зубов. — Жалко, Доры дома нет, а то бы сели, посидели... Угостить-то нечем. Разве что по маленькой?

— Нет, Павел, не могу, как-нибудь в другой раз. Сегодня не до маленькой.

— Понимаю, понимаю! — Пашка боком прислонился к краешку стола.

— Ну а если понимаешь, порви у Тюли заявление! — бухнул Веремеев. — Не враг же тебе Сашка!

Депутат взглянул на гостя исподлобья. Поперечные бородки на бледном лбу над переносицей сбежались в букву «Н».

— Как это понимать? Что же получается, дорогой ты наш писатель? — разочарованно вздохнув, придвинул стул, присел напротив. — Давай порассуждаем. Ведь вы же все — как избиратели и как просто граждане — совершенно справедливо... справедливо, Виктор! — требуете навести порядок, так? Думаю, что так. Не ты ли, Виктор Веремеев,

любимый наш писатель, в своих последних публицистических в газетах и журналах — а мне как депутату районного Совета приходится следить за раз-азной информацией! — не ты ли, дорогой наш, упрекаешь власти в разгуле бандитизма и преступности?!

— Возьми тоном ниже, Павел! «Бандити-изм!», «преступность!». Не перегибай. Пьяный дуралей забрался в старую квартиру и улёгся спать... Да, набезобразничал. Да, набедокурил. Надо наказать. Но ведь не садить его за это? Можно без суда?

— Можно, но — нельзя! — вспыхнул депутат. — В ночное время пьяный безобразник врывается в жилище незамужней женщины! Кто знает, с какой целью? А мы его слегка журим и с богом отпускаем, так? Так дело не пойдёт!

— Да не чужие они, Павел. В этом всё и дело!

— А вот это спорно... То есть, я хочу сказать — для меня бесспорно. Насколько мне известно, брак между Сашкой и Галиной расторгнут юридически. Что и даёт мне основания считать их, извини меня, чужими. И Галина, ты бы видел, готова растерзать его физически! Ты говоришь: набедокурил. Это мягко сказано. Очень, о-очень мягко. Он меня с крыльца, как шенка приبلудного. На глазах народа. Народ шёл на работу. Народ всё это видел! Он не меня — он депутата оскорбил при исполнении. А у меня — иммунитет. Я это не оставлю. Ты не обижайся. Тебя я уважаю, а его возьму за жабры. Вернее, не спущу. Из уважения к закону.

— Закон я тоже уважаю, — поднялся Веремеев. — Но можно ведь по-человечески?

— Можно, но — нельзя! Сами же трубите: бандитизм, преступность! А взяли в оборот хулигана пьяного — просите помиловать. А как с борьбой с преступностью?

— Боритесь, ради бога. Двумя руками «за»! Да только там ли начинаешь?

— А-а, он за колхоз, но не в своей деревне, так? Так дело не пойдёт! Чего он сам-то не явился, а тебя прислал? Думает укрыться за братовой спиной? Я не погляжу, ты меня маленько знаешь! Так дело не пойдёт. Тебя я уважаю, но закон — тройне. Вот пусть он сам ко мне придёт. Тогда поговорим!

— А договоритесь?

— Думаю... подумаем, — промямлил депутат.

...Полная и статная, в ситцевом халате затейливой расцветки, Галина, стоя у трюмо, запрокинув голову, расчёсывала русые вьющиеся волосы.

Веремеев кашлянул.

— Добрый день, невестка!

Галина, вздрогнув, обернулась.

— Ви-иктор? Напугал! Здравствуй, деверёк! Не за Сашку ли приехал хлопотать? Если за него, за идиота, то и присесть не приглашу — не будет разговора. Сказала — упеку, значит, упеку. Никакой амнистии.

— Сердитая какая!

— А как же не сердиться? — вспыхнула Галина. С холодком и отчуждённостью в немигающих глазах бросила гребёнку, придвинула к порогу табуретку.

Веремеев сел.

— Я тебя, невестка, понимаю...

— Не называй меня невесткой! Была невестка да сплыла. Я теперь чужая... Ольга вам родня! Чего он к ней не едет? Пусть едет на Кавказ! Трезвый стороной меня обходит, глазами землю роет, а пьяный донимает, проходу не даёт. Я ему не Ольга! Не ревинская шлюха! Про меня никто не скажет, что с кем-то загуляла, под кого-то распласталась... А на той, Олюхе, что он привозил, только трактор да комбайн не побывали. От людей не утаишь. Вот пусть он к ней и ломится!

— А может, он, Галина, тянется к тебе? Осознал ошибку?

— Поздно осознал, если осознал. Ничего не выйдет. Да и не верю я ему. Он неисправим.

— Так уж и неисправим.

— А ты не усмехайся!

Веремеев встал.

— Галя, я прошу тебя заявление забрать. Сделай это ради стариков. Я тоже вышел из терпения. Вот съезжу завтра в Ревино, вернусь и увезу его с собой.

С недоумением во взгляде Галина обернулась.

— Куда это — с собой?

— С собою, в Семиреченск.

— Не понимаю, для чего?

— Не судить — лечить надо Александра. Не хочет исправляться добровольно, исправим принудительно.

— А если не захочет?

— А не захочет — пусть пеняет на себя. Тогда садите его с Пашкой!

Еще раз взглянув избоку на деверя, Галина тягостно вздохнула:

— Боюсь, не знаешь брата, Виктор!

* * *

Уже за полдень вернулся Веремеев в избу. Едва успел раздеться, явилась Спиридониха, вопросительно уставилась кроткими глазами:

— Нету, Витя, Сашки. Нету! И на обед не приходил! Не увёз ли его Тюля, чего доброго, в кутузку?

— Не увёз, не беспокойся. Никто его в кутузку не упрячет.

— Так на обед не приходил... Какой бы ни был после пьянки, поись всегда зайдёт!

— Придёт, пошли его ко мне... Сходим к депутату. Надо поклониться.

— Был у Павла Филимоныча? — встрепенулась Спиридониха. — А у Гальки был?

— Был, лёлька, был. Не паникуй, все будет хорошо.

— Да кабы так оно и вышло! Это Бог на выручку прислал тебя к нам, Виктор. Не приехал — загремел бы Сашка. Как пить дать загремел! Пойду хлебушка куплю... Хлебушка куплю да дедку ободрю, а то затосковал... Жалко ему Сашку!

Она ушла, а Веремеев приготовил кипяток и сделал себе кофе. Присел к столу, взял ручку. Но состояние тревоги, давящей угнетённости уже не отпускало. Стонущая боль растекалась под сердцем... Он встал, растёр ладонью грудь. В слепом порыве сгрёб со стола бумаги, остервенело смял их и отбросил к печке рассыпающийся ком. Оделся, вышел из избы. Постоял потерянно среди двора и, сорвав с рябинки горсть незрелых ягод, выдавливая деснами, языком и нёбом терпкую, вяжущую горечь, зашёл в дом к старикам. Подсел к столу на табуретку.

Петруня шевельнулся на постели, приподнялся на локте, окинул Веремеева отсутствующим взглядом и сел на краешек кровати, свесив исхудавшие венозные ноги. Его глаза под бурыми наплывами складок водянистых век казались не живыми, а стеклянно отражающими вещи.

«О чём вот думает старик? О чём думается людям на исходе жизни? Вспоминают ли былое? Строят ли планы на отпущенное Богом? Размышляют ли о нынешнем? И если думают, то как? С угрызениями совести? С сожалением? С упрёком? Или — с удовлетворением? О чём вот думает Петруня? Этот вечный труженик, фронтовик, художник? Или дряхлый его мир состоит из неосмысленных, случайных образов, видений? Как в болезненном бреде или в забытьи?»

— Грустно, дядя Петя?!

Петруня промолчал. Достал из-под матраца надорванную пачку «Беломор-канала» вынул папиросу, размял её трясущимися пальцами.

— Грустно, дядя. Грустно, знаю! — Веремеев хлопнул ладонью о колено и подскочил к кровати. Опустился на корточки и, заглянув в Петрунины глаза, спросил с надрывом в голосе: — Почему молчишь? Почему ты всё молчишь-то, дядя? Что-нибудь болит? Скажи! Ведь вижу, что болит? Что, скажи мне? Сердце? Печень? Почему молчком-то? Всё-ё! — выпрямился он. — Завтра отвезу! Придёт студийная машина, и поедет оба... Всё! И не перечь! — И оттого, что принял наконец-то твёрдое решение, что будет завтра день заполнен делом, от сердца отлегло.

Петруня закурил, подошёл к плите, выдвинул задвижку. Встал на колени перед топочным отверстием.

— Душа, Виктор, у тебя чего-то не на месте... Мается душа. Случилось что, скажи? Скажи, пока бабки нет...

И от его негромких слов Веремеев обомлел.

* * *

Он отказался от обеда, а вечером от ужина. Достал из подпола бутылку привозного коньяка и усидел её к полуночи под банку сухих шпрот.

«Как дальше жить? На что надеяться? К чему теперь стремиться, когда вокруг всё мрачно и необъяснимо? Когда уже нет сил и не осталось веры абсолютно ни во что. Сохнуть в паутине безысходности, тоски и одинокости? А боль в твоей душе, кому она нужна? Но что ты можешь дать? Луч света, капельку надежды? Увы, ты не пророк, не ясновидец. И не утешитель. Не горьковский Лука... «Улетели, барин, журавли!» Но недостойно умереть, не разобравшись в окружающем и в себе самом. Не ответив честно на простой вопрос: а что ты значил в этой жизни? И значил ли вообще хоть что-нибудь?»

И даже когда за полночь подкатил к воротам Александров «Беларусь» и остановился, полоснув по окнам ярким светом фар, заглох и с прицепной тележки обвалились россыпью дрова, не вышел на подмогу, не поднялся. Подперев лицо руками, вслушивался в мягкие, хаотические звуки падающих дров, и казалось, сердце бьется в унисон.

8. Суббота. ТЫ НА ГОРУ, ЧЁРТ ЗА НОГУ

Утром Веремеев выбрил щёки, подбородок, освежился из пульверизатора, надел захваченный из дома лёгкий джемпер. В ожидании обещанной Викой машины отправился к старикам.

Александр под навесом выстилал жердинами место под поленницу. Увидев брата, сдержанно кивнул и отвернулся:

— Не прячь глаза, герой! — остановился Веремеев. — Неужели стыдно? Что-то слабо верится... И подожди с дровами — дрова не убегут. Пока я езжу в Ревино, сходи-ка к Пашке Вэ-Пэ-Ша. Вчера с ним разговаривал...

— Кто тебя просил? — буркнул Александр.

— А ты не ерепенься и не лезь в бутылку. Тоже мне, гордец! Пашка — мужик с гонором, но поладить можно. Сходи, покайся, что ли, — не мне тебя учить. Тебе ведь не впервые. А вернись из Ревина, у нас с тобой особый будет разговор. О чём — советую подумать.

Александр смолчал.

— Да не заводись! — прибавил Веремеев.

Едва он вошёл в дом, Спиридониха достала из натопленной печи чугунок с картофельной — любимой! — золотистой запеканкой.

— Вот уж от чего не откажусь!

— Так для тебя, Витя, старалась! — довольная, сказала Спиридониха. — А то уедешь не поевши, да на целый день. На пустой желудок много ль наработаешь?

Он сел за стол и разломил каральку.

— Лёлька, дядя где?

— В ограде где-то... С Сашкой.

— Он собрался, нет?

— Куда-а? — застыла Спиридониха.

— Как — куда? Со мной. В больницу. Поеду и попутно завезу. Ведь я предупреждал!

— Ой да, Витенька, не надо! Не надо, мой родной! Растрясёте, хуже будет. Какая нам больница?

— Ну что ты будешь с вами делать? — Он отодвинул чугунок и отбросил ложку. — Зови, лёлька, дядю. Я за него в ответе!

— Ну хорошо, ну ладно, — уступила Спиридониха. — Я позову, а ты поешь. Поешь, а то остынет! — Она вышла, что-то бормоча, но тотчас воротилась. — Виктор, там приехали... За тобой. Мужчина!

— Где он?

— На крыльце... Улы-ыбчивый!

— Ну так пригласи, что ж ты растерялась!

...Пропустив вперёд себя черноволосого мужчину с крупным римским носом, в коричневой кожанке, в брюках на заклёпках, в ярких адидасовских кроссовках, Спиридониха прикрыла за ним дверь и из-за спины вошедшего взглянула на оторопевшего племянника.

Гость бегло огляделся и произнёс невозмутимо:

— Здравствуйте, Виктор Алексеевич. Картина Репина «Не ждали»?

Веремеев медленно привстал.

— Зарни-и-цкий? Ты откуда? Как сюда попал?

— Да не по доброй воле, чего уж там скрывать. Из Ревина, от Вики... Виктории Степановны.

— Как — от Вики, я не понимаю.

— Да вот так...

— Вы проходите, проходите, — засуетилась Спиридониха. — Виктор, приглашай товаришша к столу. Садитесь, добрый человек. Картошечки вот с нами!

Зарницкий благодарно взглянул на Спиридониху, затем — демонстративно — на часы.

— Времени в обрез, но чашку чая с удовольствием! — сел рядом с Веремеевым и закончил мысль: — Да, от Виктории Степановны. Дело в том, что там у них «рафик» поломался. Вечером пришла, упростила съездить. Ну, куда деваться — «Москвич» мой на ходу, не станешь объяснять, что мы в... раздоре. Приехал вот, машина ждёт.

— Ясно, — хмыкнул Веремеев. — Выходит, я с тобой должен дискутировать? Рассуждать о «перспективах» и «путях развития»?

— Выходит, что со мной.

— О-очень любопытно!

Спиридониха поставила на стол чашки с крепким свежим чаем, выставила сахарницу.

Зарницкий полуобернулся.

— А вы и есть та самая... простите, как по отчеству?

— Да какое отчество! — смешалась Спиридониха. — Звать меня Еленой, по паспорту — Матроновна. А кличут Спиридонихой, по тятиной фамилии.

Зарницкий расстегнул свою кожанку.

— Рад с вами познакомиться! Наслышаны о вас. Я ведь тоже крестник ваш в некотором роде... Двадцать восемь лет назад моя мама разрешилась мною не без вашей, так сказать, акушерской помощи...

— Вот ведь как бывает! — зарделась Спиридониха. — Виктор, слышишь, нет?

— Слышу, — буркнул Веремеев, помешивая чай.

— Гора с горой не сходится!.. — Пока она расспрашивала гостя о житье-бытье, о здоровье матери, которую, конечно же, оказалось, помнила (схватки начались на сенокосе, в поле, и роды были трудными, в избушке на заимке), Веремеев допил чай, с плохо скрытым раздражением удалился в горницу и надел костюм.

«Если б знал, кого Виктория пригласила в оппоненты, ни за что б не согласился на эту передачу. Но теперь не отвертеться... Слово дал, придётся ехать... Что ж, нет худа без добра — отвезу Петруню!»

— Лёлька, где же у нас дядя? — спросил он с нетерпением, выходя из горницы. — Время отъезжать. В больницу бы успеть до передачи!

— И то, чего шаперятся? Пойду, Витя, кликну. — Она вышла в сенцы.

— Ещё кого-то ждёте? — полюбопытствовал Зарницкий.

— Да, деда захвачу... Заболел, похоже.

— Мать у меня тоже... Кое-как скрипит.

С минуту помолчали.

— Сам-то давно в Ревине? — поинтересовался Веремеев.

— С середины лета. Жена у стариков... Теперь уже в род-
доме. Жду.

— Сына ждёшь-то?

— Сына.

— Это хорошо...

Разговор не клеился.

Зашёл мрачный Александр, кивнул молчком Зарницкому. За ним вошёл Петруня, следом — Спиридониха. Распорядилась на ходу:

— Дед, переоденься. Рубаха на столе. И чистое бельишко на комод в горнице. К ужину-то ждать? — спросила Веремеева.

— К ужину приедем, — успокоил он.

— Я их привезу, — пообещал Зарницкий.

Александр буркнул:

— Не за делом батю стронул!

* * *

Голубой «Москвич», попетляв проулками с разбитыми скотиной навозными валами огородов, выехал просёлком на большак. Зарницкий закурил и прибавил газу...

Петруня задремал. В серой ситцевой рубаше, в сером пиджаке, в линялых серых брюках, сидел, откинувшись на спинку заднего сиденья за спиной Зарницкого, сложив

смирённо руки на груди и склонив седую маленькую голову на плечо племянника. Веремеев мельком взглядывал в окно: овсяное поле, облетевший перелесок, кладбище, старухи...

Бывая в Веремеевке, он по воскресеньям заходил на кладбище. Каждая могилка там была ухожена. Даже на старинных, сглаженных годами холмиках могил безродных, безымянных, с иструхляевшими крестами, лежали вялые и свежие букетики цветов, истлевшие и яркие конфетные обёртки, кусочки сдобы, яичной скорлупы.

Веремеев всматривался в лица с пожелтевших фотографий, вчитывался в стёршиеся надписи на памятниках. Думал, размышлял. «И это всё, что остаётся после человека? Бугорок земли, памятник, оградка? Неужели всё? Тогда зачем всё это? Чтобы уйти в свой час со спокойной совестью? Это — много или мало? Или так нельзя — много или мало — просто по-людски?»

В любое время года — летом и зимой — старухи в праздничных нарядах здесь торили каждая свою и все вместе общие — тропы и тропинки. Затем они сходились к кладбищенским воротам, переговаривались шёпотом в кругу. Когда он уходил, умолкали, расступались, и он кожей ощущал их провожающие взгляды на своей спине...

Старухи и сегодня разбрелись по кладбищу. «Зачем они идут туда? Наверняка не посудачить. Умиротворяются? Проводят смотр перед уходом, готовятся ко встрече с теми, кого не позабыли? А может, кладбище им служит единственным в деревне местом очищения, где о близкой смерти думается как об избавлении, без душевного надлома? Кладбище в их жизни заменяет церковь?»

Через полчаса, в сотне метров от развилки с накренившимся к обочине дорожным указателем мотор чихнул и вдруг заглох. «Москвич» на скорости бесшумно прокатился, стал. От толчка Петруня вздрогнул...

— А-ась?

— С добрым утром, дед. Приехали! — Зарницкий обернулся с недоумением во взгляде. — Ничего не понимаю! С чего бензин-то на нуле? Вечером заправился!

— А точно запраплялся? — усомнился Веремеев.

— Как не точно? Точно. Что же я, без памяти? — Зарницкий чертыхнулся, вышел на дорогу. Закурил, присел на корточки...

В сердцах громко хлопнув дверцей, Веремеев — следом.

— Вот так удружил! Приехал с пустым баком! Что же будем делать? Ждать с моря погоды?

Зарницкий промолчал.

...Утренний автобус через Веремеевку прошёл на Ревино час тому назад. Следующий должен бы пройти по расписанию не раньше пяти вечера. «Ждать смысла нет, — подумал Веремеев, — не успеешь ни в больницу, ни тем более на эту — чёрт её побрал бы! — телепередачу... Стоять голосовать в надежде на водителя, который просто так, от доброты душевной, заправит этого болвана? Доброхотов нет. Частник ныне пуганый — ветром пролетит. И комбинатовских машин сегодня не видать: суббота. Выходной...».

— Что там за указатель? — кивнул Зарницкий в сторону развилка.

— Поворот на Моховое. Восемь километров... Стоп! — спохватился Веремеев. — У меня там брат. Егор. Старший зоотехник. У него машина. Может быть, ударить мне туда на одиннадцатом номере? Время позволяет: восемь километров — два часа ходьбы, полчаса у брата, оттуда четверть часа... В итоге — три часа. Тут больше простоим. Пойду, а вы позагорайте...

— Смотрите, вам видней, — пробурчал Зарницкий.

Подошёл Петруня.

— До Егора, Виктор? Тогда через болото... Через болото, через бор и — напрямик! В аккурат упрёшься. Только по болотине одному не дело. Ступайте, я посторожу.

9. Суббота.

ПОШЕЛ К КУМЕ, ДА ЗАСЕЛ В ТЮРЬМЕ

Вытолкнув машину на обочину, дошли до первого с воротка и через прореженный, расцвеченный предосенним увяданием подлесок едва приметной тропкой вышли на болото. По ту сторону виднелись кривоствольные берёзки и густой лозняк. Тропинка разветвлялась, терялась между кочками.

Вскоре под ногами зачавкала вода. Впереди открылся пузырящийся зыбун...

Веремеев приостановился.

— Придётся обойти!

— Не обойти — вернуться! — возразил Зарницкий, глядя на упругие, острые как лезвия, влажные клинки ниспадавшей веером с мёртвого кочкарника осоки. — Я уже промок... Вернемся, Виктор Алексеич. Пройдём немножко лесом. Там, с краю, вроде, суше.

Вернулись и прошли подлеском километра полтора, вышли на елань. Тропа оборвалась.

— Нам теперь налево? — стал в тупик Зарницкий.

— Почему — налево? Налево — мы назад, на дорогу выйдем. Нам теперь направо, и выйдем на лозняк. Там увидим бор.

— А не налево разве?

— Так тебя туда и тянет! — отшутился Веремеев. — К «левым» да налево. Они двинулись еланью, но через сотню метров вышли на... болото. Вроде то же, да не то... Впереди — не березняк, а уже — стеною — согра.

Зарницкий стал как вкопанный.

— Что за чудеса?

— Кажется, болото...

— Вижу, что болото. Болото, да не то! За ним вон джунгли, а не бор. Не туда попали. Нам влево надо было!

— Не паникуй, Зарницкий. Тут негде заблудиться: туда — большак, сюда — просёлок. — Запрокинув голову, Веремеев поглядел на уныло-серое, затянутое небо. — Жаль, солнца не видать. Не вдруг сообразишь, куда и направляться...

— А никуда не направляться! — занервничал Зарницкий. — Надо возвращаться. На дорогу. Ни вы, ни я не знаем этого болота. Прокружим тут до вечера.

Веремеев согласился скрепя сердце.

Пошли через елань по направлению к просёлку. Спустя четверть часа вышли на... кочкарник. Сухой, необозримый. Высокие белые кочки были сплошь усыпаны едва забордовевшими ягодами клюквы.

— Кажется, приехали, — выдохнул Зарницкий и разразился бранью: — Чёрт меня к тебе понёс! Влипли. А всё из-за тебя!

– Помолчи, нервическая барышня! – прикрикнул Веремеев. – «Всё из-за тебя-я!» Тоже гусь хорош. Приехал на подсосе, теперь виновных ищешь!

– Но ведь вы же местный! Как можно закружиться в трёх верстах от дома?

– Такой же местный, как ты в Ревине. Уже тридцать с лишним лет приехал да уехал. Что же, я, по-твоему, по болотам шарюсь?

– Дед тоже – «напрями-ик!» Будто в магазин через дорогу сбегать. Прыгай, как козёл, теперь по кочкам!

– Ладно, успокойся. Отдохнём. Подумаем.

С враждебностью во взглядах уселись на сушину. Веремеев мысленно перебирал все варианты: «Куда теперь податься? Опять через болото? Ухнешь где-нибудь в трясину – поминай как звали. Пойти в обход? Но этому болоту, похоже, нет конца и края. Повернуть назад? А где он теперь, зад? И солнца не видать... Как запропастилось! Искать тропу в березняке? Должны же там быть тропы? Найти тропу и – до упора. Куда-нибудь да выведет. – Он глянул на часы: перевалило за полдень. – Три часа – и смеркнется!»

– Вставай, пойдём, Зарницкий. Надо выйти засветло.

– Куда? В какую сторону?

– Через березняк.

– Но мы оттуда вышли!

Веремеев молча двинулся вперёд. Зарницкий раздражал вопросами...

Чахлый березняк сменился наконец кедровой тёмной рошей. Через пять минут открылась взору Веремеева давнишняя, заброшенная просека в зарослях маличника. Он ускорил шаг. Зарницкий за спиной прерывисто дышал и постепенно отставал. Споткнулся о валежник, упал на четвереньки.

– Куда вы ломитесь, как лось? Запалите до смерти!

– Вставай. Вставай, Зарницкий! – остановился Веремеев. – Куда-то мы с тобой, кажется, выходим... Видишь, просека в кедровнике... И – сыростью пахнуло. Где-то тут поблизости вода!

– Кажется ему!

– Не ерепенься, не ко времени. Вставай и догоняй!

Зарницкий встал и огляделся.

— Не понял я, куда выходим? Этой просеке сто лет. И где тут может быть вода?

— Шагай, не рассуждай!

...Через четверть часа миновали рошу, вышли на округлую небольшую сопку. Посредине одиноко возвышался кедр. Справа простирался рыжий от опавшей прошлогодней хвои рям с огненными выплесками скрытого кустарником шиповника. Пологим лысым склоном сопка упиралась в крутой бездонный лог в наворотах бурелома.

— Ну и где вода? — загнанно дыша, подошёл Зарницкий.

— Там, внизу, под завалом, бьёт родник. Вслушайся... Журчит?

Зарницкий сострадательно взглянул на Веремеева, разочарованно вздохнул и распластался на брусничнике.

— В ушах у вас журчит! С галлюцинациями вас, Виктор Алексеич!

— Не ехидничай, Зарницкий. Выслушай меня. Там, внизу, бьёт ключ — я слышу. Родник бежит по склону. В какую сторону бьёт — требуется выяснить. Зачем — надеюсь, объяснить излишне. Вода найдёт дорогу к речке... Река, сдаётся, где-то рядом. А если выйдем к речке, то, можно сказать, дома.

— Короче, что вы предлагаете? Из болота в лог?

— Другого выхода не вижу.

Зарницкий рывком сел и обхватил колени.

— Спуститься в преисподнюю, скакать по бурелому? Я не бурундук!

— Да не скакать, а выяснить, куда бежит ручей!

— Как хотите, а я — пас. Я туда ни шагу. Сдыхать, так наверху! На открытом месте. А там — костей не обнаружат!

— Он сдыхать собрался! — хмыкнул Веремеев. — Тонка-а кишка, Зарницкий! Рано подыхать. Не всех своих противников позором заклеил. В газете без тебя не обойдутся!

— А вы уверены, что ручей, будь он в этой пропасти, впадёт в какую-нибудь речку? Я в этом не уверен, — продолжал Зарницкий. — А если он впадёт в болото? А так оно и есть. Вон справа рям! Мы опять у этого чёртова болота! Только вышли, чую, с противоположной стороны! Нет,

я в лог ни шагу. В какой примерно стороне мы с вами находимся? Или ничего уже не понимаете?

— Не ориентируюсь, Зарницкий, — признался Веремеев. — Запутался. Устал. Засветло не выйти, придётся ночевать. Разведем костёр, подремлем... Утром разберёмся.

— Он ночевать-ать собрался здесь! — вскинулся Зарницкий.

— А куда деваться?

— Я ночевать тут не намерен! У меня дела! У меня жена... в роддоме! Или вы меня на прочность проверяете?

— Чудак! Неужели ради испытания твоих хилых нервов я больного деда оставлю на дороге? Ночью? Одного? Успокойся. Сядь. Ссора нам с тобой сегодня не союзник. Ругаться дома будем.

* * *

В предвечернем сумерке насобирали хворосту. Зарницкий выволок откуда-то сушину. Развели костёр. Пока он разгорался, отстреливая искрами, нашли разлапистую пихту, наломали веток, выложили ими место у костра. Долго в молчаливой отчуждённости обсушивали мокрую одежду, жались у огня. Затем Зарницкий натянул на голову кожанку и зарылся в лапнике. «Как там сейчас Петруня? — думал Веремеев. — Хорошо, если на попутке укатил домой, а если не уехал? Не если, а наверняка. Не бросит он машину. Ни за что не бросит!» О себе не беспокоился. Он не сомневался, что с рассветом прояснится обстановка — выйдут на дорогу или в худшем случае по ручью к речушке, а всё случившееся с ними — нелепость, наваждение...

В полночь встал и, натыкаясь на чёрные кустарники, подошёл в потемках к логу. Вслушался... «Журчит!» Краем отошёл шагов на тридцать, присел над чёрной бездной, превратился в слух... Вода била ключом! Ручей бежал, по звуку, в сторону кедровника. «Утром уточню». Из-под ноги вдруг отделился окаменелый ком и по крутому глинистому склону с рассыпающимся шорохом полетел в чернеющий на дне завал. В то же время за спиной послышались шаги. Веремеев, оробев, резко обернулся...

— Зарни-ицкий? Ты? Чего не спится?

— Не дома на кровати... А вы чего тут бродите?

...За ночь Веремеев так и не сомкнул тяжёлых век. Не спал остаток ночи и Зарницкий. Лежа на боку, двумя большими пальцами, чёрными и липкими (как, впрочем, губы, шея, подбородок и даже кончик крупного, правильного носа), остервенело шелушил наполовину облущённую кедровкой неподатливую шишку. Со злым упрямством выковыривал из гнёздышек орешки, по одному бросал их в рот и с треском грыз...

«Кишка тонка у парня. Совсем, похоже, скис! — Веремеев ворошил тлеющие угли, поддерживал огонь, подбрасывая хворосту. И не испытывал к Зарницкому ни злобы, ни презрения. Обида притупилась, и даже шевельнулась в сердце жалость к непримиримому противнику. — Тоже понять можно: жена вот-вот родит, ждёт его, наверное, а он...».

— Стихи-то пишутся, Зарницкий? Прочёл бы что-нибудь! Зарницкий раздражённо выплюнул скорлупку.

— «Стихи», «стихи»! Не до стихов!

— Не пишутся? А жаль. Когда-то мог ты удивить... «Вредными стихами»!

«Вот тебе и диалог, — подумал Веремеев. — Подвели Викторию... А может, оно к лучшему? Какие «перспективы» и «пути развития», когда в себе не разберёмся? И до какого уровня скатились наши споры! Грызня с пеной на губах. «Левые» на «патриота» — «патриот» на «демократа»! Бьёмся с перекошенными лицами, да не на жизнь, а на смерть. Разим друг друга перьями калёными, грязью поливаем, склоняем по всем падежам недозволенным! Остановиться недосуг. Успеть бы — очернить! Изобличить, облаять! Прижать противника к ногтю! И кто тут прав, кто виноват? Какой судья рассудит? А слово позабыто, позаброшено. А что бы заглянуть-то в глубину его, гранями звучания вдоволь насладиться, теплом лучей его согреться? Обогреть сердца! Не-екогда. Нет времени. Когда-нибудь! Потом! До изящной ли словесности!..

Как всё осточертело! Довольно. Выхожу. Умываю руки. Никаких опровержений, никаких полемик! О Петруне очерк сделать — вот что сейчас нужно. Хороший, светлый очерк о светлом человеке! «Солнечных дел мастер» — чем не

заговолок? И — портрет на вклейку. Цветную фотографию в золотистой рамке в форме налитого колоса пшеницы». — Он настолько живо вообразил портрет Петруни в золотистой рамке, украшенной соломкой, так загорелся мыслью рассказать о Мастере и его искусстве, сказать себе и людям: «Да вот же красота, которая спасёт!», — что даже ощутил подзабытый жар...

Но стояла ночь. Чёрная, промозглая. Под порывами холодного пронизывающего ветра с вершины кедра обрывались налитые шишки и со свистящим хрустом тонули в беломошнике. Остервенело грыз орехи Зарницкий. Потрескивал костёр...

10. Воскресенье.

КОЛЬ НЕ ПОП, НЕ СУЙСЯ В РИЗЫ

Утром по ручью вышли к пересохшей безымянной речке, а к полудню — точнёхонько к развилку. Но ни машины, ни Петруни там не оказалось...

Александр под навесом довершал поленницу. Посреди двора стоял голубой «Москвич». Зарницкий от ворот подбежал к машине...

В доме за столом напротив Спиридонихи сидела полная Галина с розовым, распаренным лицом, с махровым полотенцем вокруг шеи.

— Не ве-естка? Вот сюрприз!

— Здравствуй, деверёк. С прибытием тебя!

Спиридониха в наброшенном на плечи полушалке кинулась навстречу, сцепила пальцы рук.

— Яви-ился, слава тебе, Господи! Да на кого похожий! Галя, глянь-ко на него! В смоле да в паутине! Уходил костюм!

— Не в костюме дело, лёлька!

— Да разве можно так-то, Виктор! Всех на ноги поднял! «К ужину приедем!». Я ждать-пождать — вас нет. Сашка днём машину притащил, на тракторе въезжает, а у меня — поверишь ли? — ноги отнялись. Что случилось, думаю? Аж в голову ударило. Вышла: дед сидит в машине, как Павел Филимоныч, а тебя не видно... Я к Сашке:

«Виктор где?» — «Надумал с товаришшем в Моховое к Гошке!» — «Пошто не на машине?» — «Машина поломалась, болотом подались!» Я ждатель-пождатель — вас нету. И ночью нет, и утром нет... Баню истопила, а вас всё нет и нет... Что ни передумала! Ведь через болото — нешуточное дело! Деда отчихвостила: зачем одних пустил? До Галины сбегала — та переполохалась... А мужики лишь ухмыляются... Будто так и надо. Разве можно так-то?

— Одну минуту, лёлька... Когда, сказала, Александр машину притащил?

— Так днём вчера... После обеда, — насторожилась Спиридониха.

Веремеев подозрительно глянул на Петруню. Тот курил на корточках у печки.

— Дядя, расскажи, как он тебя нашёл?

— Саха-то?

— Ну да!

Петруня поглядел на всех поочередно.

— Саха-то? Нашё-ёл!

Догадка лёгкой тенью скользнула по лицу, тронула в недоброй, страдательной усмешке губы Веремеева. Он повернулся к Спиридонихе.

— Значит, деда отчихвостила? Остаётся Сашка? С ним сам поговорю. Ох, поговорю-ю!

Галина от стола метнулась вдруг к порогу, стала спиной к двери, выставила руки.

— Виктор, обожди. Куда так разогнался? Ишь какой горячий!

— Что с тобой, невестка? — опешил Веремеев.

— Ты Сашку не тирань! Оставь его в покое. Раскомандовался тут! «Деда отвезу!», «Сашку увезу!» А у меня спросил? У отца? У матери? Он за всех решил, всех определил! Кто тебе дал право? К кому ты гонишь Сашку? К Пашке-депутату? Да если уж на то пошло, Сашка в Веремеевке первый депутат! Старики со всех трёх улиц идут к нему — не к Пашке. Огород вспахать — к нему, дровишек, сена подвезти — к Сашке Веремееву, подсвинка заколоть — где у нас там Саха? Ты о них подумал? «Сашку увезу!» Я те увезу! Он тоже мог бы, как Егор или, скажем, ты, милый деверёчек,

махнуть куда подальше. В Моховое! В Ревино! Или — в Семиреченск! Я его звала! Я его тянула! Чем он хуже вас, таких любвеобильных? Уехал да любил бы их издалека, — кивнула на Петруню. — И жалел бы издали. Приезжал бы ненадолго, давал бы нагоняю какому-нибудь Сахе. Сах пока везде хватает, слава тебе, Господи!..

— Галя, перестань! — встряла Спиридониха. — Разве можно так-то?

— Можно, мама. Можно. И не можно — нужно. Должен кто-нибудь! Он за «всех в ответе!» Он всем «добра желает!»

— Перестань, Галина! — взмолилась Спиридониха.

— Пусть баба покричит, — прогудел Петруня.

— И покричу, а что вы думали? — Галина сникла, опустила руки. — Пусть он нас послушает. Не всё ему учить...

— Ну, выпустила пар? — спросил устало Веремеев.

— Выпустила, Виктор... И не обижайся. Люби нас всех издалека, только не встречай. Не ломай, не будоражь. Оставь в покое деда, брата... Мы сами разберёмся. Ты приехал и уехал, а нам тут оставаться.

— Благодарю за откровенность! — бледный, Веремеев вышел...

Широко расставив ноги, сбывшись, на крыльце стоял Зарницкий.

— Довольны, Виктор Алексеич?

— Ну а ты — о чём?!

— О спектакле вашем! — лицо Зарницкого ослабло в презрительной усмешке. — Вы здорово придумали: завести в болото, покружить по лесу, а ночью скрыться втихомолку? Но не получилось. Я раскусил. ещё на большаке, когда бензин вдруг кончился... Был полный бак и вдруг — иссяк. Вытек. Испарился! Это — дело ваших рук. Вернее, брата твоего. Но что вы доказали? Отомстили за статьи? Мелко! Очень мелко, Виктор Алексеич. От вас не ожидал!

Веремеев тихо, нервно рассмеялся.

— Дурачок ты, Слава. И с такой вонючей мыслью ты за мной таскался? Караулил ночью? Сторожил у лога? Как тебе могло такое в голову взбрести?

Зарницкий сплюнул в сторону, сел в «Москвич» и выехал в раскрытые ворота.

— Мальчишка ты! Сопляк! — выкрикнул вдогонку Веремеев и обессиленно присел на нижнюю ступеньку...

Из-за поленницы вышел Александр. Приблизился к крыльцу, опустил рядышком.

— Я его заправил, Виктор.

— А бензин слил ты?

Александр усмехнулся, тронул брата за плечо.

— Сядь, не кипятись... Да, бензин слил я. Оставил ровно столько, сколько вам хватило доехать до просёлка. Но слил по просьбе бати. Только вы отъехали, я следом выехал на тракторе... А как с тобою по-другому? Ты у нас упрямый, тебя не убедишь. Такие вот дела. Ты, братка, не держи обиды.

— Самоубийцы вы...

— Да ну тебя, не усложняй!

Из дома вышла Спиридониha.

— Витя, в баню собрала. Ступайте с Александром, покуда пар не вышел. Там договорите... Да венчиком его, Витя, хорошенько! Нажарь от всей души!

...Утром он уехал.

11. ПОСТСКРИПТУМ

А ответную статью на скандальный выпад «апрелевца» Зарницкого Веремеев написал. Дома. За один присест. Спустя всего неделю. За сутки до обширного инфаркта.

1993

ОТГОЛОСКИ

Отголосок
Коршун
Всё переверт
Чужая музыка
Мальги
Околоток Перековка

Отголосок

Шёл 1958-й — четырнадцатый послевоенный год.

В колхозе жилось несладко, беда подступала за бедой: ураганные северные ветры с проливными дождями сменялись суховеями из казахстанских степей, хлеба то ломало, то гноило на корню, то выжигало зноем. Наши отцы и деды всё реже вели разговоры о минувшей войне, она для них отошла на задний план...

Только однорукий конюх дядя Семён, единственный сын которого, рассказывали, сторел в танке, всё ещё донашивал полинялую фронтовую гимнастёрку, дотапывал порыжелые, выдавшие виды сапоги. Каждый вечер под окнами своей избы он бил себя в сухонькую грудь жёлтым кулаком, матерился и слёзно выговаривал спрятавшейся в горнице жене:

— Дура ты, Граньк! Ду-ра! Эт я-то пиньчужка? Да я вот этими руками под огненным Курском в сорок третьем вражину в дугу согнул! Да я кровушкой своей аж на самом Берлине расписался! А ты? Эх ты-ы!

А мы, пяти-шестилетняя деревенская детвора, выхватились друг перед дружкой в отбеленных временем армейских пилотках с тёмными отметинами звёзд, подаренных старшими братьями, и, выдавая пилотки за «всамделишные» — фронтовые, подражая дяде Семёну, колошматили себя кулаками.

Мы целыми днями носились по улице с деревянными пистолетами и автоматами наизготовку, и тишину оглашало наше пулемётно-автоматное «тра-та-та». Спали и видели себя на войне. И горевали, что опоздали родиться. Война для нас была далеко-далеко в прошлом...

Но вот на улице появлялась высокая седая старуха. Про неё в деревне шептались: мать Фимки-изменника. Мы прекращали «бои» и провожали её любопытствующими взглядами.

Сухая, как соломина, в расхристанном плюшевом жакете с подвёрнутыми концами облезлых рукавов, в грязно-белых валенках на калошах, она шла, сутулясь, с отрешёнными глазами на плоском бескровном лице. Такой она и запомнилась мне — Плоской женщиной.

Домик её, скособоченный от ветхости, по окна вросший в землю, с мшистой прозеленью на трухлявой крыше, обнесённый высоким глухим забором, стоял на задах, где мы, детвора, летом играли в лапту, зимой на плашках и салазках катались с горки, а взрослые каждый год устраивали бегунцы — бега верхом на лошадях.

Плоская жила одна. Хозяйства, не считая многочисленных собак и кошек, у неё не бывало. Только почтальонша раза два в последние полгода принесла ей весточки от сына, который, по слухам, отбывал срок за предательство в плену. Нигде старуха не работала. Говорили, правда, что в войну со всеми наравне чертоломила в колхозе, но однажды приняла неловко мешок с зерном или мукой и рухнула наземь — надорвалась.

На людях Плоская почти не показывалась. А если и выходила изредка из таинственного своего мирка, то шла по улице всё как-то боком, боком, скорёхонько, не поднимая глаз, и не только мы, детвора, сторонились её, но и взрослые невольно расступались. Очередь при её появлении в магазине умолкала, собравшиеся посудачить у колодца или на лавочке бабы спохватывались и расходились.

Жизнь Плоской являлась тайной. В деревне высказывались самые немислимые и противоречивые догадки и предположения. Почтальонша уверяла, что в домике полным-полно икон, каждая сама по себе светится, а хозяйка (хотите — верьте, хотите — нет!) с ног до головы в чёрном тенью ходит по комнатам, замаливает Фимкины грехи.

Сельповский сторож, древний старик, доказывал, что, напротив, не Богу служит Плоская, а сатанинской силе, сам видел, как — свят, свят! — ночью из печной трубы выкатился огненный шар размером с клубок, завис над крышей, потом взметнулся ввысь и рассыпался искрами...

Однажды, это случилось зимой, из городского автобуса вышел незнакомец: громадный — глыба глыбой. С бельмом на глазу, в замызганной до лоска ватной телогрейке, в шапке-ушанке с одной болтающейся на ветру завязкой.

Я и теперь ясно вижу его мясистый нос, тяжеловесный, раздвоенный лиловым шрамом подбородок, толстые неопрятные губы, красный лоб и жилистую шею. Он вышел из автобуса с полупустой котомкой, которую держал перед собой обеими руками, словно там был пуд соли. Тогда он показался почти стариком, хотя, думаю, ему не было и сорока.

Под изумлёнными взглядами оказавшихся поблизости баб и мужиков, под шелест старушечьих губ («Фимка-христопродавец вернулся!») незнакомец скорым шагом через всю улицу проследовал к домику Плоской. Вскоре за оградой вскрикнула и заголосила хозяйка, взлаяли посаженные на цепи собаки, потом всё стихло, а через час-другой на огороде затопилась баня...

Вечером того же дня мы, детвора, с неизменной дразнилкой «Дядя Сёма из назёма» увязались за пьяненьким дядей Семёном. Обычно бежали за ним от конюховки до магазина, свистели в четыре пальца. Конюх не злобился, часто останавливался посреди дороги, топтался на месте, негнушимся крючковатым пальцем манил к себе. Мы робели, но смельчак всегда выискивался, подходил, с настроженным любопытством глядел, как долго одной рукой дядя Семён шарил по карманам и в конце концов протягивал своему преследователю пересыпанную табачной трухой горсть медных монет. Затем, хлопнув пятернёй по колену, как бы всплясывал и не запевал — выкрикивал с молодецким задором: «Только вышел на да-ро-гу, штой-то свистнуло у ногу, три часа би-из па-а-амяти лежал!». Тряс головой и шёл к своей избе, а мы облепляли счастливику, пересчитывали выручку и, недолго думая, бежали в магазин, покупали комок слипшейся карамели, которая, помнится, никогда там не переводилась.

Но в тот вечер дядя Семён был неузнаваем. От конюховки зашагал не домой мимо магазина, как всегда, а на зады,

к домику Плоской. За спиной у него болталось ружьишко с обмотанным медной проволокой ложем. Он обернулся на выкрики и так грозно глянул, что мы отпрянули и, недоумевая, стали следить за ним издалека. Но любопытство перебарывало страх, помаленьку двигались следом. Дядя Семён шёл, держась прямее обычного, ступая широко и твёрдо, и, казалось, не было в те минуты силы, могущей остановить его. Он дошёл до калитки, саданул её сапогом, затряс, задёргал изо всех сил. Взлаяли собаки.

— Здравствуй, Фимушка, сын Иудин! — чужим голосом сказал дядя Семён, яростно громыхая калиткой. Она не поддавалась, видно, была изнутри на вертушках, и это выводило конюха из себя. — Выходи поздороваться, землячок, давненько не виделись! Заждался я тебя, разжеланного! — И столько нечеловеческой злобы, ненависти, отчаянной решимости прозвучало в его голосе, что нам сделалось не по себе. Мы уже догадались, что сейчас на наших глазах произойдёт нечто страшное, непоправимое...

— Самолично спросить тебя желаю, за сколько кусков проданся, за сколь нашенских жизней свою поганую выкупил? Ты думал, всё, сполна расплатился? Думал, смыл кровушку нашу с рук своих? Не-ет, не будет тебе, душегубу, на земле покоя!

Из домика, однако, никто не показывался. Собаки рвались с цепей, захлёбывались лаем. Обессилев, дядя Семён грудью навалился на калитку, задохнулся в беззвучном кашле. Но вот он резко выпрямился, сдёрнул из-за спины одностволку, взвёл курок, держа ружьё под мышкой...

Прогремел выстрел. На лавке у крыльца вдребезги разлетелась стеклянная банка. Ружьё выпрыгнуло из руки, отлетело в сторону. Хватанув ртом воздуха, дядя Семён опустился на снег. На выстрел сбежался народ.

Мужики подхватили конюха, поставили на ноги, растормошили. Он, сам ещё, по-видимому, не осознавая, что произошло, стоял покорный и послушный. Его повели домой, и он не сопротивлялся.

— Как же так, — шептали его губы, — Фимка, стервец, вернулся, Фимка будет жить, а мой парнишка?..

Через неделю Фимка уехал. Ранним утром его видели на большаке всё с той же котомкой. Одного. Плоская не провожала.

С отъездом сына она, казалось, вовсе отрешилась от всего земного. Её неделями не видели и не слышали. Только ночной перебрёх собак, бряцанье цепей, тусклый квадратик света на завалинке из единственного выходящего на улицу окна свидетельствовали о жизни за глухим забором...

* * *

В деревне праздновали масленицу. Днём откатали на тройках, отугощались блинами, вечером в домах наяривали гармошки, топотали плясуньи, из окон выплёскивались озорные частушки.

И вдруг неистово залаяли у Плоской собаки.

Старуха в ярости крушила забор. В проломе было видно, как сплеча она лупила колуном по упругим доскам, а они, прогибаясь, пружиня, дребезжали и звенели. Колун отскакивал, как от резины, удары с каждым замахом становились всё глуше, бессильней.

И опять, как на выстрел дяди Семёна, сбежался народ. Никого вокруг не видя, ничего не слыша, Плоская лупила и лупила по неподдающимся доскам, вкладывая в удары всю свою остатнюю силушку. И не кричала уже, а выла, выла, медленно оседая на снег, босая, взлохмаченная...

Все в каком-то мрачном оцепенении стояли поодаль.

— Господи! — перекрестилась одна из старух. — Да что же это делается, а?

— Жись, — глубокомысленно изрекла другая. — Чужая жись — потёмки.

— Фимка, стервец, запродался, а матери какво? Она-то тут при чём? — вставила третья.

В кругу заговорили, загалдели:

— Воспитала змейку на свою шейку, вот и расплачивайся теперь горячими слезами!

— Яблоко от яблони недалеко, сказывают...

— Разве она его на изменушку толкала?

— Нехорошо так, люди добрые! Не по-людски!

А Плоская всё выла...

Откуда ни возьмись, очутился подле неё дядя Семён. Трезвый. Он, к нашему сожалению, не пил с того памятного выстрела. Конюх выхватил из рук обезумевшей Плоской колун, запустил его через забор в сугроб.

И тотчас Плоскую окружили бабы и старухи. Кто-то заохал, заахал, кто-то запричитал, кто-то помог ей подняться на ноги, но она вырывалась, выскальзывала, снова падала в снег, билась головой о край обледенелой доски, изгибаясь длинным телом. А мы во все глаза тарاشились на неё, пока тот же дядя Семён не гаркнул на нас, и опять он был неузнаваем, только в глазах блестела не злоба и решимость, а боль и сострадание...

* * *

Шёл 1958-й, четырнадцатый послевоенный год...

Мы, детвора, спали и видели себя на войне. И горевали, что опоздали родиться. Война для нас была далеко-далеко в прошлом. Теперь я понимаю, как близко она была. Она и по сей день живёт во мне смутным отголоском надрывного стога Плоской.

1987

Коршун

В седьмом классе меня назначили редактором школьной стенгазеты. Поскольку на мои худенькие плечи свалился груз нешуточной ответственности, а редколлегия оказалась народом сплошь беззаботным, мне пришлось изрядно потрудиться. Я трафаретил заголовки, рисовал карикатуры, писал за авторский актив различные заметки и даже, войдя в раж, однажды замахнулся на стихи. Помню, про юннатов. Стишки были замечены, учительница литературы послала их в районную газету, а там и напечатали за подписью «юнкор» под рубрикой «Нам пишут». Меня зауважали, и это мне польстило. Я стал писать в газету чаще.

— Ты, парень, слышь, чирикаешь в газетку? — остановил меня однажды вредный старикашка с влажными мышиныными глазами по прозванию Коршун. Маленький, небритый, пахнувший навозом, склонил ко мне всклоченную потную макушку.

Я что-то бормотнул в ответ невразумительно и шагнул в обход, но он поймал меня за руку и показал глазами на скамью у палисадника. Я, как обречённый, последовал за ним.

— Садись, — сказал он строго и сам присел на край. — Чирикаешь — чирикай, всё не баловство. Глядишь, и в люди выйдешь... А я тебе, парнишка, подарю совет: ищи струю — не брызги... Вы, говнюки, придумали мне кличку, а если разобраться по уму, то вовсе я не в коршуны гожусь, скорее, парень, в сокола! — Он взял меня под локоть и заглянул в глаза, обдав табачным смрадом. — Я расскажу, а ты рассуди, где тут струя, где брызги...

Нужен был он мне со своими струями и брызгами!

Мы, детвора, давно и крепко не любили Коршуна. Весной в сельпо списали ящик сигарет и, не подумав о последствиях, бросили в разрушенный подвал. Мы решили «испытать» курево на годность. Закрылись в уличной уборной,

разорвали пачку... Коршун шёл проулком с конного двора, увидел дым столбом, подкрался, как лазутчик, закрыл нас на вертушку. Когда мы обнаружили себя в коварной западне, было уже поздно — матери пришли. А они в вопросах педагогики были не сильны и применли к «испытателям» дедовские методы воздействия... И ещё за то мы не любили Коршуна, что он, работая объездчиком, шугал нас, словно зайцев, с гороховых полей.

— ... Я в должности механика-водителя всю войну прошёл. Курск, Житомир, Киев, Перемышль освобождал. — Коршун выпустил мой локоть и, загибая пальцы на руке, стал перечислять, брызгая слюной. — Бреслау, Дрезден занимал. Днепр форсировал и... эту, Шпроя называется! Штурмом брал Берлин!.. Коршун или сокол? Польшу, Венгрию и Австрию с боями переехал. Врага немало подавил! На параде Победы шёл в сводном полку знаменосцев Покрышкина! А сколь орденов у меня! Одной Красной Звезды три награды. Медали не считаю! Так, коршун или сокол? Вот о чём писать-то! Зайди когда-нибудь, такое расскажу — за жизнь не перепишешь.

Опять я что-то бормотнул и глянул недоверчиво на деда. Уж больно скучный, серый его вид не соответствовал образу бесстрашного танкиста в моём воображении. Я не собирался к Коршуну с визитом, и он прекрасно это понимал.

— Эх вы, говнюки-и! — Встал со скамьи, махнул рукой, пошёл через дорогу.

Кабы ведал он тогда, что мне приходилось писать о нём под диктовку бабушки! Но не в районную газету для рубрики «Нам пишут» и не о ратной славе бывшего танкиста, а жалобы на имя председателя Совета...

Случалось, приходил домой, а бабушка отхаживала вялого гусёнка.

— Изверг! Паразит! — стнала и грозила кому-то кулаками. — Опять злодей гусёнка загубил!

...Гусыня с выводком обычно паслась на бережку у озера. Бабушка вязала или вышивала, сидя под талинами в тени, случалось, засыпала ненадолго, а проснувшись, видела порой гусёнка изувеченным или вовсе недосчитывалась нескольких. Подозревала Коршуна.

— Он, душегубец. Он!

— А, может, бабушка, всамделишный коршун налетел? Ты же ведь не видела.

— Кабы, внучек, видела! Кабы увидела, я бы ему, вражине, зенки повыцарапывала. Он. Не сомневайся. У него об эту пору гусиная болезнь. Люто гуся ненавидит.

— Почему ненавидит, бабушка?

— Он мальчонкой в гусепасах пробивался. Ну и, видно, тешился мечтой о табунке, да гуси не прижились у него... То не выведет гусяня, то собаки подерут, то разом передохнут. Бился-бился — отступился, а зависть, видать, осталась, перешла в болезнь... Всё! Лопнуло терпение. Садись, внучек, пиши!

Я сажился и писал под диктовку бабушки: «Председателю Совета... Заявление... Прошу привлечь к ответу... за изуверство над гусятами...». Вписывал фамилии сельчан, у которых Коршун раньше изувечил или порешил одного или нескольких гусят...

Бабушка, диктуя, выпускала пар, и под столбцом фамилий на бумаге появлялась краткая дописка: «Можно не сажать злодея в заключение, а ударить штрафом по карману, чтобы неповадно было...».

Я составлял бумагу, зная наперёд, что хода ей не будет. То председатель сельсовета был в отъезде, то выпадало воскресенье. Бумага, сложенная вдвое, ложилась под клеёнку на столе...

Я так и не поверил бы в «гусиную болезнь» бывшего танкиста, если бы не случай. Приболела бабушка, и я был снаряжён взамен её на озеро. День выпал солнечным и жарким. Я накупался вдосталь, лёг ничком на ласковый мурок, изредка поглядывал на гусиный выводок, двигавшийся медленно к дороге, по которой скотники ездили на ферму, а Коршун — на поля. Мне бы повернуть несмышлёных к озеру, но, разомлев от зноя, я поленился встать. Моя гусяня между тем вышла на дорогу, и коlobки-гусята шустро покатались за опрометчивой мамашей. В это время случай вынес из проулка Коршуна верхом на рыжей кобыле. Старик пустил кобылу рысью, проехал мимо табунка, но вдруг остановился. Привстал на

стремена, обвёл вокруг глазами. Конечно, он меня увидел, но посчитал, что сплю. Взялся за поводья и повернул назад. Гусыня, видимо, почуяла опасность и, растопырив крылья, выгнув шею, пошла отчаянно на всадника... Но было уже поздно. Коршун, озираясь, занёс над головою плеть прежде, чем я вскрикнул, с силой опустил её на выводок. Гусыня взгоготала, распласталась по земле. В дорожной серой пыли слабо трепыхнулся жёлтенький комочек. Гусята врассыпную бросились с дороги...

Приладив плётку за луку, ударив каблуками по бокам кобылы, старик пустил её широким плавным махом. Я видел только спину...

* * *

Когда я повзрослел, то много размышлял о его судьбе. Всё было у него для беззаботной жизни: дом, хозяйство и достаток. Недоставало малости — табунка гусей.

Когда-то он просил написать о нём. Я и написал. Но, сказать по совести, до сих пор не разобрался, что в его судьбе — струя, что — поток, что — брызги.

Всё переврут

1

Начальнику Осихинского районного архива.

Здравствуйте, дорогой товарищ начальник!

С горячим приветом и массой наилучших пожеланий к Вам и Вашему семейству бывшая труженица колхоза им. Сталина, а ныне пенсионерка д. Новопетрухино Прииртышского совхоза Шипицына Марья Савельевна.

Во-первых строках моего письма, простите старуху тёмную, что не знаю Вашей фамилии, а также, как звать-величать. У кого из своих деревенских ни спрашивала, никто не подсказал. Не обессудьте: деревня наша махонькая, молодых раз-два и обчёлся, а с нас, гнилушек старых, какой спрос — мы и свои фамилии потихоньку забываем, потому как живём по старинке, друг дружку больше по кликухам знаем. Вам, человеку со стороны, наверно, покажется дико, а нам ничего — привыкли, будто так и надо.

Уж я совсем, было, отчаялась, не ведая Вашей фамилии, да, спасибо, квартирант Костя Шильников надоумил написать прямо на архив. Вы, товарищ начальник, моего квартиранта, должно быть, знаете. Его всякий в Осихине знает. Шоферил в сельхозтехнике, три осени кряду в нашу деревню на уборочную приезжал да и остался. Ради фельдшерицы Кати Полозовой. Катерина — девка видная, с дипломом. Но привередница, каких свет не видывал. Попервости глазки строила-строила, хвостом вертела-вертела, а как достроилась, довертелась, стронула парня с места, так назад пятки. Говорит, что больно Костя пресный, скучный. А чего зря хаять? На работе не нахвалятся, не бражничают, не хулиганит. Парень, каких мало!

Катерина раньше-то частенько забегала. Попроведует, давление измерит, укол, когда надо, поставит. А как с Костей разругалась, стороной обходит. Прокопается вот в ухажёрах-то, будет ногти крашенные грызть. Дюже парня жалко. То, бывало, вечерами дома не увидишь, а теперь на диване лёжкой лежит, книжки толстые читает. Целую гору начитал, сильно на них разозлился, кабы худо с головой не сделалось... Я вот множок ль покарябала, а зашумело в голове, круги пошли перед глазами. Опять давление скокнуло...

* * *

Однако, сильные таблетки Катерина прописала. Одну на-медни проглотила, и смануло меня в сон.

А ещё простите, что пишу, как курица лапой. Глазыньки мои от горькой жизни совсем никудышными сделались — строчки на бумаге расплываются. Да и грамотёшки чуть-чутьочек. Ни единого денёчка в школу не ходила, век на свете пешкой прожила. В школу время подошло, я, дурёха, в слёзы: милые маменька с тятенькой, буду по хозяйству помогать, сестрёнок буду нянькать, что хотите, делать стану, только не учиться. Пуще смертушки школы боялась. От горшка два вершка была, когда мама-покойница — царство ей небесное — показала, где её брательника, дядю, значит, моего, колчаки насмерть застрелили. Сперва плётками в деревне исхлестали, а потом озлились и в кустах за школой застрелили. Я мимо ходить и забоялась. Кого ещё понималато? Тяте по уму-то взять бы в руки дрын хороший да тем дрыном гнать меня, соплюху, до порога школы. Но родители иначе рассудили: не реви, глупышка, знать, не суждено всем учёными-то быть, кому-то и хозяйство надобно вести. И то: нас у мамы с тятей пятеро росло да, как на тятину беду, все девки, я третья по порядочку.

Хозяйство большое держали. А как прожить иначе? Такую, как у нас, ораву, прокормить, обушь, одеть надо было исхитриться. Уж за то маме с тятей спасибо и низкий поклон, что по миру нас не пустили. Если Вы, товарищ начальник, человек пожилой и крестьянского сословию, то мне

ли Вам расписывать, какая наша учёба была. И каково мне в жизни пришлось неучёной...

Я свою грамотёшку всю жизнь потихоньку осваивала. В покос перед войной меня к поварихе приставили. Колхоз поначалу хиленький был, откудава сразу богачеству взяться? Кормёжку варили покосникам жидкую, а мужики петрухинские — лбы, как на подбор, да на вольном воздухе промнут-ся, им только подавай, быка зараз умолотили бы. Из дому кто яичек, кто салыца, кто молока прихватывали. А больше, конечно, картошки родимой, она завсегда у нас удавалась — в худые годы яму насыпали. Повариха поспать здорова была. Вот и раззевается: ты, Марейка, с картошкой управься, а я малость подремлю, ночью что-то не поспалось. Ляжет и задаст храповицкого, а я за картошку, чтоб к обеду успеть. Сижу себе да чищу.

И вот однажды призадумалась, не заметила, как на картошинах букочки вырезала — «А» и «М». Аня, значит, и Маруня. Были в нашей бригаде Аня Веселова и Маруня Лизунова. У Аннушки картошка крупная да здоровая, что твои поросята, а у Маруни — мелкая, в ростках, и всегда издряблая...

Вырезала и оторопела. Стукнуло мне в голову, как слова из буквочки складываются. К Марунечкиной — Аннушкину, будет тебе «МА», а повторить — и «МАМА». Вскочила да и в пляс. Руки зазудились, давай «ТЯТЯ» вырезать. Заигралась, не увидела, как покосники приехали. Картошка не отварена, я в букварь играю. Повариху растолкали, та расчухалась и — в крик. Я, понятно, в слёзы. Мужики, спасибо, заступились: не плачь, Марейка, вари свою азбуку! Смех и грех. Вот, товарищ начальник, какая была моя грамота, злему татарину не пожелаю. Внучке рассказала, как азбуку осилила, так призадумалась девочка: «Трудная твоя азбука, бабушка!». Как не трудная? Ещё какая трудная!

Товарищ начальник архива, простите, что письмо нескладное и долгое выходит. Третий вечер у оконушка за столом слепую, а конца не видно писанине. Я всё одна и одна, квартирант не в счёт. Парень всем хорош, да молчун невиданный. Год, как квартирует, а не разговорится. А мне, старой, так-то одиноко станет иной раз!.. Много ль надо старушонке? О своём поплачусь, на душе и полегчает. Вот и карябаю,

будто с живым человеком балакаю. Всю свою жизнь описала б, да боюсь, на то бумаги и сил моих не хватит. Рученьки устали, глаза, как у Яхи Растопчина с похмелья, слезятся. Покуда из строя не вышла, спешу закругляться...

Я чего пишу-то? Где-то сразу после войны многие наши колхозники были награждены трудовыми медалями. Среди награждённых за доблестный труд была и я — Петрухина по девичьей фамилии. Лучшие лета на войну пришлось, а как она, Победа наша, в тылу ковалась-доставалась, про то, поди, не хуже знаете. Медаль вручал Иван Батулин из райцентра. Фронтовик, мужчина обходительный. Мало в жизни таких-то мужиков встречала. Каждого за труд благодарил, об ручку с каждым попрощался. Всем колхозом провожали...

Не сохранила я медаль. Почему не сохранила — долгая история. Не сочтите за труд, поднимите архив, подтвердите награду. Пока мало-мальски шаперюсь, хочу в хозяйстве прибраться, в богатстве своём порядок навести. Перемерём, кто за нас похлопочет?

Ещё раз простите, что отрываю от дела бестолковой своей писаниной. Жду ответа, как соловей лета.

Ко всему, пенсионерка Шипицына.

2

Начальнику районного архива.

Лети с приветом, вернись с ответом!

Здравствуйте, дорогой товарищ начальник! С чистосердечным приветом опять я, старушонка настырная. Во-первых строках моего письма, простите, что пишу, не дождавшись Вашего ответа. Душа моя не терпит. Я к осени совсем никудышной становлюсь, еле ноги волочу, вся снутри больная. Вскоре после письма слегла в совхозную больницу — думала, не оклемаюсь. Верунька забегала, дочка с зятем навещали, даже Костя-квартирант заехал попроведовать. Вот тебе и пресный! Вот и равнодушный! Видно, с добрым сердцем, да Катерина извела...

Вот Костя мне и говорит: зря, Савельевна, хлопчешь, от медальки проку тебе мало. Другое дело — Яхе Растопчину. Тот, как поддаст, медаль «За отвагу» на грудь и полный вперёд к магазину, и все перед ним расступись — льгота позволяет. Квартиранту что забавно? Что век свой бабка без медальки прожила, а тут вдруг кашу заварила. Вроде бы и верно, к чему вся эта канитель? Только я ведь внученьке медальку посулила. Верунька — девочка сурьёзная, в пятый класс учиться ходит. С нею не соскучишься. Звенит и звенит, что тебе колокольчик. Летом гостевала у меня. Сидим у телевизора старая да малая. И показали похороны. Хоронили человека не простого — важного: то ль министра какого, то ли генерала, а то бери и выше. Музыка тоскливая играла, народу шло за гробом видимо-невидимо, во всей деревне нашей столь уже не наберётся. И люди всё солидные, не с нами в ряд поставить. А впереди военные несли чёрную подушку, всю в орденах-медалях. Сказали, что покойник с 21-го году рождения. И жалко мне стало его, как своего деревенского. Ведь Степан мой — царство ему небесное — тоже с 21-го. Обоим ещё бы пожить, да, видно, так на роду этому году написано...

* * *

Я на чём вчера остановилась-то? Да, вот и жалко мне стало человека. Видно, много он добра поделал людям, если столько народу проститься пришло, к плохому не придут. А внучке любопытно: зачем дяденьки военные медали-ордена несут? А затем, отвечаю, чтобы все увидели, какой человеку почёт и уважение. Трудную жизнь дедушка правильно прожил. А ты, бабуля, правильно жила? — внучка-то моя! Если правильно, где твои медали? Вот ведь задала вопрос! Ребёнок, что хотите. Столько, сколько дедушка, я не заслужила, отвечаю внучке, но одну, мол, заработала. «За блестящий труд» называется. Верунька и пристала: покажи да покажи. А показать и нечего... Знаете, наверное, какво дояркой быть. С темна до темна на ферме, а детишки беспризорные. Дочери послушными росли — девчонки есть девчонки, а младший — Толик — бедокурил. Дома остался один, из

голика-веника костёр на полу сложил, соломой сверху при-
трусил, а на солому — хрюшку казеиновую. Видел, как сосед
Сахнов Тимоха хряка осенью смолил. Хрюшка полыхнула,
огонь на занавеску. Толик мой переполохался и — дёру. Ти-
моха с Растопчиным Яхой дым из окошка увидели — стены
лишь и отстояли, всё, что было, погорело.

Товарищ начальник архива! Пособите мне, неугомонной,
до конца своих дней благодарная буду. Остаюсь жива-здоро-
ва, чего Вам и Вашему семейству от души желаю!

Ко всему, пенсионерка Шипицына.

* * *

*Новопетрухино Осихинского района.
Шипицыной М.С.*

Настоящим сообщаем, что в Осихинском районном ар-
хиве документы за 1937 — 1956 гг. не сохранились.

Ваш запрос послан в Среднесибирский областной архив.

Зав. райархивом Чередова.

3

Начальнику Среднесибирского областного архива.

Горячий привет из Новопетрухино!

Здравствуйте, дорогой товарищ начальник! Во-первых
строках моего письма, Вы, наверно, догадались, с какой ве-
ликой просьбой обращаюсь. Пождала-пождала я Вашего от-
вета на запрос районного архива и не утерпела, за что прошу
великодушного прощения. Уж больно хочется скорей чего-
нибудь дождаться. Ведь я чего переживаю-то и Вам покоя
не даю? Вот хоть убей, не понимаю, где же наши документы
и как так — не сохранились? Куда ж они девались? Ладно,
если к Вам на сохранение сданы, а если не сданы? Много
разных думок передумала. Это раньше думать было некогда...

И вот что мне надумалось: помрём, так ведь без документов всё, что пережили, переврут да перепутают. Никто не разберёт, где правда, а где ложь. Жалко, если эти годы без следочка канут, как мой колхозный стаж. А мой колхозный стаж пошёл коту под хвост. До сих пор не понимаю, пошто наш труд за труд не посчитался? Можно ли из памяти вычеркнуть такое? Какое сердце надобно иметь, чтоб вычеркнуть не дрогнула рука?

Квартиранту вот пожалилась, а ему смешно. Какая разнища, сказал, если общий вдвое перекрыла? Верно, перекрыла. На две пенсии стажу наработала, денёчка просто так не посидела, и ещё бы робила, кабы не обезручила. Но обидно, что наш труд ничего не стоил... Что внушенька о бабушке узнает? Древнюю историю проходит, а к нашей и не подступилась. Я об этом тоже думаю: с того ли края дети за историю взялись? С мартышек, от которых, прости Господи, род людской пошёл. Всё это, может, по науке, но всё равно не так. С другого края бы приняться, пока старичье ещё живо. Время-то уходит! В деревне стариков заметно поубавилось. Из фронтовиков, однако, двое и осталось: Сахнов Тимоха да Растопчин Яха.

Простите, товарищ начальник архива, что строчки заплетаются. Хоть чуточек поволнуюсь, глазыньки не видят, очки не помогают. Голова опять же разболелась. Однако Костюквартиранта пошлю за Катериной...

На этом закругляюсь, жду скорого ответа.

Ко всему, пенсионерка Шипицына.

* * *

*Новопетрухино Осихинского района.
Шипицыной М.С.*

В акте вручения медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» Осихинским райисполкомом колхозникам колхоза им. Сталина значится Петрушина Мария Савельевна.

Петрухина (Шипицына) в акте не значится.

Списки колхозников, представленных к награждению, в архив не поступали.

Директор архива Огородников.

4

Директору Среднесибирского архива.

Дорогой товарищ Огородников!

С пламенным приветом к Вам и Вашему семейству пенсионерка Шипицына. Во-первых строках моего письма, Ваш ответ получила, за что сердечное спасибо, не знаю, чем благодарить. Остались люди добрые, не все перевелись! Не даром, значит, хлопотала, ноченьки высиживала. Если б знали Вы, товарищ Огородников, какую радость мне великую доставили!

Ответ угодил в аккурат на квартирантову свадьбу. Народу много съехалось. К Катерине городские, с жениховой стороны почти пол-Осихина. А главное — Костина мама приехала. Как увиделись мы с нею, так и бросились друг к дружке, обнялись, наплакались. Всю войну в одной бригаде проищали, замуж вышли — растерялись. Лена Шильниковой стала, я — Шипицыной... Верочке ответом Вашим похвалилась, то-то радости было звоночку — в каждом письме о медальке справлялась.

А то, что в акте значится Петрушина — ошибочка, товарищ Огородников. Колхозница Петрушина — это я, Петрухина. У нас в деревне все Петрухины, Петрушиных не помним. А чтобы Вы поверили, шлю Вам фотокарточку. Растопчин Яха подарил для доказательства. В день вручения медали нас всех сфотографировали. Чтоб Вы сразу меня разглядели, себя обозначила крестиком на кофточке. Не смотрите, что на карточке я сжалась, как воробушка, — с непривычки оробела.

Исправьте мне ошибочку, товарищ Огородников. Низкий Вам поклон за хлопоты!

Ко всему, пенсионерка Шипицына..

* * *

*Новопетрухино Осихинского района.
Шипицыной М. С.
ВТОРИЧНО.*

В акте вручения медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» Осихинским райисполкомом колхозникам колхоза им. Сталина значится Петрушина Мария Савельевна.

Петрухина (Шипицына) в акте не значится.

Директор архива Огородников.

5

Начальнику Ленинского РОВД Среднесибирска.

Уважаемый товарищ начальник!

На днях в Среднесибирске за нецензурный скандал в областном архиве дежурным нарядом милиции был задержан житель нашей деревни водитель Шильников К.Г. Так как он человек молодой и горячий, то в сердцах слегка переборщил при разговоре с директором Огородниковым. Не одобряя действий Шильникова, просим Вас учесть, что на работе и в быту его знают как облупленного, порядочного парня. Просим сделать снисхождение и освободить его из-под стражи. Надеемся дождаться Шильникова к пятому числу на девять дней Шипицыной М.С.

*Ко всему, Веселова, Лизунова,
Сахнов, Растопчин,
Шильникова...*

Ниже — подписи неразборчивы.

Чужая музыка

Жуткую весть привёз Витька Скобелкин...

Был день как день. Суббота. С утра Таисья управилась по хозяйству, в доме вымыла полы, в баню воды натаскала. С часок поокучивала на огороде картошку и, томясь неопределённостью, вышла за калитку. Оказалось, вовремя. По дороге только что пропылил городской автобус и остановился в аккурат против дома Скобелкиных.

«Однако, прибыл на побывку мой дед!» — Таисья обрадовалась и встревожилась разом. Подумала, отпустили Ивана из больницы на субботу-воскресенье в баньке помыться-попариться. Но знала и другое: если сегодня отпустили, значит, на той неделе не выпишут, неизвестно, сколько пролежит. Худо, стало быть, дело.

Вот уже месяц лежал Иван в областной больнице, язву желудка признали. Деда пичкали таблетками, поили микстурами, запретили то и это, но главное — курево. Без курева он заскучал, сделался капризным, несговорчивым. А улучшения не наступало.

Таисья из-под руки всмотрелась в приезжих.

Первой из автобуса вышла Марфута Вдоль-и-Поперёк — сродного Иванова брата, Тимохи Киселёва, жена. Круглая, с красным отечным лицом, в кофте на булавках вместо пуговиц. Одышливо мимо прошагала, не поздоровалась.

«На свидание ездила к Тимохе», — догадалась Таисья.

Тимоху осудили осенью. В уборочную ночь загнал комбайн во двор сельповского шофёра Пашки Кудлёнка и за полтора обещанных червонца ссыпал в короб бункер пшеницы. Кто-то, видимо, донёс. Кудлёнок — мужик изворотливый, вышел сухим из воды, а Тимоха пострадал. Иван до суда с глазу на глаз с ним встречался. О чём говорили, неведомо, только Марфута с тех пор дулась...

За Марфутой Вдоль-и-Поперёк Витька Скобелкин показался, через дорогу к дому поковылял. В одной

руке — картонная коробка, другую — свободную — над головой вскинул, пальцы в кулак.

— Здра жла, тётъ Тас!

— Ба-а, сосед! Здоровкались уже!

— Так то — утречком! — Витька подошёл. Вид праздничный: свежая стрижка, пёстрая рубашка, наглаженные брюки. В улыбке расплылся. — Не меня ли поджидаешь?

Автобус лязгнул дверцей, дальше попылил.

«Нет моего Ивана, — вздохнула Таисья. — В понедельник буду ждать».

— А то кого же, — ответила Витьке. — Стою вот, гадаю, куда мой соседушка с утра запропастился. А он — вот он, с городу явился. Да блеснит, как стеколушко. Нешто в лотерею выиграл?

— В лотерею невезучий, но в музтоварах кой-чего отхватил. — Витька тряхнул над головой коробкой.

Таисья разглядела на крышке изображение.

— Радио, однако?

— Сама ты радио! Не видишь — маг. Иностраня. Вон, не по-русски написано...

— Тогда коне-ечно, если не по-русски! Не баран чихнул. И сколько она стоит, эта иностраня? Рублей сто, не меньше?

Витька пренебрежительно сплюнул в сторону.

— За сто рублей купишь, ага. Патефон с ручкой. Я на эту музыку весь капиталец бухнул.

— И не жалко?

— Капиталец-то? Не-а. На то и трудимся, тётъ Тас, чтоб чё-нибудь куплять.

— Братовья увидят — выцыганют, — предупредила Таисья. — Они хитрые у тебя, братовья-то. Свои денежки в кубышку, а на твои косятся. Не давай, ну их!

— Жирно будет! — Витька любовно огладил коробку. — Пойду опробую капиталиста, дам заразе испытание. Приходи, тётъ Тас, как управишься. Брейк-танец будем репетировать.

— Приду, — обещала Таисья. — Вот только туфли на шпильках надену, чтоб звончей стучать. Заводи свою иностраню.

Витька хмыкнул, к калитке подошёл, но обернулся.

— Тётъ Тас, чего Натаха-то давече приезжала?

— Соскучилась, вот и приезжала.

— Просто так? И ничё не сказала? Интересно, тесто пресно. — Витька плечами пожал недоумённо.

Таисья ухо направила.

— Ну, ну, договаривай!

— Да Марфута Вдоль-и-Поперёк разное болтает. Будто в магазине у Натахи ревизия.

— Ну и что, что ревизия? Она у них часто бывает!

— Да будто у них там растрата или излишки. Не знаю.

Милиция будто шерстит.

Таисья от Витьки рукой заслонила.

— Чего ты собираешь-то?!

— Не пужайся, тётъ Тас, — Витька засмеялся. — Или ты Марфутушка не знаешь? Ей соврать, что в лужу дунуть. Как дядю Тимоху посадили, всех бы за решётку упрятала, в каждом вора видит. Ну ё!

— А я не испугалась, с чего ты взял? — поспешно ответила Таисья. — Я за дочь спокойна. Марфуте верить как? Всю деревню грязью облила. До нас очередь дошла.

— Ну, значит, я пошёл! — За Витькой щёлкнула калитка.

Таисья, ошарашенная вестью, побрела на огород. Вновь за тяпку взялась. Вскоре от Скобелкиных скрежетом и воплями ударила Витькина иностраня. Таисья присела на краешек навозного вала, разделявшего соседские огороды...

* * *

Звучала музыка чужая, непонятная.

Таисья любила старую Витькину музыку. В сенцах под окном у Скобелкиных с давних пор стоял громоздкий приёмник с проигрывателем. Витька часто и подолгу гонял на нём одни и те же пластинки, Таисья знала их наперечёт. Ей особенно нравилась «Ах, Наташа». «А-ах, Наташа, что-о мне делать?» — с болью вопрошала певица, и душу бредила песня. «Старый сад» тоже любила. «На свете ничего не повернуть назад...». Золотые слова.

Много добрых песен имелось у Скобелкиных. И Таисья любила их больше за то, что все они были песнями дочериной молодости. И Витькиной тоже. Обоим уже по тридцать...

Теперь у Натальи своя семья, другая жизнь, иные песни. А у Витьки всё прежнее. Уж как за Наташкой ухлёстывал — в зятя прочили. Не судьба. В одно лето взялась молодёжь на мотоциклах гонять. Как с ума посходили. Шум, треск. Предупреждали: быть беде. Куда-а там! Догоняли. Выходить — выходили Витьку, но на обе ноги охромел — коленные чашечки побил. Всё мимо прошло — армия, женитьба. На подхвате у шабашников подвизался — наряды им писал. За то держали, что дед Скобелкин пустил их на постой в старую избу. И будто из семнадцати годов никак не выйдет. Те же пластинки и Наталья на уме. А Наталья, дурёха, потешается, ей в забаву...

«Ох, Наташка, Наташка! Спроста ли, в самом деле, приезжала?»

* * *

Дочь в последнее время приезжала редко.

«Конечно, — в сердцах укоряла Таисья, — вы теперь опушились, в стариках не нуждаетесь!»

Дочь отвечала: «Вот купим скоро «москвича» — глаза намозолим, не обрадуетесь!»

«Москвича» купили — с гаражом проблема. «Вот гараж построим!..». И гараж построили. Тут зятю квартиру дали. Двухкомнатную, в центре города. А квартиру до ума довести — на полгода работы. Опять причина. Потом о дачке заговорили...

А в среду прикатила. Нежданно-негаданно. Одна. Таисья как раз окучивать начала. Спину разогнула — глазам не поверила: Наташка! Бежит огородом. Тяпка у Таисьи выпала из рук — не с Иваном ли беда?

«Соскучилась, мама. Слов нет, как соскучилась!» — Наталья в щёки мать нацеловала, в дом потянула, сели за чай. «Три дня в счёт отпуска взяла», — сообщила за столом.

Тараторила без умолку и, как в детстве, ластилась, а глаза — печальные. Таисья недоброе заподозрила:

«Ты, девка, не от Стаса ли сбежала? — спросила осторожно. — Не поцапались ли с ним?»

«Да ты чего себе вообразила? — вскинулась Наталья. — Стас мой — золото мужик. Ты же знаешь, мама, — непьющий, некурящий... Всё до копейки в дом несёт, с чего бы нам поцапаться? Ангелок мой Стасик!»

«Что правда, то правда, — согласилась Таисья. — Ты нос перед ним высоко не задирай, попусту не фыркай».

Посидели, поговорили — вновь на огород. Наталья до купальника разделась. Взяла в руки тятку — ловко получалось, не отвыкла. Витька на обед прошёл. Наталью увидел — работе конец. Музыка завёл. До поздней ночи «Ах, Наташа» звучала. Ночи тихие — далеко слышно. Наталья слушала-слушала — вздохнула: завидую Витьке... Вот бы мне хоть на денёчек в прошлое вернуться. Устала я, мама. Знала б, как я устала!»

«Ещё бы, — посочувствовала мать, — три часа в такую духотищу в автобусе томила, и я, рогожа старая, на огород с дороги загнала!»

Наталья рассмеялась. Странно как-то рассмеялась...

* * *

Не утерпела Таисья. Тятку бросила, в дом зашла. Передник на себе сменила и — к Марфуте Вдоль-и-Поперёк. Разбираться. Решительно настроилась...

На ходу распахнула калитку. В углу двора высилась горка берёзовых чурок. У крыльца, острой мордочкой тычась в ступеньку, истошно визжал поросёнок. Двери сеничные настезь. В избе топилась печь. Стойким духом распаренной картошки шибануло в нос. В чугуне, обдаваемом накипью, пыхтело поросёныш. Запустением пахнуло из углов... У печи, сложив руки на колени, недвижно сидела хозяйка. Медленно повернулась на шаги, большие тусклые глаза сузились в ядовитом прищуре.

— Пожа-а-аловала, значит? Не побрезговала к ворам-то?

От вызова Таисья уклонилась. Улетучилась воинственность. Жалость к Марфуте сковала, Была Марфута

Вдоль-и-Поперёк — стала мяч приспущенный. Лицо — отечное, серое, в складках, веки — красные, припухшие, под глазами — синё. Несладко, видно, без Тимохи.

— Потчевать не стану и присесть не предложу!

— Не язык чесать пришла. — Таисья приступила к делу. — Кто тебе про Наташку наплёл? Иль сама со зла придумала?

— С чего бы я придумала? Ни полслова не прибавила. За что купила, за то и продала.

— У кого купила?

— У людей. Есть, которые знают. И ты, конечно, всё знаешь. Не ломай комедию.

— Ты мне всё же скажи, про что я знаю-то?

Марфута нервно рассмеялась. Чёрная, с горошину, родинка на щеке вверх-вниз забегала.

— За деньгами дочка приезжала. Чтоб растрату покрыть, от суда откупиться... Всё-ё ты знаешь, не юли!

Таисья побледнела, по лицу ладонью провела.

— Говори, да отвечай за свои слова!

— А-а, не ндра-а-авится? Не ндравится в ворах ходить? Мы, значит, воры, а вы честенькие, да?

— На чужую копейку не зарились!

— Зато дочь не побрезговала!

— Ты мою дочь не марай!

— Зна-аем, на какие доходы дочка твоя распушилась. На трудовую копейку этак не размахнёшься. Проворовалась!

Кровь в виски бросилась Таисье, в глазах, как от удара, потемнело.

— Врё-ёшь, бесстыжие твои шары!

— Не ндра-а-авится?!

— На один аршин всех не меряй. Мои живут честно. У Наташки мужик — работяга, и сама без дела не сидит!

Марфута тоже распалилась — щёки пятнами пошли.

— У Наташки оклад девяносто. И Стас не тыщи получает!

— Сколько ж в тебе злобы! — враз обессилела Таисья. — За Тимоху мстишь? Кому? Мне или Наталье? Или — Ивану? Разве он Тимоху посадил? Жадность Тимоху в тюрьму загнала!

— А вы не стройте честных из себя! — талдычила Марфута. — Вам тащить неоткуда, потому и не тащите. Все тащат.

Кто где может, там и тащит. Один больше, другой меньше. Все! Ишь, че-естенькие мне!

— Врешь ты всё, Марфута! — Таисья спиной к косяку прислонилась.

— Слушай, раз пришла. Слушай правду-матку! — брызжа слюной, ликовала Марфута. — Все заворовались! Погловно! На Тимоху, бедного, молитесь, он за всех страдает. И пусть Иван твой дочерю стыдит, а не моего Тимоху!

* * *

С прежней силой у Скобелкиных гремел магнитофон. Витькины братья с жёнами, как всегда по субботам, сходились к родителям. Пора было доить корову, управляться по хозяйству, но Таисья не спешила, рукам не искала заделья. И в дом бы не входила... Там, куда ни глянь, везде Натальины следы. Заколки для волос на подоконнике, духи на холодильнике, раскрытая на выкройках «Крестьянка».

— «Ох, Наташка, Наташка! Трое суток дома побыла, а сколь тоски наделала. Лучше б ты совсем не приезжала!»

Не верилось в Марфутины сплетни, но душу сомнение точило.

«А вдруг?.. А что, если... Зачем-то ведь являлась?»

Ни сном ни духом не ведала Таисья, какую думу неотвязную принесёт суббота...

Три года назад Наталья приезжала с мужем на Первомайские праздники. «Машину, мама, будем покупать!» Таисья сразу-то мимо ушей пропустила, а ночью раздумалась: на какие шиши покупать? Машину!

Всю жизнь с Иваном спины не разгибали, просвету в работе не видывали, раньше срока состарились, а всего-то и скопили, что на дом. И копейкой не гнушались. Поросят на продажу откармливали, картошку выращивали. Мясо, масло, молоко, овощ всякий — всё своё, не куплено. Горбом доставалось. У Ивана, может, оттого и желудок нарушен, что всю жизнь всухомятку. То он в поле, то в лесу, то на покосе... Кто там горячим накормит? А дочка с зятем раз-два и — в дамки. Машину покупать!

Наутро Стас с Иваном в лес уехали. Делянку под дрова отвели в тот год аж в десяти верстах. Иван с корня навалил загодя, оставалась раскряжёвка, и чтоб туда-сюда впустую не мотаться, мужики отправились с ночёвкой. Случай у Таисьи подвернулся — остались с дочерью вдвоём.

«Вам не свёкр со свекровью на машину подкинули?» — спросила как бы походя. «Ещё чего, — с гонором ответила Наталья. — Сами с усами!» — «Большие ведь деньги!» — «Деньги, мама, не проблема, — отшутилась дочь. — Проблема — где и как их взять!» Таисья походила-походила — снова как бы ненароком: «В Бобровке, слышно, продавщица сбедокурила. Яблоки по рубель шестьдесят продала за рубль семьдесят, а разницу в карман. Стыдоба и срам. Трое ребятишек и мужик — директор в школе».

Наталья глаза округлила, ойкнула тихонько: «Ты чего это, мама, держишь себе на уме? Неужели думаешь, что я... что мы... способны?» — «Ничего такого я не думаю, — устыдившись, перебила мать. — Уж и сказать-то ничего нельзя!» У Натальи слёзы проступили на глазах от смеха. «Ты чего себе вообразила? Оклад, конечно, невелик, но ведь плюс и прогрессивка. Стасу двести рэ установили, премия приличная. Первый мастер в городе по телекам. Не за спасибо крутится, понятно. Хочешь жить — умей вертеться. Деньги сами придут, деньги делать надо. Такая, мама, жизнь настала».

И хоть слово «делать» немножко покорибило, Таисья успокоилась. «Сделать» — не украсть. Другая жизнь — иные песни... Разве всё понять, что ныне происходит?

Поздно вечером зашёл Петро Козырев — бригадир шабашников. В запалённых кирзачах, в пропахшей деревом спецовке. Лишь Тимоха Киселёв выше Козырева ростом. Борода у бригадира не то, что у Стаса — три хилых волосинки, а густая, с проседью, в опилках. Каждый вечер для Петра Таисья оставляла литр молока. Он заходил после работы — дом из бруса ставили совхозу, залпом осушал банку, утирал усы ладонью. Таисья улыбалась одобрительно. «Так я же взрос на молоке!» — пояснял Петро.

И сегодня он привычно прошёл к холодильнику, взял в медвежьи лапы банку, влил полноремы внутрь усов и бороды.

— Это, — сказал, отдышавшись, — завтра стюкаю ворота. Как и обещал.

Таисья, любяясь Петром, машинально кивнула.

Ворота — тоже дочери придумка. «Ты с Петра копейки не бери», — перед отъездом наказала. «Почему? — удивилась Таисья. — Молоко — не вода, оно денег стоит». — «Не бери, я с Петром договорилась, он ворота сменит. На всей серёдке лишь у вас ворота развалились, грибок уже взялись». — «Давно с отцом об этом говорим, — согласилась Таисья, — то тёсу нет, то денег, то самого не дождусь из больницы». — «Будут вам ворота!» — обещала дочь...

Петро допил молоко.

— Добре, тётка!

Таисья прикрыла за ним дверь, разобрала постель, потушила свет. И, вопреки опасениям, сразу же и заснула.

* * *

Свет за окном легко проткнул июньский сумрак, белый отсвет метнулся по горнице, скользнул по лицу. Таисья приоткрыла глаза, раздвинула занавеску, прильнула к стеклу. С дороги к забору медленно пятился грузовик.

«Кого серёд ночи несёт?» — Со спинки стула сдёрнула халат, набросила на плечи...

Грузовик, чихнув у забора, заглох. Не зажигая света, Таисья вышла на улицу. Взбренчав тяжёлой цепью, запоздало твякнул Витькин кобель Кум. С крыльца Таисья разглядела в кузове мужчин. В одном по росту угадала Петра, в другом — вертлявом коротышке — Кудлёнка Пашку.

Задний борт кузова бесшумно отпал.

— Вы чего? — окликнула Таисья. — Чего вы тут позабыли?

На машине замерли.

— Напугала! — сплюнул Петро Козырев. — Матерьялу вот привёз... На ворота.

Через забор полетел брусок, другой, третий... Россыпью ахнули на землю тесины.

И до Таисьи вдруг дошло: краденые брусья. И тес тоже краденый. Потому и ночью привезли...

— Стойте! — вскрикнула она. — Не сгружайте! Кто велел? Кто распорядился?

Кудлёнок подмигнул.

— Не трусись, хозяйка. Под навес перетаскай, и все дела. Кто там будет разбираться, откуда доски!

— Ты это, тётка, не дури, — усмехнулся Петро.

— Вези туда, где взял! — стояла на своём Таисья.

Петро посуровел.

— Мне больше делать нечего, как с досками таскаться?

— Мне воровано не нужно!

— Во даёт! — восхитился Кудлёнок.

— А идите вы! — в сердцах махнул рукой Петро. — У меня не своя лесопилка! Дочь твоя о том не знала?

Осеклась Таисья. Знала. И Наташка, и она, рогожа старая, знала. Но не подумала, чем обернётся. В мыслях не держала.

— Давай гони назад — приказал Петро Кудлёнку. — Не ровен час, попухнешь с этим тёсом!

Кудлёнок прытко вскочил в кабину, Петро сплюнул под ноги и молча ушёл.

Таисья по брусочку, по тесинке стаскала привезённое под навес. Что оставалось делать?

* * *

Теперь заснуть оказалось непросто. Таисья долго лежала с открытыми глазами, поминутно взглядывала в окно. То ей чудилось шарканье шагов, то, казалось, тень скользнула через дорогу. Задрёмывала и видела Тимоху Киселёва, расстрёпанную Марфуту, повисшую на мужнином плече, дочь с упрёком в смеющихся глазах: «Ты чего это держишь себе на уме?» — вопрошала Наталья. «Все молитесь на Тимоху, он за всех страдает!» — ликовала Марфута.

Вновь пробуждалась Таисья, тарасилась на потолок. Мысли о дочери одолевали. «Ох, Наташка, Наташка! Наворочала девка делов! Хорошо, что Иван не приехал сегодня...».

Вспомнился вечер после суда над Тимохой. «Не больно ли с ним круто?» — с надеждой на сочувствие спросила у Ивана. «Что, пожалела? — взвился Иван. — В войну с ним

лебеду жрали! Почему тогда не воровал? Тогда б и я, может, пожалел. А сейчас — нет, не жалко. По заслугам!» — «Охо-хо! — вздохнула Таисья. — Нешто, правда, жизнь другая?»

Ах, эта Витькина новость! Тёс этот, будь он неладен!

Была непонятная связь между краденым тёсом и Витькиной вестью.

Таисью знобило. Она с головой накрылась одеялом, боком вжалась в перину, но дрожь не унималась. Сбросила с ног одеяло, взад-вперёд по горнице прошла. Сняла с гвоздя Иванову фуфайку...

На востоке коромыслом высветлялся краешек неба. Фиолетовый сумрак ночи переходил в предрассветную синь. Тихо было. Таисья подошла к штабелю, постояла в раздумье. У Скобелкиных скрипнула сеничная дверь. Таисья вздрогнула, метнулась в сторону, под навес. Жаром обдало лицо, во рту осушило.

Витька в трусах и майке вышел на крыльцо. Зашёл за угол. Звонко шлёпнула резинка трусов...

— Прости меня, грешную, Господи! — перекрестилась Таисья. Запахнула на себе фуфайку, сдёрнула со штабеля тесину, взяла конец под мышку. Прямиком по улице до стройки — метров сто, не больше, а в обход — проулком, задворками — все двести. Двести метров позора...

Рассвет встретила на ногах. Начался новый день. День как день. Воскресенье. Таисья подоила корову, процедила молоко. Отдохнуть на крылечко присела. У Скобелкиных музыка заиграла. «А-ах, Наташа, ах, подружка!» — полилась старая песня. Хорошая песня. Таисья встрепенулась, вслушалась. «Вот и выцыганили братья иностранию, — догадалась. — Остался Витька на бобах!»

Малыги

В воскресенье был на рынке. Битый час бродил вдоль крытых торговых рядов, присматривался, приценивался, но покупать ничего не покупал и уходить с пустыми руками не торопился. На торговцев, что в сумрачный осенний день за прилавками от холода приплясывали, и внимания-то не обращал — все они в последнее время кажутся мне на одно лицо, примелькались. А тут будто кто-то локтем в бок — глянь-ка, кто перед тобой. Глаза приподымаю — боже мой, Малыга. Юрчик!

Молодая темноликая женщина в наброшенной на плечи меховой куртке сидела на складном низком стульчике, в руке держала дымящуюся сигарету и прямо-таки складывалась напололам от сотрясавшего её смеха. А Малыга, землячок мой, на корточках подле неё. Коренастый, головастый, в коричневой кожанке, с выбритым затылком, со знаменитой на деревне резиновой улыбочкой от уха до уха... Зубы скалит. Забавляет.

«Да Малыга ли это? — все ещё не уверяюсь, не решусь окликнуть. И так, и этак погляжу, и сбоку, избоку гляну, — нет же, нет, не обознался. Он. Рот не укоротишь. И седёлку носа не выпрямишь. Как у нас в деревне старики говаривали — куда породу денешь? Малыгина порода!»

Торговка между тем ненароком встретила мой взгляд, кивнула на меня собеседнику: обслужи, мол, покупателя. Тот в два прыжка к прилавку с наигранной учтивостью:

— Чего изволим, сударь?

«У-ухарь-купец!»

По разложенным напоказ шмоткам туда-сюда глазами пробежался, соображая, очевидно, что бы там такое могло меня привлечь.

— Юрчик? — спрашиваю тихо. — Малыга? — уточняю неуверенно.

На уголках его фамильных безразмерных губ повисла глуповатая улыбка, веки дрогнули, подглазья сбежались

в розовые сеточки, но тотчас и разгладились, улыбка улетучилась, а глаза вдруг обрели холодный, хамский блеск...

— Малыги вон, на входе, с протянутыми шапками! — ответил-отчеканил он и отвернулся, и добавил, выдавив сквозь зубы, обращаясь не ко мне, а уже к торговке. — Нашёл мне тут какую-то малыгу!

Вот так оплошал я!

Вот так отбрil меня земляк!

Да и поделом. Какой же он теперь Малыга?

* * *

Жил-был в моей деревне мужичок один. Малыгиным его не называли даже в сельсовете. Так Малыгою и помер...

А интересный был мужик! Таких, как он, теперь по всей России наверняка уже не встретишь. Не знаю, как насчёт добра, но зла этот неказистый мужичонка с белесыми бровями точно никому не причинил, разве только самому себе по недомыслию природному...

Но прежде, чем об Юркином отце, немножко о Малыгедде. Юркин дед был тоже малый интересный. Жива история о том,

Как Малыга-дед уехал на войну

Погрузили призванных на колхозные подводы, чтобы везти в райцентр, на сборный пункт. Мужики, кто пьян, кто трезв, с семьями прощаются, бабы голосят. Малыжиха, бедняга, громче, горше всех. Шутка ли, одна с семерыми остаётся. Заламывает руки, в голос причитает, наказывает мужу:

— Да не потеряйся там иде-нибудь! Держися мужиков! Доедешь, так письмишко черкани... Листик положила, огрызок положила...

Малыга недоумевает:

— А растуды твою кулёму! Как же черкану, если я неграмотный!

— Да попроси там мужиков! Мужики помогут!

— Так ведь табаку, небось, потребуют!

— Ну и отсыпь щепотку!

Малыга — скрепя сердце:

— Ну, если на закруточку! — И, озадаченно моргая, спохватывается вдруг. — Тю-ю, куда ж я напишу-то? Ты ж мне адрес не оставила!

Мужики со смеха попадали с подвод.

А бедная Малыжиха слезами обливается.

— Глупой. Совсем глупо-ой! Чую, не воротисси!

— Ладно хоронить-то! Буде причитать!

— А как не причита-ать? Семеро сиротами останутся! Другой под пулю не полезет, а ты сглупу сунесси. Чует моё се-ердчишко!

— Да растуды твою кулёму, я вам навоюю! — хорохорится Малыга. — Одного-двух уложу, свою норму выполню — к покосу ворочуся. Ставь к покосу бражку!

— Глупой ты, разглупо-ой!..

Как в воду глядела Малыжиха. Ни «листик», ни «огрызок» Малыге не понадобились — уехал и пропал. Ни письма, ни похоронки... Сэкономил на закрутку.

А старшенькому — Прошке — в ту пору шёл двенадцатый годок...

* * *

На восемнадцатом женился. Взял из соседнего села дочку фуражира Федору Коновалову — деву нелюдимую и мрачную. Жена у фуражира молодою померла, оставила в наследство дочь на выданье и полный двор скотины — Федора управлялась. С хозяйством засиделась...

И сразу пошли дети. В двадцать три имел Малыга четверых парней — Ермоху, Стёпку, Ваньку и грудного Юрчика. Все, как один, большеголовые, безбровые, губастые...

— Ну, Малыга, наклепал, как по трафарету! — смеялись мужики.

Тот самодовольно усмехался:

— Зато все мои, никто не скажет, что есть лишние!

Чумазые, сопливые, малыжата день-деньской носились шумной стайкой. Обуви не знали с Пасхи до Покрова, случилось и по снегу шлёпать босиком, но никакие хвори к ним

не приставали. Новые штанишки получали к осени, перед самой школой. Малыга покупал чёрного сатину, Федора шила шаровары с широкими, шуршащими штанинами на резинках снизу. К новым шароварам полагались свеженькие майки. То-то было радости!

Детей Малыга по-своему любил и баловал по-своему. Как-то раз Федора отправила его в райцентр за сандалиями старшим. Малыга заглянул в универмаг, перебрал всю обувь, выставленную там на обозрение. Вид «дырявых» сандалет его обескуражил. Решил купить ботинки, но выданных Федорой денег хватало только на Ермоху. Задумался: купишь одному — остальным обидно будет. И чтобы никого не обделить и не обидеть, плюнул на ботинки и сандалии, купил пол-ящика конфет...

Баловать-то баловал, но если расшальются, то и цыкнуть мог. Да так, что вся четвёрка во главе с Ермохой горохом рассыпалась под кроватью и без звука выжидала, когда тятка сменит гнев на милость.

Сыновей Федора стригла ножницами наголо, но оставляла чубчики. Деревенские подтрунивали:

— Ребятишки, для чего вам мамка чубчики оставила?

— А чтобы тятка из-под койки мог вытаскивать!

В обед Федора выходила из избы и с крыльца звала:

— Ермо-ошка! Стё-ёпка! Ва-анька! Ю-юрка! Марш домой обедать!

Четверо срывались с места, где б ни находились.

Федора ставила на стол алюминиевую миску размером с добрый таз со шами или окрошкой. Малыга сам разламывал ковригу и начинал хлебать. За ним по старшинству — Ермоха, Стёпка, Ванька, Юрчик. Хлебали молча и сосредоточенно. Федора подливала. Наевшись, пили чай вприкуску с серым сахаром. После чая дружно шмыгали вспотевшими носишками, но из-за стола не выходили раньше отца с матерью.

В избе — её купил Малыге тесть по случаю женитьбы — добра всего и было, что сундучок с Федориным приданым да огромная русская печь. Как бы жарко ни натапливали избу, тепло в трескучие морозы быстро выдувало, и Малыга приспособился согреть детей в печи, чем однажды напугал до полусмерти нагрянувшего тестя...

Входит тесть в избу с мороза, руки потирает, сосульки из бороды выщипывает.

— Ставь, зять, самовар — до костей пробрало!

Малыга с печи да к порогу, шубу с тестя принимать.

А из-под печного свода высунулись головы, измазанные сажей. Одна, другая, третья...

Тесть, оторопев, оттолкнул Малыгу, попятился к порогу:

— Свят, свят, свят!.. Помилуй мя!..

— Да што ж вы, тятя, напужались? — удержал Малыга. — То внуки в печке греются!

В туском свете лампы тесть не сразу разглядел внучат. Ермоха, Стёпка, Ванька, Юрчик, как хомячки из норки, выползли на свет на дедов голос.

— Де-еда, это мы!

Тесть не сдержался и загнул:

— Что ж ты, мать твою!.. родных детей сажаешь на ночь в печь?!

— Так, Федора утром хлеб пекла, — невозмутимо объяснил Малыга. — Чего жару пропадать?

Тесть и поначалу-то не очень жаловал Малыгу, а с годами между ними возникло отчуждение. Но на людях зять разрыв скрывал. В деревне часто вспоминали,

Как Малыга к тестю за мясом ходил

В молодости он одно время работал молотобойцем. За день молотом намашется, аппетит взиграет, а дома на столе не густо. Вот и размечтается к обеду.

— А што, — скажет кузнецу, — возьму да в воскресенье к тестюшке смотаю. Тестя навестю... Тестя навестю... да мяса принесу. У тестя мя-яса — некуда девать. Чего душа желает! Схожу да принесу... Куда ему, беззубому, столько ужевать?

И день, и два, и три одно и то же кузнецу твердит. Ждёт не дождётся воскресенья.

И вот приходит в понедельник. Кузнец интересуется:

— У тестя был, Малыга?

Молчит, будто не слышит. Из кузни да на улицу, с улицы да в кузню. То угля, то прут несёт для ковки, то бадью воды... То у наковальни, то у горна топчется.

Кузнец не отступается.

— Ну, сбегал к тестю, нет?

Малыге некуда деваться.

— Та-а, чего там... Сбегал.

— Ну и что принёс?

Опять из кузни да на улицу, с улицы да в кузню...

Кузнец в усы ухмылку прячет, упорно добивается.

— Мясa много ль припёр?

— Та-а, множок ль на себя припрёшь?! — вскрикнет жалобно Малыга. — Вот поеду на кобыле, разом привезу!

* * *

Однажды пополудни на остановке из городского автобуса вышел пассажир. Средних лет мужчина — солидный, судя по осанке. В сером длиннополом пальто с каракулевым воротником, в каракулевой шапке, в шикарных кожаных ботинках...

Вышел, огляделся и, перебросив из одной руки в другую лёгкий чемоданчик, направился к видневшейся за почтой двухэтажной школе.

Но подошёл и — растерялся.

— Дети, где тут проживает председатель сельсовета? — спросил у пробежавших мимо малыжат.

— А во-он, где флаг над крышей!

Приезжий с чемоданчиком взял курс на красное полотнище на соседней улице.

Зашёл в приемную. В приёмной секретарша.

— Вы к кому, товарищ?

— К председателю.

— Так нет его...

— А где же он?

...Через четверть часа секретарша знала, что представительный мужчина заехал в гости к председателю, с которым прошлым летом в областной больнице лежал в одной палате, где они сдружились и обменялись адресами. И вот ему командировка выпала попутная — как не воспользоваться случаем, не навестить приятеля?

Секретарша — ох да ах, какая, дескать, незадача — председатель укатил с утра в райком, будет только к вечеру, придётся подождать. И хоть ей было в новость, что председатель летом лежал в какой-то там больнице, уточнять из деликатности не стала, провела нечаянного гостя в комнату приезжих, включила самовар, угостила чаем.

От чая гость размяк, разговорился. Как, мол, поживаете, каковы успехи, виды, то да сё, да пятое-десятое...

Секретарша отвечала:

— Жаловаться грех. Иван Михайлович у нас председатель знатный...

Такой непринуждённый, лёгкий разговор.

Но гость с чего-то вдруг обеспокоился.

— Иван Михайлович, сказали? Разве председателя зовут Иван Михалычем? А не Прохор Ерофеичем?

— Не-ет, Иван Михалычем...

— А как давно он председателем?

— Да уже лет десять.

— Де-есять?! — гость привстал со стула, промокнул платочком взмокшую макушку. — А он сказал, что председателем его избрали год назад... Простите, как его фамилия?

— Кого? — вконец смешалась секретарша.

— Да председателя-то вашего!

— Иван Михалыча? Захаров!

Гость вымучил улыбку и слегка сбледнел.

— Не Малыгин разве?

Секретарша хлопнула длинными ресницами. Вот когда дошло! Аж зрачки расширились.

— Не к Малыге ли вы, часом? Отроду он не был председателем. Ни «а», ни «б» не понимает. Во-он его изба, из окна видать!

— Хороша изба! А двухэтажный особняк?

Тут уж секретарша не сдержалась, прыснула в ладошку.

— Во сне ему приснился особняк. Он только прошлым летом солому с крыши сбросил!

Заночевал гость в сельсовете, а утром, спозаранку, взяв слово с секретарши о неразглашении конфуза, втихомолку укатил.

Секретарша дала слово, да только как же его сдержишь в нашей-то деревне?

* * *

Когда Малыга шёл в своей рыжей «полканке» (он и летом не всегда с головы её снимал), лица было не видать. Не вспомню без улыбки,

Как Малыга со мною здоровался

Крикнешь через дорогу:

— Здравствуйте, дядя Малыга!

Он как споткнётся на ходу. Уцепится за шапку, чтобы не слетела, головой повертит.

— Слушай, с кем ты поздоровалси?

— С вами, дядя Малыга.

— А чего ты поздоровалси?

— Нас же так учили!

— Мамка с папкой, што ли?

— В школе!

— В шко-ле? Ишь ты! И со всеми вас здороваться учили?

— Да!

— И со мною тоже?

— Да... И с вами тоже.

— Ишь ты, прямо интересно! Так вот и сказали: и с Малыгой — тоже?

— Нет, так не говорили, — проямлишь и пойдёшь в смятении.

Но Малыга не отстанет.

— А ты куда пошёл, парнишка?

— Что ещё, дядя Малыга?

— Так ты ж со мною поздоровалси?

— Ну, поздоровался... А что?

— Ты прямо молодес! Ты поздоровалси, а я ессё и не ответил... Здравствуй, коль не шутишь! А если пошутил, стречь не попадайся — уши оторву!

Учились малыжата из-под палки. Раньше, чем таблицу умножения, осваивали трактор и комбайн. В школе их тянули до восьмого класса, зажмурясь, вручали свидетельства и с облегчённым сердцем выпроваживали в жизнь. Все уходили в ПТУ. А после ПТУ подавались в город. Тропу туда проторил Ермоха. Устроился подсобником на табачную фабрику. За Ермохой уехал Степан, за Степаном — Иван, за Иваном — Юрчик. И все — на табачную, в одно общежитие. Оттуда через год уходили в армию. Отслужив, с недельку гостили у родителей и возвращались в город, уже кто куда. Лишь Юрчик задержался. Но его Малыга выпроводил сам...

Служил Юрчик в Германии. Явился ясным соколом, гуляет день, другой и третий... И ладно бы — гулял, а то закуролесил. Всё норовил продемонстрировать приёмы, которым обучили его в армии.

— Желаящие есть? В Германии, камрады, с этим делом глухо! — Он становился в раскоряку, раскачивался и потряхивал кистями, приглашая к поединку.

То ли парни в самом деле опасались оказаться поверженными Юрчиком, то ли не хотели осрамить вояку перед деревенскими девчатами, но в борьбу с ним не вступали.

Однажды на кого-то он всё ж таки нарвался. Пришёл домой к полуночи в разорванной «парадке» и с «орденком» под глазом...

Поглядел Малыга да и заявил:

— Вот что, сынка милый! Не оставил дурь в Германии, так свежи-ка её в город, сбрось где-нибудь подальше от отцовских глаз!

Вскоре после Юрчиковой свадьбы Федора вдруг сдала — исхудала, пожелтела. Весной слегла и уж не встала, не помогли ни бабки с их наговорами-снадобьями, ни врач с таблетками-уколами — истаяла на мужниных глазах.

После смерти матери Ермоха, выросший в начальники производственного цеха, привёз отца к себе. Сын жил в пятиэтажке напротив автовокзала. Балкон его квартиры на четвёртом этаже просматривался с «нашей» двенадцатой

платформы. Попервости Малыга под разными предложениями часто появлялся на вокзале.

В ожидании подхода «своего» автобуса отъезжавшие в деревню мужики облепляли скамью на перроне. В это время из толпы где-нибудь в сторонке «выныривал» Малыга...

— О-о, Малыга! — «удивлённо» восклицали мужики. — Не с нами ли в деревню?

— Та-а, чего там делать!

— Присядь к нам на минутку!

— Некогда. Пойду.

— Что за дела такие спешные?

— Мало ли... Кручусь! — но подходил, здоровался.

— А то присел бы, покурил.

— Некогда тут с вами! Дальше побегу!

Проходит пять минут, пятнадцать, полчаса прошло. Мужики и покурили, и наговорились, и новости последние Малыге передали, и по другому разу курево достали — Малыга всё стоит.

— Да присядь, Малыга!

— Не, я побежал!

Вот и автобус на подходе.

— Привет там от меня! — напутствует Малыга.

* * *

Там же, на вокзале, я свиделся с Малыгой осенью. За месяц до его тихой и спокойной, в глубоком сне, кончины. Тогда при встрече он узнал и окликнул меня первым. Пришли на скамью.

— Ну, как вы тут, дядя Малыга?

— Та-а... Мы теперь как все, — отмахнулся он. — Живём по-городскому. Три раза на дню за стол садимся! — Тихо засмеялся и, вздохнув, добавил, выдав неосознанно самую, по-видимому, суть произошедших в его жизни перемен. — Едим три раза на дню, и каждый — из отдельной чашки...

Околоток Перековка

1

Из «криминальной хроники» городской газеты: «2 июня в подъезде дома № 8 по улице Красной совершено изнасилование и ограбление 17-летней студентки педучилища. Разыскивается подозреваемый...»

* * *

О том, что чёрным цветом расцвела преступность, и действуют преступники в открытую и нагло, среди бела дня, Серафима знала. С выходом на пенсию, в особенности после смерти мужа, времени свободного было в избытке. Читала «Правду Севера», смотрела телевизор, не выключалось радио на стенке. И от того, что знала, голова шла кругом, становилось неуютно в собственном домишке, даже если постоялица находилась рядом. Субботние «правдешки» пестрели сообщениями о грабежах, убийствах и насилиях, происходивших не в разбойном мире — за морем-окияном, а в родной державе, в тихом городке. По телику — любуйтесь, люди добрые! — во весь экран показывали пьяниц и мошенников, бродяг и наркоманов — обрюзглых и небритых, рукою на себя махнувших, облик человеческий утративших; вели беседы-разговоры с ворами, проститутками — нахальными, бесстыжими (гольём бы сучек вдоль по улице прогнать народу на посмешище!). Мелькали на слуху страшные слова — «рзкет», «мафия», «террор», значение которых объясняла, как умела, квартирантка Лена Дыбина...

— Да что ж это такое? Это что ж творится? Откуда всё обрушилось, скажи! — обратилась Серафима ко всезнающей студентке. — Вроде, тихо и спокойно раньше было, а теперь, гляди-ка, как прорвало — за рубель уokoшут, глазом

не сморгнут. Ходи по городу с оглядкой. Не Америка ль забросила десант?

— Ой, не катите бочку на Америку, Серафима Ниловна, — рассмеялась Лена. — Америка сама от нас в восторге.

Серафима подытожила раздумчиво:

— Совсем народишко испортился — ни Бога, ни острога, ни чёрта не боится. Быть, видно, светопреставлению в двухтысячном году. Знающие люди предсказали. — И предупредила квартирантку. — На тискотеку-то пореже бы полькала; не ровен час, прижулькают поганцы!..

Если всего лишь полгода назад вести о немыслимых злодействах воспринимались, вобщем-то, без паники, как нечто инородное Кедровому, в котором худо-бедно доживала тридцать пятый год из своих шестидесяти трёх, то теперь и в этом скромном городишке стало беспокойно, докатилась, видимо, волна... Нет, и раньше, говорят, КПЗ не пустовала: то с берега Оби угонят лодку с лодочным мотором, то мотоцикл из гаража, то муж жену побьёт по пьянке — мало ль что случается с людьми: где люди, там и страсти.

Волна пришла в Кедровый жуткими убийствами. Уже под Рождество пьяный кочегар в «ямке» под горою — в южной части города — зарезал собутыльника за полстакана водки; три «зверька» из ПТУ надругались над девчонкой-пятиклассницей; на Пасху из-под снега в Центральном парке отдыха вытаял с проломленным затылком пропавший перед Новым годом тихий бомж Кудрявый Ангел; ясным днем в один из частных домиков на улице Октябрьской под видом инспектора госстраха вошёл мужчина лет под сорок и, бритвой угрожая перепуганной хозяйке, вытребовал деньги...

* * *

Девчушка в белой кофте, в лёгких серых брючках, со стрижкою под мальчика вбежала со двора в ту самую минуту, когда, управившись с делами, Серафима села посумерничать, а квартирантка Лена Дыбина вертелась перед зеркалом, собравшись, как всегда, на дискотеку.

Будто в автобус впорхнула — без стука, не прихлопнув за собою дверь. Бросила сумку на краешек стола, села перед обомлевшей Серафимой и понесла скороговоркой, зачастила:

— Здравсте! Господи, жарынь-то... Всё так и тлеет на корню, всё горит и вянет... Ничего, наверное, не будет этот год — ни грибов, ни ягод... А у вас, гляжу, картошечка ве-сёленькой стоит, видно, поливаете? То ли дело, рядышком колонка, а у нас так — за версту. Вы у нас Колягина? Серафима Ниловна? Северная, тридцать? — Девчушка расстегнула молнию на сумке, достала ручку и блокнот.

Серафима поднялась и отступила в сторону. Сузила глаза. Маленькая, грузная, серьёзная.

— Я-то, деушка, Колягина. Серафима Ниловна. Тут вы угадали. А вы, я извиняюсь, кто такая будете?

Незваная гостыя застыла на мгновенье, затем, взмахнув рукой, смеясь затараторила;

— Ой, простите-извините, Серафима Ниловна! Я взаправду не представилась... Заболталась, балаболка. Целый день гоняю, как велосипед. Я из отдела исполкома... Перепись жильцов. Всю вашу Перековку обежала, все бараки с развалюхами взяла!

— И документики имеются при вас?

— Имеются, а как же, всё у нас в порядочке, — гася улыбку на губах, девчушка достала из сумочки красную книжицу.

— Вот с этого и надо бы начать, — смягчилась Серафима, — а то ведь, сами знаете, шастают тут всякие... Слышали небось, что на Октябрьской случилось?

— Да, да. Конечно. Понимаю...

— Спаси и сохрани! Глянь-ко, Лена, в книжечку — без очков слепая.

Лена Дыбина вздохнула укоризненно:

— Что вы, в самом деле, Серафима Ниловна! Нельзя же всех подозревать, — но в документ в руках девчушки заглянула.

— Бережёного, девонька, Бог бережёт, — Серафима обратилась к исполкомовской девчушке: — Вы сказали — перепись? Какая? Не выборы ли снова? Я больше не пойду.

И не надо меня агитировать. Дом видели, какой? Сто лет ему в субботу будет, а ремонта не дождусь, не допрошусь, к кому б ни обращалась. Какая нам от ваших депутатов польза? Они по радио без умолку галдят, а проку ни на грош. Нет, я не пойду.

Девчушка улыбнулась снисходительно, пальцами поправила причёску.

Серафима загляделась на неё, и стало ей неловко за свою сверхбдительность.

— Вы не беспокойтесь, я не за тем пришла, — оживилась гостя. — Я принесла вам радостную весть.

Серафима села, подалась в наклоне.

— Ну-ко, что за весточка?

— Вовек не угадаете!

— Во как? Интере-есно!

— Можете не думать о ремонте! Дом ваш сносу подлежит. Как-нибудь перезимуйте, а весной снесём гнилушки. Всю Перековку разровняем. И вселим вас в шикарную квартиру. С газом, ванной, туалетом... Заживёте припеваючи!

Серафима не поверила собственным ушам.

— Что вы говорите? Неужели правда?! — И — засуетилась, и — замельтешила. Метнулась к газовой плите, сняла с конфорки чайник. — Что же я, корявая, с ходу напустилась? Вы уж извините копалуху старую. Напугало нас хулиганьё, мы теперь и бдим, дыхнуть боимся громко. — Дай-ка, милая, чайком попотчую тебя!

— Что вы, что вы! Некогда. Дальше побегу.

Лена Дыбина завистливо вздохнула:

— Везу-уха, Серафима Ниловна!

Ещё бы не везуха!

2

Кряжистый, подвижный, несмотря на возраст — шестьдесят семь исполнилось весной, — сосед Ефим Гусаров в просторной клетчатой рубахе, в брюках на подтяжках с подвернутыми серыми штанинами, топтался возле стайки с топориком в руке, примеривая свежую жердину к ветхой загородке.

— Полюбуйся, Симуня, каких кабанов отхватил!

До слуха Серафимы донёлся поросячий визг.

— Всё ж таки решился?!

...В середине мая, когда вспученная Обь на пенистой хребтине уносила ледяное крошево в Обскую губу, Ефим снимал со сберкнижки деньги, плыл «Метеором» в Рязмовский колхоз. Там имелись у него старые приятели. За бутылкой водки под свежую ушицу завязывался нужный разговор. С вечера Ефим дотошно вызнавал все тонкости вопроса, с утра ходил с мешком под мышкой по дворам и через день-другой коммерческих хлопот возвращался в город с поросятами в большом плетёном коробе. По три-четыре борова Гусаровы кололи ежегодно, парное мясо было нарасхват. Но если раньше комбикорма доставало, то теперь запасы истощились — давали лишь по справкам горрыбкоопа и только заключившим договор. Ефим, как истинный хозяин, связывать себя узами договора не желал. Стайка у соседа долго пустовала...

Ефим вогнал топорик в жердь и почесал за ухом.

— Опять рискнул, Симуня. Будь что будет. Либо мы их выкормим, либо нас они сожрут.

— Ну и правильно, сосед. Как-нибудь прокормите, неправда!

Гусариха уже кормила «кабанов». Высокая и статная, в резиновых сапожках, прижав к переднику весёлку, стояла, словно статуя, с суровыми поджатыми губами. Четыре шустрых поросёнка месячного возраста толклись у деревянного корытца.

— А ничего поросятишки, — сказала Серафима. — Весёленькие, гладкие.

— И цена хорошая, — буркнула Гусариха. — По семисят рублей. Ругаюсь вот, — весёлкой показала на Ефима. — Зачем привёз такое стадо? Парочки хватило б за глаза. Не до жиру, быть бы живу. Сожрут ведь с потрохами. Гляди, какие жоркие!

— Все четверо кабанчики?

— Три парубка и свинка, — опередил Гусариху Ефим. — Бери, Симунь, не прогадаешь. Одного прокормишь.

— Одного чего ж не прокормить, — поддакнула Гусариха. — Картоха, слава богу, есть, хлеб покамест не по

карточкам, со стола опять же остаётся... Крапивыросло. Одного-то не проблема.

— Больно с ними хлопотно, — Серафима сморщилась. — И взять не помешало б... Жить-то как-то надо... Взять ли, что ль, Ефим?

— Бери, бери, чего там! Последний год имеется возможность скотинку содержать. Снесут весной, так запоем в каменных коробках.

Гусариха в сердцах шлепнула весёлкой по розовым ушам бойкого кабанчика.

— У-ух ты, ненажорный! Раздулся, как бочонок, всё-то тебе мало. Братьев объедаешь!

— А ты, Ефим, не рад квартире? — Серафима подняла жиденькие брови.

— Мало радости, Симуня.

— Так хоть в квартирах добрых поживём! А то чего ж? Возьми меня, в добрых не жила. Пора и нам в благоустройство. Радоваться надо, а ты загоревал.

Ефим сердито засопел, сверкнул недобро чёрными зрачками.

— Порадуешься вот! Порушат огороды — своего-то ничего не станет. Ни мяска, ни картошки. Вселят, как скворца в скворечник, где-нибудь на пятом этаже — на балконе не посодишь. За каждую морковку полтинничек готовь. Проживешь ли на одну-то пенсию? Велика ли она у тебя?

— Так ведь прибавку обещают...

Ефима передёрнуло.

— Ты, Симуня, баба умная, да шибко уж наивна. Жди, когда прибавят. Государство просто так не раскошелится. Если и прибавит, то на грош, а цены вздует вдвое. Шибко-то не радуйся квартире, кабы, девка, плакать не пришлось.

— А что ты предлагаешь? Или — отказаться нам от сноса? Требовать ремонта?

— Нас с тобой уже не спросят, и все дела. Стройка тут планируется серьёзная.

Поросёнка Серафима всё-таки купила, принесла, пустила в стайку.

— Ещё одна заботушка прибавилась, — рассуждала вслух. — Ладно, как-нибудь, что-нибудь придумаем...

До осени продержимся, а там сдадим тебя, Бориска, в горрыбкооп!

* * *

Красная, Октябрьская, Северная улицы составляли околотовок городской окраины. Незадолго до войны из не приметного посёлка лесорубов Кедровый превратился в бурный ссыльный лагерь, куда с Урала и России везли для «перекорки» дядины ребята строптивых раскулаченных крестьян. Трудпереселенцы — так их называло местное начальство — работали на лесозаготовках, осваивали землю, рыбачили, охотились, обзаводились семьями и потихоньку строились. Северная улица волей исполкомов оставалась в первоизданном виде шестой десяток лет — с теми же убогими бараками на затенённой стороне, что возводились впрок для прибывающих, тесовыми сараями, сколоченными наспех. Бараки обветшали, вросли по окна в землю, крыши скособочились. Там обитали в основном наезжие сезонники — люди бессемейные и шумные, с этим бесшабашным контингентом жители «серьёзной» чётной стороны старались не общаться.

Дом Серафимы на три комнаты — бывшая контора леспромхоза, куда они с Матвеем устроились рабочими сразу по прибытии в Кедровый в пятьдесят шестом году, — стоял в ряду трухлявых, неказистых изб и домиков на чётной стороне искривлённой улицы, изрезанной логами и оврагами, сбегаящей по склону рыжего холма к зелёной речной пойме. Бывший кабинет покойного директора служил просторной горницей, кухней и прихожей — архив и бухгалтерия, а производственно-технический отдел сдавался постоялице. Светлые берёзы под окном, что посадил Матвей в год возвращения в места, где отбывал свой срок после войны — семь лет по странному, неясному ей делу — да было ли оно? (муж про то не вспоминал, не распинался в объяснениях) берёзы вымахали выше проводов, шумели на ветру...

Справа по соседству стоял сосновый дом Гусаровых, слева пригорюнилась развалюха умершей от рака ворожеи Клюквихи. За огородами широкой полосой вдоль грунтовой дороги, ведущей через кладбище к подсобному хозяйству,

тянулся захламлённый, обломанный кедрач, в разбойнических вырубках которого виднелась высыхающая Невлевка.

Был жив Матвей — забот не знала Серафима. Муж был и кровельщик, и плотник, сапожник и печник — мастер на все руки. А умер — холодом пахнуло. Печка развалилась, стены накренились, потолок провис. Где не побывала в поисках сочувствия и помощи, сколько слёз напрасно пролила, нервов помотала! Не тропу — дорогу проторила в исполком. Плакала, просила, умоляла: сделайте ремонт. Зампреда прокляла. Гладкий, розовый, вальжанный, в лиловом, с блёстками, костюме, сидел как изваяние. «Ремонту дом не подлежит — вот заключение комиссии!» — тряс перед носом Серафимы бумажкой с гербовой печатью. «Хоть комнатёнку дайте где-нибудь!» — просила, отстраняя ненавистную бумагу. «Фронтвиков не можем обеспечить!» — «Так разве мой не воевал?» — «Ну, воевал, мы знаем, ну так что? Он теперь, простите, квартирой обеспечен». — «Он-то обеспечен, а мне-то как же быть?» — «Ну потерпите, может статься, пустим вас под снос, тогда придётся выделить жилплощадь...»

Серафима цеплялась за последние слова: «Так, значит, есть у вас жилплощадь?» Упитанный зампред потел и багровел: «Вот приучила, понимаешь, вас Советка власть! Всё-то дай вам! Дай! Дай! Дай! А где мы вам возьмём? Вы сколько лет на Севере живёте? Так где вы были тридцать с лишним лет? О чём и чем, простите, думали? Кто вам виноват, что не умели жить?» Это «кто вам виноват?» звучало как пощёчина. Нет-нет да и являлась мысль о переселении на родину, в Камышинку, где доживали век двоюродные сёстры и младший братец Парамон; являлась, тотчас отпадая, ибо не ближний свет Камышинка и переезд влетит в копеечку.

На годовщину поминки по Матвею не справлялись — Серафима приболела. А вышла из больницы — напекла блинов и разнесла по околотку.

Но в последнюю неделю снился ей Матвей. Желтушным, исхудалым, раздражительным. Каким вернулся из больницы помирать.

И Серафима днём зашла к Гусарихе.

— Матвей в обиде на меня, поминок просит настоящих. Сегодня сон видала нехороший. Попросил поесть, и я окрошки поднесла. Он так-то, Феня, осерчал, так-то осерчал! «Я есть хочу, а ты мне квасу. Ты дай мне холодца!» И чашку по столу пустил... В пятницу три года исполняется, так что соберу-ка мужиков, пускай помянут, как положено...

* * *

В поисках спиртного обошла все «точки». Давали в «ямке» — под горой. Очередь тянулась метров в пятьдесят, бухла, разрасталась. В её распущенном хвосте роптали на дурацкие указы, ругали власти и милицию. Небритые верзилы с красными похмельными глазами с восторгом и, казалось, диким упоением вбуривались в грудь разномастных тел, сметая слабых и несмелых...

И вдруг раздался вопль. Очередь отпрянула, рассыпалась в испуге, явив народу Веню Полиглота. Тщедушный мужичок в отрепьях и лохмотьях стоял на четвереньках, одной рукой со скрюченными пальцами шаря по земле, впитавшей, точно губка, пролитую водку, другой сжимая горлышко расколотой бутылки. Губы у несчастного тряслись, в глазах застыл животный ужас...

Веню знал весь город. В Кедровый он приехал с неразлучным другом Ангелом Кудрявым — хантом из Бёрезова. Оба собирали порожние бутылки, питались, чем придётся, одевались в то, что изредка давали мужики, одаривала мусорная свалка. Летом ночевали в новостройках и сараях, зимой — на аэровокзале. Милиция от Вени отмахнулась, бичи держали за блаженного. Был слух, что в молодости он закончил институт, владел английским и французским, директорствовал в школе, но был уволен за скандал в роно...

Полиглот, как ребёнок, всхлипывал, размазывая слёзы по грязному лицу. Толпа вдруг всколыхнулась, громыхнула хохотом, стремительно сомкнулась в безудержном порыве к желанному окну...

— Что же это делается? С ума сошёл народ. Нет на нём креста и нет в нём сострадания! — испуганно шептала Серафима, ошеломлённая невиданной картиной стадного

безумия. Выстояв в хвосте колышущейся очереди добрых два часа, утратив слабую надежду достояться, торкнулась к окошку.

— Ребятки, славные, пустили б баушку вперёд... Водки нужно на поминки!

— Сколько, бабка? Ящик, два?

— Бутылок пять, ребятушки!

«Славные ребятушки» заржали жеребцами.

— Там всего-то и осталось губы помочить!

Серафима догадалась, что сглупила.

— Пару штук, ребятушки, много не возьму! — сунулась вперед, но её, как шепку яростной волной, выбросило в сторону. Она споткнулась и упала. — Звери вы — не люди! — вскричала со слезами на глазах, дрожа от боли и обиды. — Чтоб вам захлебнуться, ненасытным! Чтоб вы погорели от неё! Бабка просит не на пьянку, а на дело!

Очередь смеялась незлобиво:

— О живых, бабуська, думай. Мёртвые своё отпировали!

В тенёчке, в окружении затаренных бичей, «французил» Веня Полиглот, уже повеселевший. Под гогот пьяных мужиков шныряли верные подружки Галя Парфюмерия и Машка Быстроход...

Серафима побрела на остановку, припадая на ушибленную ногу.

У аптеки встретились с Сотниковой Тоссй, заведующей пятым магазином. И Серафиму осенило: нельзя ли через Тосюшку достать? Как-никак, почти своя. Сын до армии два года с ней ходил и после жил в открытую два года. Но — дурья голова, умный от добра добра не ищет, — взял да и уехал, скрыл, что называется, глаза. В Тюмени после института связался с разведёнкой, с прицепом её взял, остался в примаках. Сказал, что расписались, но свадьбу не играли, жил пятый год — своих детей как не было, так нет. Серафима чуяла: не ладится у них. Та — разведёнка — баба ушлая. Капризная и властная. Не из простой семьи: отец — зам-председателя какого-то Совета, мать — по торговой части, брат — кооператор. А Генка, он — пентюх, из таких, как он, верёвки бабы вьют. После похорон с неделю побыл дома, даже к Яшке, другу, не зашёл, а перед тем, как улететь,

собрался на рыбалку. «Схожу, — сказал, — на Невлевку, удочкой побалуюсь». Ушёл, и — до утра. Какая там рыбалка! У Тоси ночь провёл. Мать ведь не обдуришь. Она тогда смолчала, вроде, не допетрила. Бог ему судья. Да и Тосю жалче, чем ту кралю. Кто Тосюшка теперь? Не вдова, не разведёнка. До сих пор не замужем. Вот уж не везёт! С Тосей бы чего не жить? Женщина опрятная, молча не пройдёт, всегда приостановится, расспросит, как да что, о здоровье справится, о Генке... Думает о нём. Хорошая бабёнка!

Серафима ласково пропела:

— Тосюшка, роди-имая, с ходу не признаешь. Цветёшь-то, девка, а? Всё и хорошеешь!

Тося вяло отмахнулась:

— Какое там «цветёшь!». Неделю на больничном. Воды холодной напилась — ангина прицепилась.

— Вот ведь незадача! А я к тебе по делу хотела обратиться.

— Что у вас за дело?

— В пятницу Матвея помянуть хочу, а в доме ни граммульки. И где достать, ума не приложу. Хотела выстоять под горкой, да разве достояться? Чуть не затоптали.

— Серафи-има Ниловна! Под горкой вам не взять.

— А что же делать, Тосюшка?

Тося призадумалась.

— Зайдите завтра в магазин... Вечером попозже.

— Вот спасибо-то, родная, выручишь меня! Дай Бог тебе здоровья и муженька разумного!

К поминкам Серафима приготовилась заранее. Вымыла полы, подбелила печку, в горнице сменила занавески. Наделала кутьи и киселя, картошки отварила.

Утром спозаранку прибежала расторопная Гусариха, вдвоём в четыре сковородки напекли блинов. Ефим принёс шматок свиного сала, вяленых язей. Сходили днём на кладбище. Серафима всласть наголосилась, в оградке прополола лебеду. За помин Матвеевой души обнесла старушек угощением. От слёз и хлопотни суматошных дней разом обесилела и сникла, вернулась утомлённой и опустошённой. В доме верховодила Гусариха: шуровала в печке, гремела сковородками, брэнчала чашками и ложками, руководила

Леной и Ефимом. Стоя отстранённо у стены, Серафима наблюдала за распаренной соседкой. Стряхнув оцепенение, бралась то за одно, то за другое, третье, но всё валилось у неё из рук, всё делалось не так, не к месту и некстати. Гусариха в конце концов взмолилась:

— Симуня, отдохни, без тебя управлюсь!

И Серафима подчинилась. Вышла на крыльцо, зажмурилась от солнца, бьющего в глаза...

* * *

Прав Ефим Гусаров: жизнь становится как в сказке — чем дальше, тем страшней. На пенсию не больно пощикуешь. Во вторник получила семьдесят рублей, села, стала думать, как распорядиться этими деньгами. Пятёрку — за квартиру. За электричество пятёрку приготовь. Вроде, экономишь, света лишний раз не включишь, сидишь, как сыч, впотьмах, а всё же набегает. И как не набезит? Холодильник сутками урчит, телевизор включен каждый вечер — то кино, то передача интересная. Квартирантка по ночам в учебники глазеет — вечер-то прошлѐндает. Кипятильник, самовар, утюг — вот и набегает, как ни экономь. За газ три сорок отсчитай — не забыть бы выписать квитанцию, баллон уже кончается... За радио, за воду. Копеечка к копейке — вот и набирается, остаётся с пенсии грош да пятачок. Живи, пенсионерка, припеваючи. Не хочешь — запоёшь...

На прилавках шаром покати, как корова языком слизнула. Талоны отоварить — проблема из проблем. С раннего утра дежурь у магазина. Когда и продают, так вместо мяса бросят, как собаке, кость да сухожилия — бери, не возмущайся, слова не скажи — тебя же и облают, если заикнёшься. Все торгоши-то нервными поделались!

Нет, как ни поверни, а огород спасает, вся надежда на свой огород. Снесут весной, что делать? Караул кричать? С сумою подаваться?

Возрадовалась, дурочка, квартире. Да на хрена б она нужна! Хоть на карачках, но в Камышинку придётся выбираться...

К вечеру народ стал расходиться. Первыми откланялись чопорно старухи в траурных платках. Крестьясь и шелестя ниточками губ, потянулись к выходу. За ними, глянув на жену, встал Ефим Гусаров. Затем поднялись, словно по команде, ВОХРовцы — Матвеевы друзья и сослуживцы. Достали из карманов папиросы, направились к порогу. Расходились не хмельные, но уже не трезвые — в том чуть подогретом состоянии, когда, чувствовалось, был необходим хороший посошок для завершения.

— Что ж вы раненько поднялись? Посидели бы подольше, выпили б по стопочке ещё! — И Серафима поднесла бы, но властная Гусариха, сомлевшая от жара, резко перебила, в краску Серафиму вогнала:

— Посидели, помянули, пора и закругляться!

ВОХРовцы смешались. Старший — полный и седой — начальник караула торопливо подал руку, вышел за порог. Ушли и остальные.

— Зачем ты, Феня, сказанула? — упрекнула Серафима. — Мало ведь, наверно, мужикам. Кабы не обиделись. Водка-то осталась, чего её жалеть? Для дела и брала.

— Водка не прокиснет, — буркнула Гусариха, — в магазин снесёшь, на деньги обменяешь. А не обменяешь, в дело обратишь. Нынче водка — деньги, а деньги — в цене.

— И всё же бы помягче с мужиками. Неловко как-то, Феня. Прямо хоть сквозь землю провались...

— Стыдливая какая! Ей, видите ль, неловко. А им, опойкам, ловко? — Гусариха кивнула на заборку, за которой в горнице всё ещё сидели Яшка Шнайдер — Генкин друг и незнакомый Серафиме головастый мужичок по прозвищу Шуруп. — Кто-то с чистым сердцем помянуть пришёл, а эти — нализаться. Гони их, Сима, в шею! Нечего тут праздновать!

Маленького роста, в застиранной футболке, Шуруп сидел, по-барски развалясь, на мягком стуле, с пьяным превосходством поглядывал на друга. Когда три часа назад они ввалились с улицы, Гусариха набросилась на Яшку, намереваясь выпроводить с боем, но Серафима

не позволила: «Грешно с поминок выгонять! Пусть уж посидят — не обопьют. Яшка мне добра поделал много. Если бы не он, не знаю, как бы зиму перебилась: и дров привёз, и поколол...» — «А ему удобно пьянь сюда вести? Думал, кого вёл? Этот головастенский на «Куликовом поле» возле пивной бочки днюет и ночует. Как приедет с буровой, так и фестивалит».

«Пусть, Феня, посидят», — упёрлась Серафима. Она по-ставила греть воду для мытья посуды, и в это время Яшка выдал:

*Мне Ма-рус-ськина подружка
Как-то в мутор-рпой пивной
Сообщила, выпив кр-р-руж-жку
Пива с пеной нез-земной...*

— Плясать не вздумали б, поганцы! — Гусариха метнулась кошкой в горницу.

Перед незваными гостями стояли недопитая бутылка, до краёв наполненные рюмки, на блюдечке с кутьёй дымилась папираса. Яшка пел усердно, трудно. На высоком потном лбу взбугривались жилы, нос и шея побурели от натуги, влажные глаза блуждали по столу.

*...Сообщила мимоходом
И пр-р-рищуря хитр-рый глаз.
Что у Машки Быстр-рохода,
Дескать, девка р-родилась...*

Он тупо поглядел на вошедшую Серафиму. Шуруп с готовностью привстал. Гусариха уткнула в бока руки. Лицо, пунцовое от жара, покрылось капельками пота.

— Вон отсюда, нехристи!

Мотнув небритым подбородком, Яшка уронил на грудь всклоченную голову, отпал на спинку стула. Шуруп приблизился к Гусарихе. Приняв, видимо, её за хозяйку дома, с пьяным умилением расшаркался.

— В-фсе н-на этом свете гости, в-фсем ящик уготован! — Он, оказалось, заикался, и, заикаясь, дребезжал мясистыми

губами, брызгая слюной, кривясь и морщась от усилий выговорить слово. — П-премного б-благодарны, было чё к-кирнуть, з-занюхать... К-красиво п-посидели!

— Да что ж вы делаете, а? Среди людей вы не живали? Кто же на поминках благодарствует? Ступайте уж, ступайте по-хорошему!

Шурупа проводили. Яшку уложили в сенцах на полу. Он приоткрыл остекленные глаза, пустил по подбородку длинную слюну. Поджал колени к животу, повернулся на бок. Всклипнул и затих.

Серафима и Гусариха сели на крыльцо, дух перевели. У Серафимы на глаза навернулись слёзы.

— Что б я без тебя делала? Спасибо, добрая душа. Вовек не позабуду.

Гусариха беспечно отмахнулась.

— Придержи, Симуня, слёзы — слёзы пригодятся впереди. Давай-ка лучше почаюем. Целый день протанцевала у плиты — во рту росинки не держала... Кишка кишке от голода сифонию играет.

Поставив самовар, выпили по стопочке. Сбросив напряжение суматохи дня, Гусариха смягчилась, лицо взялось мечтательным румянцем.

— А мне так всё не верится, что нет мово соседа... Сижу иной раз у оконушка, на улицу гляжу — вот, думаю, Матвей пройдет с рыбалки!

— Теперь уж, Феня, не пройдет. Проглядела глазоньки.

Утром разбудил стук в сеничную дверь. Стучали тихо, но настойчиво.

Проснулась квартирантка, включила свет в прихожей.

— Кого в такую рань припёрло?

Серафима, морщась от досады, набросила на плечи выцветший халат, прошлёпала босая к сеничной двери.

— Кто там?

С крыльца не сразу отозвался сильный голос:

— Я... Открой, тётъ Сим.

— Кто — я?

— Да Яшка Шнайдер... «Кто!»

— Вот ещё лунатик объявился! В одиннадцать чуть живенький уполз, в шестом часу опять нарисовался. Чего забыл? Пошто тебе не спится?

— Впустишь или нет?

Серафима сбросила с петли дверной крючок.

Яшка на негнущихся ногах проплёлся за ней в кухню. Плюхнулся на стул и, обхватив руками голову, глухо застонал:

— У-у-ух, тяжко мне, тётъ Сим! Ты не возражаешь, если посижу?

Серафима почему-то перешла на шёпот:

— Что случилось, Яша? Что тебя пригнало спозаранку?

Яшка оторвал ладони от висков, вымучил улыбку...

Он был в синих трикотажных брюках, дырявой безрукавке, тапочках на босу ногу. Щетинистая кожа серых, без кровинки, щёк и шеи обтягивала остро выступающие скулы, скачущий кадык. Открытый лоб блестел испариной, изпод набрякших век слезились тусклые глаза.

Серафима напряжённо всматривалась в Яшку, сердце наполнялось болью и тревогой...

После армии он приехал по вербовке и получил клетушку в бараке наискось. Серафима полюбила делового Яшку, ставшего к тому же лучшим другом сына, ставила в пример его неразбалованность. «Вот, — говорила Генке, — вырос без родителей, в детдоме, но человек самостоятельный, голову имеет на плечах, худое к парню не прилипло».

Шло время. Яшка получил квартиру в новом доме. Вскоре и женился. Но ненадолго он покинул Перековку. Года через три столкнулись в пятом магазине. Стоял в промасленной фуфайке, в грязных сапожищах. «Тётъ Сим, не узнала?» — «Я-яшенька, родной! Конечно, не узнала. Уж больно изменился. Постарел. Замызганный какой-то... Жена чего не обстирает?» — «А нет, тётъ Сим, жены, порвались узы брака. Законный холостяк». — «Да как же, Яша, так?» — «Да так вот, тетя Сима! Вернулся в свой барак, в любимый околоток!»

Вернулся. Покатился. И вот уж дальше некуда...

— Страшно мне, тётъ Сим, вот какое дело... Лежу в своей берлоге, сплю, не сплю — не понимаю. Нутро горит,

башка трещит, в ушах мелодия... Думал, радио играет. Вырубил его, а музыка... звучит. И, вроде, разговаривает кто-то. А кто, когда один? И вот, тётъ Сим, вдруг слышу голос: «Иди ко мне, я пожалею». Мамин голос, представляешь? Глаза её забыл, а голос помню... Страшно стало одному. — Яшка облизнул спёкшиеся губы, мрачно усмехнулся. — Сердчишко как плохой мотор, того гляди заглохнет. В глазах, тётъ Сим, потёмки. Хуже не бывает. Хуже — уже крышка. Так что выручай.

— В башке твоей потёмки! Выпить, что ли, просишь?

— А то не понимаешь!

— У вас, у алкашей, хоть капля совести осталась?! — влетела в кухню квартирантка. — Вы что себе такое позволяете? Ни днём, ни ночью нет покоя... Взашей его гоните, Серафима Ниловна!

— Брысь отсюда, мокрохвостка! — поперхнулся Яшка.

— Лена, не встречай, сами разберёмся, — осадила Серафима. — Нету водки, Яша. Все, что было, выпили.

— Так уж не осталось?

Серафима неуверенно кивнула, Яшка уловил в её глазах нерешительность. Просительно шепнул, стыдясь своей настырности:

— Граммулечку, тётъ Сим!

— Ведь на работу тебе, Яша. А если остограммишься, какой с тебя работник? Ты и так чуть жив. Не водки жалко, а тебя... Красивый, молодой. И — умный, Яша. Знаю. А водку хлещешь, как ханыга. Разве это дело? Сопьёшься, сдохнешь под забором. Или — за высокую ограду попадешь. Немножечко осталось — до музыки допился. Остепенись, пока не поздно.

— Такой я тоже не жилец.

— Тебе сейчас не водки — чаю б. Крепкого, горячего. Или поесть чего-нибудь. Давай-ка я спороворю!

— Не поминай мне о еде. Какая мне сейчас еда, когда трясёт как эпилептика.

— Вот почему Матвей-то мой ума не пропивал? Он, если и напился, в праздник не без этого, наутро к рюмке не тянулся. Отлежится, откатается — снова за работу. Генка тоже почему-то в пьянку не ударился. Вот почему, ответь

мне. Да потому, что интерес имелся к жизни, цель какая-то маячила.

Яшка не стерпел, взмолился мученически:

— Да брось, тётъ Сим, нотацию читать! Какая, к чёрту, цель? Нажраться до отвала? Наготу прикрыть? Цель! Цель! Цель! Заладили, как попки. Была когда-то цель. Была, да заржавела. Не надо тыкать в небо, когда нос в дерьме. Ба-ста. Всё. Закроем тему.

— Тебе жениться нужно, вот!

— Пройденный этап. Она, сучара, с кобелями в кабаках гудит, а дочка беспризорная. Каб я не пил, давно б девчонку отсудил.

— Вот тебе и цель!

— Кто мне её присудит? Куда её? В барак?

— Сейчас, конечно, не присудят. — Серафима извлекла из холодильника бутылку, поставила на стол. — Пей, хоть захлебнись.

Взгляд у Яшки просветлел. Он взялся за бутылку — руку повело.

— Тётъ Сим, отвернись...

— Надо ж, устыдился!

— Ну отвернись, не издевайся.

Серафима отвернулась. Яшка отражался в кухонном окне. Наполнив стакан водкой, обеими руками поднёс его ко рту и, конвульсивно вздрагивая, крупными глотками выпил, обливаясь, без остатка, обмяк и грудью лёг на стол, дыша размеренно и тяжело.

— Вроде, прокатилось...

— Пожуй, а то сомлеешь.

— Постой, тётъ Сим, не торопи процесс.

— Какой ещё процесс?

— А превращения обезьяны в человека! — Яша горько усмехнулся. После полного стакана его прошиб обильный пот.

— Ты ещё не обезьяна, но уже не человек. Тебе лечиться нужно, вот.

— Чем я сейчас и занят. Ещё стопарик опрокину и — здоров, как бык. Во лекарство, а, тётъ Сим? Вроде, от неё, заразы, заболел, и она же вылечит. А ты мне тут про чай да про жратву!

Серафима неожиданно всплыла:

— Больше не подам, хоть запросись. Ты и так осоловел, добавишь, значит, не работник. — Она решительно смахнула бутылку со стола, сунула в холодильник. — Ступай и собирайся на работу.

— Уговорила. Так тому и быть. — Яшка приподнялся, пальцем поманул. — Я за добро добром плачу, ты ведь меня знаешь... Осталась водка-то с поминок?

Серафима огорошенно сморгнула.

— Какая водка, Яша? Ты что, совсем свихнулся?

— Давай, тётъ Сим, рассудим здраво... Тебе какая разница, куда её девать? Ну, отнесешь в магазин, вернёт тебе Тося по чирику с банки и ни копейки сверху. Ну и какой интерес? — Яшка заключил многозначительно. — На твоём месте я б озолотился. Водка — это деньги... Уразумела, нет?

— Озолочайся, кто тебе мешает?

— Каб я не пил! А ты подумай. Надумаешь, скажи. Клиентов обеспечу.

— Каких ещё клиентов?

— «Каких!» Таких, как я. Не прогадаешь.

6

Вечером, смочив водою полотенце, Серафима туго обвязала голову, разулась на меже и взялась за тяпку...

Огородом Серафима дорожила. Сколько в него вложено труда и капитала, кто бы посчитал! Матвей-покойник, бывало, каждый год возил на тачке с птицефабрики помёт, навоз с молочной фермы, из печек выгребал золу. И все давалось не за так, не за спасибо доставалось: тому бутылочку поставь, того деньгами ублажи. Подумаешь, как бросить!

Вопреки двухнедельному зною картошка кустилась весёлой ботвой. Водоразборная колонка находилась рядом, за углом барака. Матвей вкопал трубу в канаву вдоль асфальтовой дороги, провёл водопровод. Серафима поливала не только многочисленные грядки, но в последнюю неделю и картошку. По времени её пора была окучивать, но Серафима уповала на дожди. Жара, однако, не спадала, прогноз

не обещал спасительных осадков — ботва могла перерасти: к кустам не подступиться, не развернуться с тяпкой на меже.

Ей за глаза хватило б сотки — на семена и на еду. Но и нынешней весной засадила три. Половину урожая продавала горрыбкоопу, платили там не больно щедро, но машину загоняли прямо в огород, грузчиков в придачу присылали. Треть огорода занимали грядки и теплица. В теплице бурно разрастались огурцы, шершавые листья вовсю тянулись к свету, густая завязь радовала глаз. В стеклянных банках на полу крепла помидорная рассада. На грядках, следующих в ряд по обе стороны дорожки, торчали перья лука, светлой зеленью кудрявились морковка и укроп, стелились бархатным ковром петрушка и салат, соком наливалась садовая клубника...

После слёзного скандала в исполкоме Серафима стала замечать, что рассуждает вслух. В пустой квартире потихоньку расслаблялась, пила горячий чай с рябиновым вареньем (для предупреждения склероза) и продолжала разговор с воображаемым зампредом: «Кабан семипудовый! Ряшкунто отъел — на трёх кобылах за день не объедешь. У самого небось дворец, а не квартира, и уж не зэковский барак. Не думаешь о том, что потолок на голову обрушится, и у жены, поди, заботы нет, что на обед готовить. Вы-то приспособитесь, не пропадѣ-ѣте! Вы — не мы, иваны-дураки!.. И как язык-то повернулся упрекнуть, что не умели жить? Вы же нас учили. Всю жизнь преподавали, как нам, глупым, жить. Вы — кресловики! Все вы одинаковы, хоть под какой личиной, одну и ту же песню пели. Что при Сталине бедо-вом, что при Никите непутёвом, что при Лёне-недотёпе, что при нынешнем рисковом... В одну дуду играли-пели, а теперь заговорили. Вот уж перестроились!» — Серафима увлекалась, и, удивительное дело, находились нужные слова, которых не нашлось в горисполкоме. Когда досада на беспомощность доводила вновь до белого каления, легко, непринужденно складывалась речь, которая держалась в голове, пока не засыпала...

Случайный разговор с опохмелённым Яшкой ей не давал покоя:

— Ах сукин сын! Пройдоха! На что, поганец, намекал? «Я б озолотился!», «Клиентов обеспечу!». Ведь это он на спекуляцию толкал. Додумался, паршивец. Не то чтоб спекульнуть, своё продать за цену не умею... Сколь за спасибо раздала. Той же вот картошки. Придут с бадьей: «Насыпь, тётъ Сим!» Картошка есть, неловко отказать. Были б незнакомые, а то ведь перековские. Матвея знали все. Насыпешь бадью с горкой: «На». — «Почём, тётъ Сим, ведёрко?» Будто бы не знают, почём оно на рынке. Махнёшь рукой: «Неси. Кушай на здоровье...» А тут явился с предложением. И как на ум взбрело такое?

Земля, сухая и горячая, как пепел, обжигала голые подошвы, сверху припекало, и через час-другой ходьбы в наклон голова у Серафимы разболелась, зелёные круги пошли перед глазами. Шатаясь от болезненной слабости в ногах, зашла в затемнённые сенцы и в ожидании на ужин квартирантки прилегла на раскладушку.

* * *

Проснулась вдруг от лёгкого хлопка. Сеничная дверь была раскрыта настежь. Смеркалось. Мелкой блеклой россыпью на тёмном небосводе проступили звёзды. В кухне кто-то был. Под мягкими шагами скрипели, прогибаясь, половицы, дзинькнула посуда на столе.

Серафима приподнялась на локте.

— Лена, кто там у тебя?

Из кухни вышел Яшка. Взлохмаченный, с отёкшими подглазьями. Костистыми руками упёрся в обналичку.

— Здрате, это я. Кре-пенько мы спали!

Серафима соскочила с раскладушки.

— Чего перепугалась? Свои. Свои, тётъ Сим.

— А Лена где? — спросила невпопад.

— Спроси, когда вернётся. Я этой мокрохвостке не пастух.

Облегченно вздохнув — всё же не ворюга! — Серафима напустилась:

— А ты чего тут шастаешь? Тебе кто открыл?

– Тихо, не шуми. Закрываться нужно. Легла, и двери настезь. Заходи, кто хочет. Только так обчистят!

– Бессовестный ты, Яшка! – вспылила Серафима. – Опять ведь пьяный в стельку. Залил шары и бродишь, соседей беспокоишь. Я кто тебе, в конце концов? Подружка? Машка Быстроход? Чтоб больше не видала. Ступай домой, проспись!

– Один момент, тётя Сим! – Яшка артистично рухнул на колени, сложил молитвенно ладони. – Ты мне, тётка Сима, больше чем родня. Ты – мой ангел-похмельитель. Там, – кивнул на кухню, – малость в холодильнике стояло, так я... того, употребил... За что тебе сыновнее спасибо.

Серафима обессиленно вздохнула.

– Что тебе сказать на это? Потерял ты, парень, стыд и совесть. Словами не проймёшь. А потому предупреждаю: явишься ещё раз в скотском состоянии и, не дай бог, ночью, вызову милицию. Схожу к Гусаровым и звякну. Хочешь – обижайся, хочешь – нет. Вот тебе мой сказ последний. Забудь сюда дорогу.

Яшка мрачно усмехнулся и поднялся. Сунул руку в карман брюк, достал оттуда смятые бумажки.

– Вот тебе полстольника. Это – за товар. За опохмелку – чирик.

Серафима отстранила протянутую руку.

– Какой ещё товар?

– Я ж не просто так пришёл, должна бы догадаться. Пузырь мне нужен дозарезу... Шуруп ко мне пожаловал. Приехал с буровой, принёс флакон трёхзвёздного. Выпили, но мало. Гость-то заводной да ещё при деньгах. Иди, кричит, достань, где хочешь, хоть из-под земли. А где её достать? Кабак сегодня выходной, такси порожняком. Вся надежда на тебя... Осталась ещё водка-то?

– С ума сошёл. Рехнулся. Вчера ещё сдала!

Яшка засмеялся.

– Врёшь. Нехорошо-о! Водка – рядом, в рюкзаке. Пять боеголовок. Я уже разведаль. Мог бы втихаря, но я ведь человек.

– Пропойца ты – не человек. Вон отсюда, непутёвый! – Серафима вспыхнула, как порох, толкнула Яшку в грудь.

Но Яшка вдруг упёрся. Ухмылка улетучилась с лица, кадык вверх-вниз под кожей запрыгал.

— Вот же сумасшедшая! Мало предлагаю?

И оробела Серафима. «Да где же Леночка осталась? Он ведь не отступится, добьётся своего. Опять трясётся с перепоя... Страшный стал, как зверь!»

— Разве что для гостя? — сказала неуверенно. — Врёшь, поди, про гостя?

— Чтоб до утра нам не добавить!

— Так и быть, одну продам. Остальные завтра отнесу. И больше не рассчитывай. А деньги убери, они тебе не даром достаются. Десяточку оставь, остальные спрячь.

— А ты, тёть Сим, чужие не считай. Дают — бери и складывай. Шуруп сегодня с круглыми карманами, бабки не считает. Пока не прогудит, душа не успокоится — натуру его знаю.

Серафима волоком придвинула рюкзак.

— Бери и уходи.

— Иду... А ты подумай. Надумаешь, скажи.

— Опять ты за своё? Да чтоб ты провалился, окаянный!

* * *

Ночь стояла тихая и светлая — самая короткая в году. До утренней зари сидела Серафима у окна, о чём только не передумала. Шестьдесят шальных рублей. Почти что месячная пенсия...

«Ещё бутылочку продать — вот тебе и деньги на билеты. Шестьдесят да тридцать — девяносто рэ. Батюшки мои, вот где золотое дно. Прибыток будь здоров. Мечтала ль о таких деньгах за здорово живёшь? С одной-то стороны, вроде бы и грех. Можно ль наживаться на чужой беде? Ведь они, пропойцы горькие, с вечера штаны за стопку отдадут, а поутру-то какво? Больные и без денег. С другого боку подойти, всё равно найдут, чего напиться. Как ни бьются, к вечеру напьются. Яшка не найдёт? Из-под земли достанет. Не у неё, так у другого. Не водки, так одеколону. Пьют ведь всё, что пьётся. Продать ли, что ли, остальные? На дорогу?»

Утром после чая отправилась к соседям за советом. Но не ко времени пришла...

Гусариха сияла и цвела, словно вдруг помолодела лет на двадцать. Лёгкой сделалась походка, быстрыми и чёткими движения. Глаза лучились тёплым светом...

— От Катьки телеграмму принесли — с датой дочерь поздравлят! Сорок лет с Цыганом прожила! Боже, сорок лет! — кивала на Ефима.

Курить Ефиму разрешалось только в сенцах, но сегодня он дымил вонючей папиросой, изредка косясь из-под крутых бровей на благодушную жену. С сапожною иглой и смоляными нитками в руках сидел на корточках у печки и ремонтировал к охоте кожаный подсумок...

— Он парнишкой смуглым, кучерявым был. В Рямовке, где жили, звали Цыганёнком, а подрос — Цыганом окрестили, — ушла в воспоминания Гусариха. — Он сам привык к такой кликухе. Ефим — окликнешь, — ноль внимания, а на Цыгана отзовется. На гармонии с малолетства насобачился играть, у них в роду все были гармонистами. Сопливым ещё был, в одной руке — калач, в другой — яйцо варёное, а на пупу гармонь елозит. Пиликал да пиликал, да так, Симуня, наловчился, что взрослых всех перепиликал. На пятачки и вечеринки стали приглашать. Скликашь, бывало, девок на гулянку, а девки в один голос: будет Цыган играть, так придём, а не будет — делать нечего. На свадьбы первым гостем приглашался, во все компании тянули нарасхват. Не спился, слава Богу, — война, наверно, помешала. Мы до войны почти не знались: здравствуй да прощай. Не думала, что с ним судьба сведёт. Ушёл он на войну. Ушёл да и пропал. В Германии застрял. Потом уже узнали, что в Германии, тогда все думали — убитый. Ну вот... Играют гармонисты, да что-то всё не так, душу не берёт. Цыган, бывало, развернёт — мертвого подымет... И вот уже в пятидесятом... Зимой лежу на печке — то ли праздник был какой-то, то ли, как сегодня, выходной — слышу: на задах гармонь взыграла. Сердце, Сима, дрогнуло. Дыханье затаила — наяряивает гармонь!

Сестрице говорю: «Нюска, ведь Цыган играют!» Та на меня как на больную: «Какой тебе Цыган? Цыган давно пропал». Молчу, а сердце бух-бух-бух! И что, Симуня, думаешь? Не усидела на печи. Скок с верха долой, за пимы схватилась. Тятя: «Ты куда?» — Я: «Тятя, до гармошки. Ведь Цыган вернулся!» Тятя заругался: «С тобой все ладно, девка?» Я дверью хлоп — и ходу... А он сидит себе, христовенький, народ вокруг собрался. Посреди зимы! Во как, девка, было дело. Во какая встреча!

Историю о том, как через восемь лет Гусариха узнала по игре Ефима, Серафима слышала не раз и знал б наизусть, не вспоминай соседка новые подробности...

— Чем дырявить свой подсумок, лучше б поиграл, а мы, глядишь, потопали б, косточки б размяли, — бросила Гусариха Ефиму. — Ста лет гармонь с комода не сымал, зря тебя хвалила!

— Боюсь, оттопали своё, — сказала Серафима. — Ноги еле волочу — опухли на жаре, стали как столбы. По ночам в суставах ломит — спасу никакого, мази не берут.

— Кто сказал, оттопали? — дурачилась Гусариха. — Как ещё и спляшем! Ефиму стопку поднесём, он нам подыграет.

— Пусть вам Заволокин подыграет, он без стопки добро шпарит.

— Ага, — кивнула Серафима. — Я вот погляжу на братьев Заволокиных, как они гармонь пропагандируют, птахой улетела бы в деревню. У нас в Камышинке под Омском были гармонисты — вашим не уступят.

Ефим закончил свою мысль:

— А мы с тобою, Феня свет Даниловна, споём, когда отстроим дачу. Сядем на порожке, гармонию развернём и в песняка ударимся... Во когда споём!

Серафима рассмеялась недоверчиво:

— На дачу, что ли, замахнулся?

— Да ну его с его замахами, — поморщилась Гусариха. — Всё бы плановал.

— А почему бы нет? — Ефим пожал плечами. — Пока здоровье позволяет, надо успевать. Снесут весной, так закукуем.

— Так ведь в копеечку влетит!

— Влетит, а кто же спорит? Что припасал на чёрный день, всё придётся выложить. Я без земли засохну в один год.

Серафима разом сникла.

— Ой, как же я-то буду, а? Вы всё-таки вдвоём, дачу смаракуете, всё можно продержаться... Я-то буду как? Ни денег, ни здоровья.

— Да что ж убиваться? — вставила Гусариха. — Как-нибудь, чай, не война.

— Пойду, — сказала Серафима. — Засиделась я у вас... Кота кормить пойду. Орёт, поди, голодный.

Пришла домой, покликнула кота, а кот запропастился. Села на кровать, лицо ладонями закрыла.

* * *

Серафима часто думала о будущем, реже — о минувшем. Но, размышляя о прожитом, раскладывала годы на светлые и чёрные, укоренялась в грустной мысли: прав был зампредисполкома — не умели жить.

Вся жизнь, как день, прошла в работе. С одиннадцати лет снопы за матерью вязала, Боже упаси, чтоб в чём-нибудь схалтурить. Сперва за трудодни — за «палочки» в колхозе, потом за жалкие гроши...

Лёгкой жизни не искала. Замуж вышла в двадцать семь, по деревенским-то понятиям — старухой. За кого пошла, тоже понимала. Матвей был старше на семь лет, только что из лагеря — ни кола, ни двора, ни алтына за душой. Уж как в деревне ни страшали: тюремщик он и душегубец, и укрошит ни за грош, следочка не отыщется. Приехали на Север и жили душа в душу. Хоть от зарплаты до зарплаты, с копейки на копейку — охота да рыбалка выручали, но в мире и согласии. Сам работал в ВОХРе, сидел на ста рублях, она — куда без грамотёшки? — в рабочих да техничках. Всего добра нажили — лодку с лодочным мотором, сети да ружьишко. На чёрный день не накопили капитала. А зря. Ой, зря. Жили, получается, не то чтоб бестолково — вроде, по-разумному, но без загляда наперёд. Сыт, одет, обут и — ладно. Довольствовались малым, к богатству не стремились.

Вот где промахнулись! На что, казалось бы, Матвей, жизнью тёртый-перетёртый, битый-перебитый, — и тот, бывало, говорил: хуже, мать, того, что было, уже никак не может быть. Хватит, натерпелись...

И как иначе было думать, когда, казалось, жизнь устанилась, как погода, ничто не предвещало перемен. В магазинах худо-бедно поесть-попить стояло, одеться выбор был... Чего ещё хотеть? Чего ещё желать? Кто мог подумать, чем всё обернётся, что к старости настигнет новая беда?

Прав был исполкомовский бугай: трудиться надо было на себя. Гусаровы давно, видать, смекнули. Вот у кого бы поучиться в своё время. Сиди и плачь теперь горячими слезами...

Из радио на стенке под лёгкую мелодию вперемежку с птичьим щебетом звучал слащавый голос психотерапевта:

— Чувство усталости покидает тело... Свежее в голове...

На душе легко и чисто...

За дверью завопил внезапно кот.

8

Серафима проводила квартирантку на каникулы. Проводив, всплакнула в одиночестве...

Квартировала Лена у неё вот уже три года. Пустила постоялицу не столько ради денег, хоть и двадцать пять рублей были ей подспорьем, сколько от тоски и одиночества. Случалось, квартирантка пропадала сутками, Серафима беспокоилась, сосала валидол — время-то тревожное! — звонила коменданту в общежитие, бранилась вгорячах и обещала выгнать, но Леночка глядела на неё козьими глазами, и Серафима остывала...

Яшка Шнайдер (тьфу, тьфу, тьфу да через левое плечо!) вроде бы одумался, вышел наконец из двухнедельного запоя.

Однажды Серафима наведалась в барак, застала горемыку в собственной «берлоге».

Он лежал на низком продавленном диване, накрывшись рваной простынёй, и, обливаясь крупным потом, глотал горячий чай, заваренный вкрутую. На тумбочке, застланной

газетой, стояли чайник, кружка с желтыми потеками чифиря.

– Живой? – осведомилась Серафима.

– Живой, да мало толку.

Спёртый воздух, пропитанный вонью винных и табачных перегаров, волной ударил в нос, и Серафиму чуть не вывернуло тут же наизнанку. Она толчком открыла дверь и отдышалась у порога. Прошла к окну, сквозь чёрное стекло которого почти не пробивался свет, и приоткрыла форточку.

Яшкиной «берлогой» называлась комната с газовой плитой и умывальником над тазом, отделёнными от «зала» грубостругаными досками, забранными в паз, где на ржавых гвоздиках сверху держалось нечто заменяющее шторы. Весь интерьер этой «берлоги», прокопчённой дымом, составляли стол, накрытый, как и тумбочка, жёлтыми от давности газетами, два рассыпающихся стула с мягкими сиденьями без спинок, кособокий шкаф с незакрывающейся дверкой, набитый скомканным бельём, гитара на гвозде и осколок зеркала. Всюду – на полу, в углах, на подоконнике – стояли батареями мутные бутылки, склянки, полные окурков, валялись корки хлеба, бутылочные пробки...

«Всё пропил, все промотал! Когда-то любо было глянуть. Чистота, уют, порядок. Ковровое покрытие... А ковёр на стенке? А магнитофон?..

– А где магнитофон? – остановилась Серафима посередине комнаты, увидев на столе пустующее место.

Яшка глотнул чая и отставил кружку:

– Загнал за пару стольников. Без бабок я, тётъ Сим... Без бабок, без работы. Две недели фестивалил, работу потерял.

– С чем и поздравляю! Добился своего. Зато с Шурупом нагулялся. Откуда ты и выкопал богатого такого? Нет чтоб подыскать товарища серьёзного.

– Только без нотаций! Шурупа проводил. Баста. Надоело. В завязке я, тётъ Сим. Вот отдышусь и – за работу. Рабочим в магазин. С Тосей разговаривал – берет на испытание.

– Крепко ль завязал-то? И долго ль развязать? Сколько раз ты зарекался? До первой лишь полочки, знаю я тебя. В пятом долго не продержишься, вылетишь, как пробка.

— Всё, всё, всё, тётъ Сим. В завязке. Решил самостоя- тельно. Обрыдло по-свинячьи...

— Кабы так оно и было!

Яшка встал с дивана, прошёлся до порога.

— А ты по делу или — так?

— Да попроведывать тебя. Дай, думаю, зайду — не помер ли с похмелья? Да и по делу тоже, — замялась Серафима.

— Усёк, тётъ Сим. Врубился. Будут покупатели. Сегодня же и будут!

Яшка вдруг повеселел:

— Гляжу, за ум берёшься, а? Давай с тобой на пару исправляться?

— Чего мне исправляться? Я давно исправная! — Сера- фима оскорблённо помолчала. — Ну, я пошла. Берись за ум!

— Да по тридцатнику с полбанки! — вдогонку крикнул Яшка. — Копья не уступи!

* * *

Слух о том, что в горсовет обратились верующие с прось- бой узаконить православную общину, прошёл в Кедровом год тому назад. Молва не удивила околотов: здесь не было секретом, что богомольцы города имели свой молельный дом. К сборищам старух и стариков на Перековке относи- лись с недоверием — в памяти всплывали жуткие легенды о проживавших некогда вблизи семьях староверов...

Зимой попала на глаза свежая газета с письмом извест- ного в районе ветерана.

Серафиму удивило не столько содержание письма, озаг- лавленного броско: «Даёшь народу Храм!» — сколько под- пись под письмом — к народу обращался старый коммунист, бывший секретарь Кедровского горкома. Бывший аппарат- чик каялся в грехах, поскольку в своё время руку приложил к варварскому сносу церкви в южной части города, теперь же, осознав преступность прошлых «подвигов», заново оце- нивая путь, пришёл к необходимости возврата к «истокам» и «корням», призывал вернуться к православной церкви и воссоздать в Кедровом Храм, но не на прежнем месте, осквернённом нынешней пивной, а непременно в центре

города, на Советской площади, напротив здания горкома, себе в укор и в назидание потомкам.

Вскоре после покаянного письма состарившегося грешника Лена Дыбина пришла с сияющим лицом: «Серафима Ниловна, что делается, а? В Кедровом будет Храм! Сегодня вынесли решение наши депутаты. Чуть наискосок от здания горкома — на Большом Холме! Вы представляете, какая красотища? Ай да молодчуги богомольцы, добились своего!»

И вновь не столько весть о разрешённом Храме, сколько искренний восторг молоденькой студентки поверг в недоумение: «Тебе-то что за радость? В Бога, что ли, веруешь? Что-то непохоже...» — «Так я же отродясь в церкви не бывала... Ужасно любопытно!»

Серафима хмыкнула, взглянула недоверчиво. Вечером к Гусарихе зашла: «Храм им подавай! Тут крыши нет над головой!» — и осеклась на полуслове, вспомнив о «святом письме»...

Листок из ученической тетради, исписанный расштантными буквами, был обнаружен в сенцах на полу недели две тому назад. В подброшенном письме скупно сообщалось о некоем больном мальчике одиннадцати лет, на берегу неведомой речушки увидевшем Христа и получившем от него послание с наказом девять раз переписать и в три недели разослать по разным адресам. Богобоязненный мальчонка выполнил Христово поручение и был вознаграждён чудесным исцелением...

Под страхом всяческих напастей письмом предписывалось сделать то же, что и мальчику с неведомой речушки. Серафима колебалась. И вроде бы не верилось в обещанные кары, наслышана была о подобных письмах, и в то же время понимала: никто не застрахован от беды, тем более она. Взяла у Лены чистую тетрадь, три копии осилила к полуночи. Одну подсунула Гусарихе, вторую надписала Сотниковой Тосе, а третью — сдуру — Яшке. Пальцы занемели с непривычки, отложила переписку в долгий ящик...

Теперь же смутный страх перед неясным будущим заставил вновь вернуться к письмам.

В десятом часу вечера негромко постучали. Серафима вышла в сенцы.

— Кто?

— От общего знакомого, — ответил мягкий мужской голос. — К вам посоветовал зайти.

Серафима лихорадочно зашарила руками, пытаясь найти ощупью крючок.

— Сейчас... Минуточку...

Дверь наконец открылась. На крыльце стоял мужчина с располагающим лицом. Поодаль, у калитки, в свете от окна переминались в ожидании двое его спутников.

— Здравствуйте, мамаша, — кивнул приветственно мужчина. — Гости, знаете, нагрянули, надо б угостить, но... сами понимаете. А Яков подсказал...

— Войдите! — Пропустив вперёд мужчину, включила свет в прихожей и опрометью скрылась в кухне. С пылающими щёками, с внезапной дрожью пальцев из рюкзака достала водку. — Осталось с поминок четыре бутылочки, сплавить бы их с глаз! — сказала как бы в оправдание. Взяла обеими руками тёплую бутылку, вынесла в прихожую. — С поминок, говорю... Куда её девать? Сама не пью — стара, и молодой не увлекалась...

Мужчина понимающе кивнул, из заднего кармана плотно облегающих светло-серых брюк выудил бумажник.

— Четыре, говорите? Так я, пожалуй, все и взял бы. Вам, я полагаю, всё равно? Оптом даже интересней?

Серафима справилась с волнением.

— Еще б не интересней, в минуту гора с плеч!

Мужчина чуть смешался, заглянув в бумажник.

— Вот если б по пятёрочке скостили... Стольник у меня. Хотя, я понимаю, не в ваших интересах.

Но Серафима с радостью вцепилась в предложение.

— До заради бога! Берите её всю. Стольник, значит, стольник! — И снова скрылась в кухне.

— Очень вам признателен, мамаша, — бормотнул мужчина, отсчитывая деньги. Бросил их на стол и рассовал

бутылки по карманам. Серафима проводила покупателя и вернулась в дом.

— Вот и всё, избавились от водки. Прости меня, грешную, Господи!

9

Духота белых ночей сменялась дневным зноем. В кюветах радужно струились испарения бензина, от дымов лесных пожаров дали затуманились, пойму обмелевшей Невлевки затянуло мглой, по вечерам в Кедровый доносило запах гари. Чёрной пеленой на город навалился смог...

Днём Серафима укрывалась от жары в Леночкиной комнате, наглухо зашторивала окна, включала вентилятор. В поздние часы поливала грядки, прореживала зелень.

* * *

Утром почтой принесли бумагу из собеса, приглашали для вручения талонов.

В битком набитом стареньком автобусе, катившемся толчками по разбитому асфальту, Серафиму, сжатую со всех сторон, крутило, как вертушку, потными телами озлобленно сопящих пассажиров, входивших и отчаянно локтями пробивавшихся к выходу.

Приехала в собес, а там столпотворение. Для получения талонов нужно было предъявить паспорт, трудовую и... рентгенограмму. Собес производил учёт пенсионеров и заодно оказывал содействие больнице. Паспорт Серафима всегда брала с собой, куда б ни отправлялась, поскольку, слава богу, знала: без бумажки ты букашка... Но трудовую и рентгенограмму? Это было что-то новое. И всё же Серафима стала ждать...

За полированным столом в уютном кабинете сидела крупная девица с томными глазами, огненной копной крашенных волос. Мельком взглянув на Серафиму, склонилась над конторской книгой. И Серафима вострепнулась, узнав к девице Зою Колыванову...

Пятнадцать лет назад Зоинькина мама — Вера Николаевна — работала бухгалтером в конторе горрыбкоопа,

а Серафима там же убирала и по совместительству числилась курьером. Малышка-первоклассница Зоя Колыванова часто заходила заплетать косички, и Серафима вызывалась услужить. Смышлёную малышку любили все конторские.

«Да кто же это к нам пожа-а-аловал?!» — сюсюкали они, одаривая общую любимицу всяческими сладостями. «Зоинька пришла», — любезничала девочка. «А что нам Зоинька расскажет? Знает Зоинька стишки?»

«Будь умницей, дочура, — мать подталкивала Зою на середину кабинета, — сделай тётям одолжение, расскажи стишок». Зоя уточняла: «С выражением?» — «Ну да».

Зоинька старалась, в речи чуть «прицокивая»:

*Я маленькая девочка
Играю и пою.
Я Ленина не знаю,
Но я его — люблю!*

«Ещё, ещё, хорошая! — просила бухгалтерия. — Прочти нам что-нибудь ещё!»

Зоя вопросительно глядела матери в глаза. Мама разрешала, справедливо рдея от смешанного чувства нежности и гордости: «Ну, если тёти просят, сделай одолжение!»

Зоя уступала:

*Камень на камень, кирпич на кирпич.
Умер наш Ленин Владимир Ильич!*

«Ах, сладкая ты наша!» — бурлила бухгалтерия.

«Славненькая девочка!» — млела Серафима.

Зоинька вздыхала не по-детски скорбно и обращалась к матери с вопросом, приводившим бухгалтерию в неописуемый восторг: «Мамочка, поцто меня так любят?»

Не отрывая томных глаз от разграфлённой книги, Зоинька спросила:

— Всё ли принесли?

Серафима вкрадчиво склонилась за столом.

— Уж не гони меня обратно, доченька хорошая. На Северной живу — у чёрта на куличках. Автобусы

полнёхоньки, а ноженьки не ходят. Приеду следующий раз, всё и предъявлю.

— Ничего не знаю — было указание. По радио давали объявление.

— Да разве всё уловишь, что оно бормочет? Приеду следующий раз — всё, Зоя, привезу...

В глазах у Зоиньки сверкнуло любопытство. Серафима пояснила, предугадав вопрос:

— Ты, может быть, меня не помнишь — маленькой была, а я тебя прекрасно помню. И тебя, и мамку — Веру Николаевну. Тебе, бывало, косы заплетала. Волосики хорошие, мяконькие были...

Зоинька вздохнула удручённо:

— Так что вы от меня хотите? Порядок есть порядок, он один для всех...

Проклиная всё и вся — порядок и собес, учёт и горбольницу, автобус и жару — Серафима поплелась на остановку

В собес вернулась к вечеру. С пачкой документов в фарточном кармане. Народ уже разбрёлся. Села в коридоре, отдышалась...

Послюнив пухлый пальчик, Зоя полистала собесовскую книгу с колонками фамилий, ткнула красный ноготок в строку под Серафиминой. Из выдвижного ящика стола достала пачку отштампованных талонов.

— Пожалуйста, Колягина. Больше разговоров!

На паспорт, трудовую и рентгенограмму она и не взглянула. Вот что доконало Серафиму. И — лопнула внутри её пружина...

— А документы для чего? Зачем в такую даль стогняла? Бессовестная, как погляжу! Я к «мамоцке» твоей как-нибудь наведаюсь, всё ей обскажу!

Зоинька вскочила, выронила книгу.

— Ваше дело предъявить, а уж смотреть мне или нет — позвольте мне самой решать!

— Жаловаться буду вашему начальству!

— Это вы умеете. Вас хлебом не корми.

После долгих злключения Серафима прилегла, но сон не шел. Так и эдак рассуждала, а выход виделся один — в Камышинку. Домой...

Как жить дальше на чужой земле? Скоро Перековку разорят. Даже Яшка не заглянет, разве что за опохмелкой. От Леночки придётся отказаться — больше комнатёнки не дадут, вдвоём не развернуться. Страшно жить одной. А ну как заболеешь? Свалишься бревном? Никто воды не поднесёт, горшка никто не вынесет. Ноги и сегодня через силу ходят, а через годик-два? Заживо сгниёшь в пустой квартире. В пятом магазине слышала историю: в «ямке» нынешней весной в домике-скворечнике нашли старуху-инвалидку, умершую от голода...

И что ни говори, Кедровый — пристань временная. Сколько б ни жила на чужой сторонушке, а домой тянуло. Север, он для молодых...

Ехать. Надо ехать! Нечего раздумывать. В Камышинке родня, всё равно не бросит. Хоть и на родню сегодня не надейся... Свои друг к дружке охладели, родня родню не признаёт, стороной обходит, словно бы куска не поделили. Как там Парамон? Вот тебе и братка! Ни открытки, ни письмишка. До сих пор, однако, не простил, что удрала тогда с Матвеем. За что такая нелюбовь? Жизнь близится к концу, пора б остепениться, держаться друг за друга, рук не разжимать. Остаток дней прожить по-человечески...

И всё же — ехать, ехать. Нельзя здесь оставаться. Пускай несладко будет дома, никто весёлой жизни не устроит — везде нужда, у всех нехватка, но будет там покойней на душе, страха одиночества не будет. Да и совхоз не отмахнётся в крайнюю нужду, вспомнит, что своя, в колхозе начинала. Дров машину привезёт и огород распашет. Картошку сама на коленях, но посадит — много ли ей надо? И поросёнка заведет. Курочек с десятков. Уток... Уток, ну их к дьяволу — прожорливы! — лучше бы гусей. Ужель совхоз половы пожалеет?

Но главное, — умрёт, схоронят по-людски, поплачут и помянут, к могилке тропку проторят. Избёнку-то придётся

покупать, никто квартиру не подарит. У Парамона тесно, своя семья сам пят. Найти жильё несложно, считай, что пол-Камышинки крест-накрест заколочено, были б только деньги — вот в чём заковыка. Куда ни кинь — всюду клин, и упирается в деньги.

10

Уже неделю Яшка Шнайдер работал в пятом магазине. Выстаивая очередь, Серафима видела его в коротком, не по росту, жёваном халате снующим за прилавком к подсобке и обратно. Зубоскаля с продавцами, играючи ворочал пятипудовые мешки с солью и мукой, вносил товар в торговый зал и выносил оттуда тару, пальцами, как ломиком, вспарывал бумажные кули, вскрывал картонные коробки. Видела в заднем дворе магазина размахивающим жиденькой метлой, в кузове машины, в кругу сезонных грузчиков и ремонтирующим ящики. Или Яшке по душе пришлась новая работа, или после дикого запоя взялся наконец за ум, или — к этому склонялась Серафима — дорожил доверием милосердной Тосюшки, но всю неделю ходил трезвым.

Серафима наблюдала, как быстрым и упругим шагом он шёл с работы или на обед — весёлый, говорливый и насмешливый, за руку здороваясь с каждым встречным-поперечным, и, отмечая в Яшке перемену, ловила вдруг на мысли, что ждёт, когда он к ней заглянет. Зайдёт ненароком: «Надумала, тётъ Сим? Клиентов обеспечу». И от одной лишь этой мысли бросало в жар и холод...

Она давно уже надумала. Мечта о гнёздышке в Камышинке всецело завладела ею. Требовались деньги. Тысячи две-три хватило б за глаза на переезд и обретение угла — какой-нибудь избушки, о доме не мечталось. Но и такие деньги ей во сне не снились...

Она ждала и все же, когда в один из вечеров Яшка с сумкой на плече переступил порог и заглянул с опаской в Леночкину комнату — нет ли посторонних? — вдруг оторопела, руки опустились. Яшка бросил в ноги сумку с надписью «Спортивная», облегчённо выдохнул, расправил грудь и плечи. Был он в свежей дымчатой рубашке,

заправленной под выцветшие джинсы, коротко острижен, наодеколонен.

— Ну что, тётъ Сим, лиха беда начало?

И по тому, как в сумке взбрякнули бутылки, Серафима убедилась — дождалась. Но, испугавшись пронизательности Яшки, отступила в сторону.

— Что там у тебя?

— Товар, тётъ Сим, товар. Ведь мы договорились. Или я чего-то недопонял?

— Откуда столько, Яша?

— Вот этого тебе пока не нужно знать.

Втайне ожидала со дня на день, но чтобы так вот — сразу с водкой, в твёрдом убеждении в её незамедлительном согласии — о том помыслить не могла.

— О чём ты говоришь-то? О чём договорились? Водку, что с поминок оставалась, сплвила, спасибо. Другого уговора не было у нас.

Яшка от досады навскидку щёлкнул пальцами.

— Да ну тебя, тётъ Сим. То вроде бы не против, то снова за своё!

Сжав пальцы в кулаки, Серафима поднесла их к подбородку, качнула головой неодобрительно.

— С чего ты взял, что я не против?

— Вижу по глазам! — огорошил Яшка. И, не давая возразить, закончил тем же тоном: — Вижу — жмётся, трётся... Руби свои сомнения. Руби, пока я добрый. А то ведь передумаю — ногти обкусаешь!

— О чём ты, окаянный?!

Яшка перевёл дыхание, отдельно произнёс:

— Значит, так, тётъ Сим... Решай. Если нет, то я пошёл, если да, бери товар и ожидай клиентов.

Серафима фартуком вытерла глаза.

— Боязно мне, Яша... Грех на душу беру.

— Бог тебя простит! Бери товар, не бойся. Если что, дай знать... Я почему тебя прошу? Менты мою берлогу знают. Для них она вроде как притон. А где притон, там часто шмон. А ты вне всяких подозрений. Клиентов буду посылать порядочных, надёжных... Торгуй себе спокойненько... Бабки мне нужны. Ба-абки, понимаешь? И тебе не лишни.

Тебе тем более, тётъ Сим. Четверть выручки твоя — вот какой я щедрый. — Яшка выставил бутылки.

Серафима пустым взглядом уставилась на водку.

— Поглядел бы на меня покойничек Матвей! Генка поглядел бы. Сгорела б со стыда!

Повинуясь безотчётному порыву, Яшка подскочил к окну, взгляделся в сумерки, резко обернулся.

— Стыдно перед сы-ыном? Перед подлецом? — медленно приблизился к печи, тронул Серафиму за рукав, в глаза ей заглянул. — Святая простота... А ему не стыдно?

Серафима отмахнулась как от наваждения.

— Что ты, Яша, мелешь? Генка ли подлец? Он ведь другом был твоим. Ну тебя, ей-богу!

— Волк тамбовский ему друг, а не Яшка Шнайдер! Подлец он, хочешь или нет, — сцедил сквозь зубы Яшка. — Ещё какой подлец прожжённый! Он почему к себе тебя не перевёз, когда Матвей Егорыч умер? Да потому, что выдра ошетибилась, поставила условие: либо я — твоя жена, либо матушка твоя... И всё, и Генка скис. Другой бы взбунтовался, показал характер, а Генка рученьки по швам. Но не ради юбки, не-ет! Кого-кого, а Генку знаю. Ради перспективы-ивы! Ради продвижения! — с презрительной усмешкой выговорил Яшка. — Они его продвинут в свою стаю! Тряпка — не мужик... Да, я тоже тряпка, если уж начистоту. Пьянь и размазня. Но не подлец, тётъ Сим, поверь. Разве я не вижу, что крутишься, как белка в колесе? А он тебя хоть словом поддержал? Какую-никакую надежду подарил? Нужна ли ты ему? Можно ли так с матерью? Кому должно быть совестно?

Серафима встала, сплела руки на груди.

— Ты Генке не судья. Пусть живёт как знает. Не ломать же ему жизнь даже ради матери? Я пока ещё таскаюсь и себе хозяйка. Сама бы не поехала к нему. Когда уж ноженьки откажут, стану недвижимой, тогда и Генка — мне ль не знать? — не бросит, заберёт.

— Слушай, сколько тебе лет? — Яшка вскинул руки, сел и застонал, отпав на спинку стула.

— Ты что? — насторожилась Серафима. — Чего зубами заскрипел?

— Прожила ты свою жизнь и ни-че-го не поняла! Каждый для себя живёт. Каждый для себя и каждый за себя. И никому ты не нужна. Была нужна, когда пахала. Теперь тебя списали. Теперь ты — хлам, тётъ Сим. Поверь.

— Да ну тебя, ей-богу!

— И всем ты в тягость и обузу. Ни на власти, ни на сына, ни на Бога не надейся. Я это понял хорошо. И потому протягиваю руку. Ты поможешь мне, я помогу тебе. Будем выкарабкиваться вместе. Без бабок в наше время ты не человек... Сама недавно говорила: цель должна быть в жизни. Но к цели продвигаются с толстым кошельком, с тонким делать нечего. Пока ещё я в силе и в своём уме, должен обеспечить себя бабками. Вот цель так цель, всем целям цель. Скажи, что я не прав!

— Может быть, и прав... Да только уж ступай, не распинайся. От правоты твоей не легче.

11

Верила ли в Бога Серафима?

...Помнилось как сон: девчонкой несмышлёной, лет пяти-шести, напросилась с бабушкой и матерью в соседнее село на праздничную службу. С рёвом напросилась. Была весна, но снег ещё не стаял, лежал в низинах грязными лоскутьями, блестел в логах искристой коркой. Птичьим граем спозаранку огласилась роща, тёплый ветер обдувал лицо, парное ото сна. Вышли поутру и долго, с остановками, шли раскисшим слякотным просёлком. Сердчишко встрепенулось, когда на чистом взгорке, в стороне от скученных избёнок, частоколов увидела впервые осихинскую церковь. В благоговейном трепетном молчании взирала на чудесный Храм, возникший будто бы из сказки, с его округлыми торжественными стенами, сверкающей на солнце золочёной маковкой, сияющим крестом... Под тихий благовест христосовались люди с блаженными улыбками на просветлённых лицах, с глазами, полными любви, прощения и кротости. Бабушка взяла её за руку, и с суеверным страхом и почтением к неведомому таинству, должному свершиться, она взошла на паперть по высокой лесенке с чугунными

перилами. Горящий солнечным огнём иконостас и образа в серебряных окладах, сладкий запах ладана, седой священник в длинной рясе, выплывший, казалось, из-за алтаря, лёгкий чад кадила и свечей, суровые старухи в суконных тёмных шалях, волнообразный шелест голосов — всё это, вместе взятое, вдруг захлестнуло жалостью к себе, тревогой, робостью, сиротством, и, ткнувшись в материн подол, захныкала: «Домой... Домо-ой... Домо-о-ой!» — «Негодная девчончиш-шка!» — зашипела бабушка.

«Домо-ой! Хочу домо-о-ой!» — заплакала навзрыд.

Другое тоже помнилось...

Пришла домой из школы, а мать в святом углу — молилась на икону.

«Мама, Бога нет. Бог — опиум народа!»

Но мать не рассердилась, даже и не цыкнула. Встала медленно с колен, привлекла к себе. Только и сказала: «Мелко, дочка, плаваешь... Когда-нибудь дотянешься до Бога!»

Пусть в церковь не ходила, обрядов строго не блюла, не знала слов молитвы, как истово верующие бабушка и мать, глядела на иконы, как баран на новые ворота, не в состоянии постигнуть смысл загадочных сюжетов. И где ж было постигнуть, когда со смертью матери последнюю икону спрятала в сундук — стыдилась, дурочка, подружек — увидят, обсмеют! — да кабы только это — накажут за религию. И всё же втайне верила, ибо совсем без веры как же можно жить? Без веры, чувствовала, жизнь стала бы пустой и беспросветной. И верила по-своему — не в Человека-Бога, а в некий Высший Разум. Всевидящий, всезнающий. Которому подвластно всё сущее на свете...

Утром Серафима отделила двадцать пять рублей от июльской пенсии и с облегчённым сердцем отправилась в сберкассу. Внесла свой вклад в постройку Храма, в котором — знала точно — уже не помолиться.

* * *

Вечером калитку закрыла на вертушку, накинула крючок на сеничную дверь, но, вопреки обыкновению, домашнюю оставила открытой. Включила свет в прихожей

и выключила в горнице. Без аппетита похлебала жиденькой окрошки и запила всё тем же тёплым квасом. Включила телевизор. Три мужика за круглым столиком спорили о роли новых партий в перестройке. По второй программе народные избранники толклись у микрофонов, с мольбой взирая на Лукьянова, с улыбкой разводящего руками. Серафима, вздохнув, отключила «говорильню». У ног, мурча и выгнув спину, тёрся рыжий кот.

— Да чтоб ты потерялся, надоеда! — толкнула Серафима настырного кота. Кот обиделся, запрыгнул на кровать, свернулся на подушке.

Ожиданье становилось тягостным. Серафима прилегла. Но гул машин, треск мотоциклов, скрежет дикой музыки из городского парка, порывами влетающий в раскрытое окно, шаги на тротуаре — любой из этих звуков вскидывал с постели. Когда и звуки растворила в себе ночь, Серафима задремала, и требовательный стук в раму выходящего на улицу окна застал её врасплох.

За окном на тротуаре стоял высокий парень в белой водолазке. Серафима вопросительно мотнула головой. Парень молча шёлкнул себя по кадыку...

Из батареи под кроватью выхватив бутылку, бросилась к порогу. Уняв сердцебиение, выскочила в сенцы. Бросила бутылку в матерчатую сумку, висевшую за дверью. Оставив свёрток на крыльце, подошла к калитке.

— Чего тебе?

— Бутылочку...

— Бутылочку ему... Откуда у меня?

— Яша посоветовал...

Гусаровская Найда, громко брякнув цепью, вдруг захлебнулась лаем. Серафима вздрогнула.

— Кошку усекла! — засмеялся парень.

Рыжий кот беспечно умывался на заборе вблизи Ефимовых сараев. Серафима сплюнула в сердцах.

— Чтоб тебя собаки разодрали!

Принесла бутылку. Следуя наказу опытного Яшки, пересчитала деньги в свете от окна и лишь затем через калитку подала «товар».

— Случайно застоялась!

За полночь клиенты зачастили. Серафима опрометью кидалась за порог. Клиент шёл больше трезвый, при немалых деньгах, лишнего не спрашивал, но Серафима, принимая смятые купюры, в запале бормотала:

— Случайно застоялась!

В третьем часу ночи, когда из дюжины бутылок оставалось две, громыхнула сеничная дверь — второпях, видать, оставила незапертой калитку, и припозднившийся клиент прошёл через подворье. Выскочила в сенцы.

— Кто там тарабанит?

— Открой, торговка, дело есть! — раздался пьяный голос.

Клиент был явно не от Яшки.

— Иди, иди отсюда. Не знаю, кто ты есть и по какому делу, но разговаривать с тобою не хочу.

— На сто рублей, торговка, дело!

— Кто тебя прислал-то?

— Голос. Внутренний мой голос. Иди, кричит, собака, вдарь на завершение!

— Кто голосу дорогу указал?

— Нюх, торговка. Нюх. Он у меня по этой части любой овчарке фору даст.

И Серафима убедилась: далеко зашло. Бдительность утратила!

— Ступай, милок, отсюда. Нету у меня... Не было и нет. Нюх тебя подвёл.

— В натуре, что ли, старая?

— В натуре, мой хороший. Ступай своей дорогой. Может, где найдёшь.

— Вот так накололся, мать твою рас-стак!.. — Пьяный тяжело затопал с крыльца, бормоча ругательства.

Серафима выждала, когда захлопнется калитка, закрылась на вертушку...

Тяжёлый полусон схватил её под утро.

12

Чем больше размышляла Серафима, тем ясней понимала, что тридцать пять кедровских лет прожиты на чужбине. Как бы проводила условную черту, незримо отделявшую

Кедровый от Камышинки, и всё, что видела по-новому вокруг — обломанный кедрач, замшелые холмы, глубоко-водностью и ширью пугающую Обь и высыхающую Невлевку, ревниво и пристрастно сравнивала с тем, что за чертой: берёзовыми колками, пшеничными полями, прудами и озёрами, и находила утешение в бесспорной несравнимости родного, незабытого... Даже от названий сёл и деревень — заброшенных и здравствующих ныне — Камышинки и Моршихи, Крутинки и Осихина, Малькова и Ключей — казалось, исходили свет и благодать в отличие от холода и мрака местных Рямонок, Атлымов и Урманых. С неизъяснимым удовольствием произносила Серафима забытые, казалось, имена сельчан и радовалась крохам, сохранённым памятью...

Жаль было лет, прожитых вне Камышинки, но в мыслях не корила покойного Матвея. За что было корить? Не в поисках удач и приключений увёз её на Север, оставил на забвение могилы стариков. Не от хорошей жизни скрылся из Камышинки, а от недобрых взглядов, слухов, кривотолков...

Днём в ожидании «товара» села за письмо брату Парамону. После многочисленных приветов приступила к главному:

«...Своё житьё-бытьё описывать не стану, не хуже понимаешь, каково приходится одной в отрыве от своих. Генка — не опора, зря тешилась надеждой. А потому надумала вернуться по весне. Поспрашивай у наших, кто бы мог продать недорого избёнку, но чтобы с огородом и сарайкой.

Узнай да поторгуйся. Как что-то подвернётся, так сразу же дай знать. Всё пораспродам, а денег наскребу...»

Подумав, приписала после «До свидания»:

«Не тяни и не откладывай, не заставляй упрашивать».

И не случайно приписала...

В войну возила сено с ним на пару. Вставали спозаранку, приезжали затемно. Пока кобылу распряжёшь, придёшь домой, разденешься, поешь скорей-скорей, и спать ложиться незачем — время запрягать. Братишка уставал, не высыпался. Было жалко, но будила: «Вставай, сходи на конный двор, приведи кобылу». Парамон капризничал, протирал глаза: «Как ты надоела с твоим сеном!» — «Вставай,

вставай — светает». Парамон вставал: «Так и быть, кобылу приведу, а запрягать не стану». Приводил кобылу, садился на порог и смолил махру — курил лет с девяти. «Брательник, запрягай!» — велела Серафима. «Ладно, запрягу — за сеном не поеду». Запрягали. Пора ехать. Парамон упрямился. «Поедешь или нет?» — сердилась Серафима. «Поехать-то поеду — накладывать не стану». И так до бесконечности...

И вот уже в годах, а детская упряминка в нём укоренилась.

* * *

В последнее время город жил слухами. О денежной реформе, наценках, дефиците. В пятом магазине судачили о мафии, строили догадки о диверсиях, предсказывали голод и разруху. Слухи дополнялись правдоподобными рассказами случайных «очевидцев» и «свидетелей». Серафима верила всему, скупала спички, соль, муку — всё, что лежало на прилавках...

В один из поздних вечеров послышался ей шорох во дворе, в заборе за сараем скрипнула калитка. «Не Яшка ли пожаловал с товаром?» Но Яшка должен был по уговору наведаться только к утру.

Серафима вышла, огляделась. В конце двора, перед сараем, покачивались стебли картофельной ботвы. Гусаровская Найда, сомлевшая от зноя, твякнула два раза и, высунув из пасти розовый язык, скрылась под навесом.

«Дворняга или кошка прошмыгнула... Или кто-то из Гусаровых вышел по нужде», — решила Серафима, вспомнив, что к соседям приехали вчера дочь Екатерина с мужем-вертолётчиком Денисом и шестилетней дочкой Викой. Вспомнив, успокоилась и вернулась в дом.

Но не прошло недели, и вновь она услышала ржавый скрип калитки в глубине двора. И тотчас, будто спохватившись, залиvisto, с подвывом, залаяла гусаровская собака... Через заднюю калитку кто-то, очевидно, проникал во двор. О заблудившемся клиенте не могло быть речи. Все ночные визитёры стучали упредительно в окно. Сделав несколько шагов — вкрадчивых и мягких — по направлению к сараю, Серафима встала, вслушалась, всмотрелась в заросли малинника,

скрывавшего забор, из-за которого (она интуитивно чувствовала это!), в щель её разглядывал кто-то хоронившийся в кустах. Серафима медленно ретировалась в сенцы...

Через несколько минут на дверь навесила замок и — с оглядкой, бочком подалась к соседям.

Хозяева и гости сидели в чистой, освещённой солнцем горнице. Посреди богатого зелёного стола высилась бутылка с мутной тёмной жидкостью. Гусариха беседовала с дочерью, Ефим, жестикулируя, с Денисом, на коленях у которого примостилась Вика.

Уже почти неделю Гусаровы работали на раскорчёвке отведённого участка. Длинноногая, костлявая в мамашу, живая и весёлая в отца, Екатерина пропадала с мужиками на делянке, окапывала пни и вырубала тал, а синеглазая в отца, кудрявая Вика хвостиком таскалась за Гусарихой, занятой домашними делами...

Слегка хмельной и размягчённый, Ефим вскочил навстречу.

— Садись сюда, Симуня. Обмоем наш участок. Будущую дачу!

Екатерина прыснула в ладонь.

— Как до Луны пешком до дачи, а ты уж за обмывку!

— Было бы начало! — возразил отец.

Гусариха придвинулась к Денису.

— Садись, Симуня, рядышком.

Но Серафима поняла, что вклинилась не вовремя. Что им до чужих тревог, когда семья вся в сборе!

— Нет, я на минуточку...

— Бабушка, а бабушка! — Вика соскользнула с колен отца, подбежала к Серафиме.

— Что, моя весёлая?

— Я тебе, бабусенька, тайну не скажу!

— Правильно, разумная. Раз тайну, то не надо.

Отец любопытствовал на свою беду:

— Какую, доча, тайну?

— Что в подполье у дедушки самогонка спрятана!

Гусариха икнула и выронила вилку, Екатерина густо покраснела. Тесть и зять переглянулись, закатились смехом. Денис схватился за живот.

— Продала дедулю с батей. Даром продала!

Серафима, чувствуя неловкость, разрядила обстановку:

— Я чего, Ефим, зашла? Найди мне покупателей. Лодку, лодочный мотор, ружьишко продала бы... Генке берегла, да он, похоже, плюнул. Деньги край нужны.

Сосед смахнул слезу, прошёл на место, сел.

— Давно пора, Симуня. Зачем добру ржаветь? Найду... Оценим, продадим. Внакладке не останешься.

— Бабушка, а бабушка! — снова встряла Вика. — У тебя клубничка есть?

— Есть, миленькая, есть. Сладкая да сочная!

— К бабушке хочу, — заявила Вика. — К бабушке Симуне ночевать пойду!

Екатерина подскочила и дала шлепка.

— Бессовестная девочка! Не стыдно попрошайничать?

— Ну что ты, мамка, злишься? — вступилась Серафима. — Пусть со мной пойдёт, ночку заночует. Вас тут целая компания, а бабушка одна... Всё будет веселей. Пойдем со мной, весёлая!

* * *

Серафима поливала, Вика лакомилась ягодой, попутно выдавая новые «секреты»:

— А бабка Феня мне клубнику рвать не разрешает...

Серафима краем уха слушала малышку, оттаивала сердцем, освобождалась от тяжёлых подозрений...

Дома Вика забавлялась с увальнем-котом, с ходу окрестив его Бароном. Носилась с ним по комнатам, звенела колокольчиком и перед сном опрыснула трусишки. Опрыснув, застеснялась, легла на взбитую постельку, уснула моментально. Не видела, не слышала, как, состирнув её белишко, металась Серафима, будто заведённая, от окна к калитке и обратно.

13

Тесная кладовка и чердак сарая были с незапамятных времён завалены разным барахлом. Настало время взяться за приборку.

Из нагромождения посуды, коробок и узлов Серафима извлекла на свет канистры и бачки, винты и инструменты. Сети, вёсла вынесла в сарай. Из паутинового угла обеими руками выволокла в сенцы железный сундучок, набитый дробью и картечью. С гвоздя в стене сняла ружьё и патронташ, полный тусклых гильз с жёлтыми глазками капсюлей. Старую двустволку с надтреснутым прикладом, схваченным латунной полоской, с промасленными чёрными стволами протёрла влажной тряпкой, занесла в прихожую.

За ружьишко, однако, уцепился Яшка, подгадавший к вечеру.

— Что, пушку продаёшь? — Он заглянул в стволы, огладил ложу и приклад.

— Продам, — кивнула Серафима, — к чему оно теперь? Яшка испытующе взглянул из-под бровей.

— Возьму, если не шутишь.

— Зачем оно тебе? Ты ведь не охотник.

— Буду приобщаться. На уток осенью схожу... Спрячь, не продавай. Хорошая пушенция. Матвей Егорыч, помню, дожил. В ментовке разрешение оформлю, сразу и возьму...

— И сундучок в придачу, — предложила Серафима.

— И лодку надувную! — спохватился Яшка.

— Что ещё за лодку?

— Резиновую лодку. Была у вас. Двухместная. «Омега».

— Кажется, была, — кивнула Серафима, — а где она теперь — убей меня, не помню.

— Ты поищи-ка хорошенько. А я оформлю разрешение, всё чохом и возьму.

* * *

Прибравшись к вечеру в кладовке, подошла к сараю. Приставив лестницу к стене, ступнёй опробовав на прочность перекладину, медленно, с опаской поднялась наверх, раскрыла дверцу настежь. Из чердачных пыльных сумерек пахнуло кошками и плесенью, войлоком и вениками, висевшими попарно в связках на жердине вперемежку с ржавыми язями. Влезла на чердак. Когда глаза привыкли к сумраку, в углу наискосок различила ящик, в котором, вспомнила,

хранились тент и надувная лодка. Серафима, морщась, по-дошла вплотную и, наступив на что-то мягкое — живое, непроизвольно дёрнулась и вскрикнула в ладошку...

В промежутке между ящиком и бревном в венце сарая на соломенной подстилке увидела истёрханньге полы Матвеевой «москвички», на которой, с головой накрывшись тентом, лежал мужчина в рваных башмаках. В изголовье у него виднелась сложенная вдвое ветхая фуфайка с торчащими из дыр клоками грязной ваты. Сбоку, на дощечке, стояли банка, полная водой, и полбуханки хлеба. На обрывке сморщенной газеты валялись головы и кости обглоданных язей...

Не отводя от ложа глаз, Серафима медленно попятилась к болтающейся дверце. Спустилась по скрипучим перекладинам до середины лестницы, грудью навалилась на трухлявое бревно, высунула голову в проём.

— Эй, кто там? Отзовись!

Выждав несколько секунд, выкрикнула громче:

— Кто ты есть? Подай же голос!

Человек по тентом шевельнулся, под край шуршащей парусины втянул поочерёдно обе ноги.

Струхнула Серафима, вскрикнула вибрирующим голосом:

— Я вот за милицией сполькаю!

Человек от вскрика вздрогнул, замер на мгновение. Изпод тента выпростал взлохмаченную голову, поднял белеющее в сумраке лицо. Уперев ладони в плотную засыпку, сдвинул тело к изголовью, сел и сбросил в ноги тент. Откашлявшись, глухо произнёс:

— Не бойся, добрый человек... — Он взял в руки банку, обливаясь, лязгая зубами, сделал несколько глотков.

Серафима обмерла.

— Ве-е-еня? Полигло-от?! Ты как сюда попал? Другого места не нашёл? Облюбовал лежанку! А ну-ка выметайся с чердака!

Дрожащими руками обнимая лестницу, грудью прижимаясь к перекладинам, Веня Полиглот спустился с чердака и тут же сел на землю, уткнув лицо в колени, прерывисто и загнанно дыша. Он был в замызганной штормовке поверх зеленой майки, в разбитых башмаках с присохшими

к подошвам комками белой глины. Потные, давно не стриженные волосы грязными пучками свисали с головы.

— С похмелья, что ли, маешься? — спросила Серафима. — Вам похмелье не беда. Вставай. Иди отсюда!

Веня поднял голову, окинул Серафиму безразличным взглядом. Испитое лицо, потный лоб пылали нездоровым красным цветом.

Серафима ойкнула.

— Да ты, никак, в жару? Вот ещё подарок! Вот ещё беда-то! И давно ты здесь? Ведь это ты меня тогда переполохал. А если бы помёр на чердаке? А если б не полезла я туда? Да что ж теперь с тобою делать? Куда тебя девать? Ступай уж в сенцы, что ли... Сомлеешь ведь на солнышке. Идти-то сможешь, нет?

— Смо-у...

— Давай, сердечный, потихоньку.

Веня медленно поднялся и нетвёрдым шагом пошёл за Серафимой. Усадив его на раскладушку, она слезила в подполье, достала кружку клюквенного морса. Веня жадно выпил, закашлялся до слёз.

— Вишь, как тебя скрутило! Что же мне с тобою делать? В «скорую» звонить? Ну конечно, в «скорую»! — Серафима, охая и ахая, отправилась к Гусарихе.

14

— Больного разбудите! — приказала врач. Из глубокой сумки достала стетоскоп и градусник.

Гусариха стояла у порога, неодобрительно качала головой, глядя то на Веню, то на Серафиму, то — вопросительно — на женщину-врача.

Веня разомкнул слипшиеся веки, раскрыл глаза с прожилками на выпуклых белках, обвёл присутствующих долгим мутным взглядом. Вдохнул и слабо улыбнулся чёрными губами.

— Курточку снимите! — скомандовала врач.

Трясушимися пальцами Веня выковырнул пуговицы из прорезей штормовки, неуклюже заложил термометр под мышку

— Да не тем концом-то, Веня, — заметила Гусариха. — Совсем уж как ребёнок!

Врач достала ручку и бумагу, пристроилась за столиком в углу.

— Имя, отчество, фамилия?

Веня кашлянул.

— Попов... Вениамин Михайлович Попов...

Простые имя и фамилия больного человека, которого никто от мала до велика не называл иначе, как Веня Полиглот, вдруг поразили Серафиму первоначальным смыслом: ведь и у этого несчастного, дошло до Серафимы, были мать, отец, семья, работа, радости, желания... Так где же и когда, и по какой причине — и есть ли оправдание тому? — утратил человеческое имя Вениамин Михайлович Попов? И есть ли смысл в его существовании, страданиях и муках?..

Врач, взглянув на градусник и вскинув в удивлении ресницы, скомандовала:

— Встаньте!

Веня встал и сдёрнул майку, поспешно её скомкал и сунул под матрас. В бока уставил тонкие рахитичные руки. Вдохнул, и немощная грудь заколыхалась в мелком кашле.

— Дышите... Глубже... Глубже!

— Сима, выдь-ка на минуту, — позвала Гусариха.

Серафима вышла на крыльцо и прикрыла дверь.

— Дура ты. Дура ты набитая! — постучав себя по лбу, выдала Гусариха. — Зачем домой его втащила? Отправила б в больницу своим ходом!

— Так он ведь еле дышит.

— Дошёл бы, не подох. А подох, так, может, и к лучшему.

— Ой, Феня, как ты рассуждаешь... Всё же человек.

— Ладно, сострадалица. Я что хочу сказать? Кружку, из которой напоила, выбрось на помойку... Кто знает, вдруг из легочных? Слышишь, как бухикат? И это, что ещё?.. — Гусариха запнулась. — Постель перетряхни. Матрас, подушку, одеяло.. У него, поди, кишмя кишит в башке... А запах от него? Как от помойного ведра!

— Так, может, заберут его в больницу?

— Не знаю. Побегу. Не заберут, так выгони.

Врач смотала трубку стетоскопа, сунула в кармашек белого халата. Сделав жаропонижающий укол, заполнила рецепты, отдала распоряжения:

— Обильное питьё, лекарство и покой... Боюсь, что воспаление. Надо бы ему в стационар, да коек нет свободных... Если станет хуже, вызывайте «скорую». Вот, кажется, и всё...

— Спасибо. До свидания, — кивнула Серафима и, проводив врача, вернулась в сенцы.

Веня одевался.

— Я сейчас уйду... Оденусь и уйду. — Веня натянул замызганную майку и надел штормовку.

— Куда же ты пойдёшь? — раздумчиво спросила Серафима.

— Где-нибудь перекантуюсь. Теперь-то как-нибудь... Спасибо вам, хозяйюшка, за вашу доброту.

— «Где-нибудь да как-нибудь!» — передразнила Серафима. — Вот что, мой хороший, разденься и ложись. Очухайся маленько, а там пойдёшь в больницу — лечиться тебе нужно. Куда сейчас пойдёшь? Снова на чердак? В таком-то состоянии? Ты поглядел бы на себя — краше в гроб кладут. От слабости шатает, как былинку. Голодный и холодный. Ложись и не перечь. Стеснительный какой! — Поставив точку в разговоре, подчёркнуто решительно зашла в дом. Вернулась с мылом, свежим полотенцем, стопую нижнего белья под мышкой и в руке. — Нагрею сейчас воды, помоешь голову и ноги... И переоденься в чистое — осталось от Матвея, мужа моего. Носи и поминай.

Веня растерялся окончательно. Сидел как истукан, глядя на Серафиму ошарашенно. Она поставила ведро с водой на газ, смахнула со стола в карман рецепты, отправилась в аптеку.

Гусариха, как тень, скользнула на дорогу.

— Что, Симуня, увезли твою находку?

— Увезли бы, да мест в больнице нет.

— А он? Где он сейчас?

— У себя оставила... Куда такого квелого?

— Ай, дура. Дурочка наби-и-итая! Что ж ты, девка, думаешь? Да пока ты ходишь, он тебя обчистит, нитки не оставит!

— Не-ет, — возразила Серафима. — Он, Феня, не из тех. Видно ж человека. Он — тихий да стеснительный какой-то.

— Все они стеснительны в стеснительных условиях. Ты, Сима, неучёная. Иди, а я пронаблюдаю, с чем будет уходить... Ай, дура ты. Ай, дура!

* * *

Три дня, две долгих ночи провёл у Серафимы Веня Полиглот. Она поила его морсом, отварами из трав и сцеженной ухой из свежей щуки, которую принёс Ефим Гусаров. По утрам больному становилось легче. Сидел, держа между колен тёмные ладони, сложенные лодочкой, беззвучно шевелил сизыми губами, глядел как замороженный, в одну точку...

Перед уходом встал чуть свет. Серафима вышла, увидела его одетым и обутом, сидящим на крыльце. Веня обернулся, улыбка тронула обмётанные губы.

— Утро доброе, хозяйка!

— Здравствуй, Веня. Здравствуй. Чего же спозаранку? Дойдёшь ли до больницы?

— Спасибо, как-нибудь...

— Да не за что, чего там. Нелюди мы разве? Лечись и больше не хворай.

— Пойду.

— Ступай. Храни тебя Господь!

Веня Полиглот направился к калитке. Взялся за вертушку и остановился. Взглянул на Серафиму.

— Вы — добрый человек. Я должен вам сказать... не доверяйтесь каждому, не надо... — заговорил он сбивчиво и скомканно. — Когда сидел на чердаке, я слышал, к вам стучали, видел — заходили... Шурупа тоже видел. Так вот, он — зверь... Он — хуже зверя. За деньги он на всё способен. Остерегайтесь этого мерзавца!

Серафима опустила на крылечко...

* * *

Перед Новым годом Полиглот и Ангел, прозванный Кудрявым за голую макушку и Ангелом за кроткий,

добродушный нрав, в прекрасном настроении вернулись из пивной уже и восьмом часу. Днём на десятку сдали стекло-тару, собранную тут же, в аэропорту, в карманах у обоих по-звякивала мелочь. В зале ожидания было пусто и неприбрано. Пассажиры, гомоня, толклись внизу, на первом этаже. Облюбовав для отдыха кожаные кресла, Полиглот и Ангел в блаженстве вытянули ноги — в кои веки выпала удача отдохнуть по-барски...

Ангел подобрал газету с пола и вдруг клубком скатился с кресла. Присел и поглядел по сторонам. Молниеносно сцапал с грязного паркета пухлый кошелёк, впихнул его под свитер: «Тёркаем отсюда, покажу сурпризу!»

В женском кошельке оказались старые квитанции, истёртые бумажки, резиновой тесёмкой стянутая пачка новеньких червонцев.

Тысяча рублей!

Ангел взвизгнул от восторга.

Утром — жизнь прекрасна! — отправились в пивную. На другой день — тоже. На третий — головастый мужичонка в дублёном полушубке возник перед столом: «З-здорово, п-п-пролетарии. В-весело живёте. Н-нельзя ли объединиться?»

А отчего нельзя? Объединиться можно. С Шурупом — Машка Быстроход и Галя Парфюмерия. Водка на столе...

Затем — «братание» и гомон, ёрш на посошок, длинная дорога в «ямку» под горой, в Шурупову «конуру», где, он уверял, «устроим марафон»... Визг Машки Быстрохода, скабрезные намеки Парфюмерии. Крюк до «спиртоноса»...

И снова — водка на столе, огрызки сухой рыбы, табачный смрад и копоть, и — мрак, провал в небытие...

Очнулся Полиглот в Центральном парке отдыха. Один. В кромешной мгле. Над головой — заснеженные лапы необхватной ели, вокруг — взрыхлённые сугробы и под ногами — окроплённый кровью снег. Веня встал на четвереньки, осмотрелся. Вывернул карманы — ни копейки. От пробирающего холода клацая зубами, ощупью нашёл в снегу шапчонку. Встал и пошатнулся от головокружения и, обхватив затылок, дико взвыл от боли — пальцы обагрились тёплой, липкой кровью. Вслепую выбрался на узкую тропу, собрал остатки сил, пошёл на фонари, упёрся наконец

в пятиэтажку. Зашёл в подъезд, по бетонным ступенькам поднялся на площадку, упал на батарею...

Пришёл в себя в больнице. С перевязкой на проломленном затылке лежал с мучительным вопросом в голове: куда девался Ангел? Вышел через месяц и — на аэровокзал. Безвылазно сидел в зале ожидания, выискивая друга в толчее толпы. Но высмотрел не Ангела — Шурупа. Шуруп с бригадой вылетал на буровую. Столкнулся с Полиглотом и — остолбенел. «Здорово, п-пролетарий. А я слышал, ты сдох».

Полиглот: «Где Ангел?»

Шуруп засуетился: «В Б-берёзовке К-кудрявый, л-л-лично проводил!» А на самом — «кольчуга» — серый, грубой вязки свитерок Кудрявого.

— Кудрявый подарил? — осведомился Веня.

— Д-да, в п-память о минувшем!

В апреле вытаял Кудрявый в дальнем углу парка. В день похорон Кудрявого Шуруп встретил Веню на подходе к кладбищу, вытащил бумажник из кармана.

— В-вот тебе, убогий, стольник, п-покупай билет и в-вали из города. В-вали куда п-подальше, не з-задавай в-вопросов. Д-даю неделю сроку... Н-надеюсь, в-фсё понятно?

— Понятно, — замер Полиглот. — ещё бы не понятно!

— В-вот и хорошо, — ослабился Шуруп. — В-веди себя примерно — д-долго будешь жить. А если не п-послушаешь, отправишься к п-приятелю!

Два месяца скрывался Веня Полиглот на чердаках и стайках Перековки.

15

Серафима пила чай спозаранку, после того, как накормливала поросёнка. Кабанчик рос и становился всё прожорливей, приходилось по два раза в сутки, утречком и вечером, рвать для него крапиву — благо, под заборами хватало этого добра, — мельчить её в корыте, запаривать с картошкой.

Но сегодня что-то нездоровилось — вялость и разбитость чувствовались в теле, ложка выпала из пальцев, звякнула об

пол. Кот, развалясь на койке, лапами усердно тёр мордашку — намывал гостей.

— Кого мне намываешь, барсук неповоротливый? — бурчала Серафима, неспешно прибирая со стола. — Генка не разгонится, Парамон тем более. Письмишко бы прислал, и на том спасибо...

Прошло всего полмесяца, как она отправила в Камышинку письмо, но нарастало беспокойство — ответил ли брательник, не примет ли за старческий каприз нешуточную просьбу...

День прошёл в неясном ожидании. Вечером зашла с работы Тося.

— Я что хочу сказать? Завтра с утра яблоки будем продавать. И диетические яйца. Так что подходите, а то вам не достанется.

— Вот спасибо, Тосюшка! Нет-нет да выручишь меня. Яблоки-то ладно, яблоки не ем — вдруг попадут с чернобильской заразой, а яичек нужно, пусто в холодильнике... Да пройди, присядь хоть на минутку!

— Ой, да я попутно, надо бы домой...

Любила Серафима Сотникову Тосюшку за ласковость и нежность. Усадив её за стол, вновь разлила по чашкам чай.

Ладная, спокойная, тонкие брови над голубыми добрыми глазами, губы, тронутые лёгкой улыбкой. Тося выглядела мудрой, чуть утомлённой жизнью женщиной. И Серафима, глядя на нее, в который раз подумала о сыне: какой он всё-таки пентюх, кого он променял и по какой неволе? Цены бы не было невестке и жене!

И всё же, показалось, что в Тосюшке сегодня что-то не-обычное, какое-то сомнение в глазах, смятение, вопрос и нерешительность...

— Серафима Ниловна, а что, о Генке ничего так и не слышно? — спросила как бы ненароком, дуя на горячий чай в чашечке на блюдце. Спросила и зарделась, кровь так и брызнула к лицу.

— Не-е-ет, — протянула Серафима, — молчит, как в рот воды набрал. Не едет и не пишет, наверно, по уши в работе... А что? — насторожилась. — Тебе известно что-нибудь?

– Да нет, я так, – смутилась Тося.

Всё-таки она недоговаривала что-то!

– Прямо хоть езжай к нему в разведку... Я бы, Тося, съездила, если б не супружница евовная – та его от матери отшила. Я её и видеть не желаю.

– Что же так категорично? Может, и поладите, как свидитесь, поближе познакомитесь...

– То-сюшка, роди-и-мая! Не лежит душа. Чужая она мне. Чужая мне и Генке. Материно сердце не обманется. Жалко мне его.

Тося отхлебнула чая, отставила вдруг блюдце. Стряхнув с колен невидимые крошки, сказала, глядя в сторону:

– Не знаю, как и быть... Может, вы подскажите. Предложение сделали на днях. И во сне не снилось!

Серафима вперила глаза на раздумянную Тосю. «Так вот ты с чем пришла! Вот почему о Генке любопытствуешь! То-осюшка, родимая! Все ещё надеешься? Наплюй ты на него. Забудь. Устраивай судьбу. Устраивай, пока ещё не поздно!» – так она подумала, но вслух произнесла:

– Хороший человек-то?

– Добрый... Но – с изъяном.

– Ну так что ж теперь-то. Которые без брака, давно к рукам прибратые. Главное, чтоб, Тосюшка, с умом и не калека...

– Слабый, к сожалению. Слабый и безвольный.

Серафима вскользь перекрестилась.

– Пьяница, поди?

– А вы его не хуже знаете.

– Не Яшка ли?!

– Да... Он.

– Ну и... что же ты?!

– Ответила: подумаю.

– Думай, Тося. Думай. Дочка у него. С матерью живет. Мать тоже непутёвая – гуляющая бабёнка. Из-за неё и Яшка спортился – в запой ударяется. Все ли знаешь про него? Ой, боюсь, не всё! Кабы не подвел под монастырь. Тем более, с Шурупом дружбу водит... А ты ведь молодая.

– Серафима Ниловна, да полноте, ей-богу! Какая молодая? Тридцать пятый год! Другие в моём возрасте детей

имеют взрослых. Взрослых! Понимаете? — Облокотясь на стол, Тосюшка обеими руками подпёрла круглые пылающие щёки, заплакала беззвучно. — Прождала, дурёха. Все глаза на ваши окна проглядела. Как девчонка неразумная... Как школьница... А Яша, — Тося всхлипнула, достала носовой платок, — вволю нахлебался, понял кое-что. Сам сказал: «Я — слабый, держи меня в узде, пожить хочу по-человечески... А что рискованный, знаю». Я ведь тоже спятила — помочь ему хотела. Вроде, пожалела, а после испугалась. И за него, и за себя. Да и за вас... Я знаю: он и вас втянул в эту авантюру, так что прошу: простите! Простите нас обоих, Серафима Ниловна!

Будто паром с головы до ног обдало Серафиму. И то, что не могло присниться в жутком сне, явилось откровением. Неведомый канал, по которому «Столичная» поступала к ней, имел исток в подсобке магазина № 5. И изначальным звёнышком цепочки «Яшка — Серафима — покупатель» была Сотникова Тося...

Всё это молнией прошло Серафиму, и, потрясённая открытием, она не в силах была вымолвить ни слова.

Утром, встав на табуретку, из-под вороха тряпья на шифоньере достала ёмкую коробку из плотного картона с откидными боковушками расслоенной крышки. Включила в кухне свет, села с краешка стола, вытряхнула деньги на блеклую клеёнку. Красные, зелёные, синие купюры пышной, оплывающей с боков округлой горкой лежали перед Серафимой. Она уставилась на деньги, не смея к ним притронуться. Сидела изваянием, согбенная, с каменным лицом...

С кровати на пол прыгнул кот, пробежал к порогу.

— Да что бы ты провалился! Из-за тебя, блудливого, сердце оборвалось! — Выпустив на улицу кота, приступила к пересчёту...

По заведённому недавно распорядку навещался Яшка по субботам, в один и тот же час, сразу после передачи «Время». Входил без стука, как домой, снимал с плеча затаренную сумку, мягко ставил в ноги. С полувопросительной

улыбкой глядел на Серафиму. Столкнув с колен Барона, она без слов вставала с кресла и выключала телевизор. Кряхтя, тащилась в Леночкину комнату. Открывала крышку погреба и, встав на четвереньки, запускала руку в яму. Со ступеньки деревянной лестницы, ведущей круто вниз, брала пустую сумку с той же броской надписью, кидала её Яшке. «Всё, что выручила, — тут». Затаренную сумку ставила на место возвращённой.

С той же вопросительной улыбкой Яшка бережно брал сумку за ремни, встряхивал слегка: «Сколько тут сегодня?» — «Столько, сколько есть! — бросала раздражённо. — Считай, простая арифметика: пятнадцать штук по тридцать... Сколько получается?»

«Прилично. — Яшка белозубо улыбался, рассовывая деньги по карманам. — Ты просто молоток у нас, тётъ Сим. Ударница торговли». — «Будет зубоскалить — не до шуток!» Яшка на глазах отсчитывал «зарплату»: «Сегодня получаешь с прогрессивкой, фирма ценит расторопных!» С «прогрессивкой» выходило до двухсот от партии. Когда он уходил, Серафима, не считая, совала выручку в коробку, заваливала тряпками...

Разложив деньги по столу дышащими стопками, Серафима, слюня пальцы, просчитала каждую, сложила всё в одну стопу и обвязала шёлковой тесёмкой. Подумав, обернула суконным лоскутком... Без малого две тысячи! Это ли не деньги? Взвесив на ладони аккуратный свёрток, вбросила в коробку, заметалась в поисках укромного угла. В раздумье встала у кровати, опять метнулась в кухню. Вернулась с ножиком в руке, вспорола шов перины и, сунув свёрток в прорезь, в пуховое нутро, зашила мелкой стёжкой...

«Всё! Господи, прости!»

* * *

Не знала Серафима слов молитвы, но не могла не помолиться во искупление грехов. Из-под кровати выдвинула фанерный чемодан, обитый по углам мягкой красной жёстью, щёлкнула замками, откинула продавленную крышку. Из-под стопки «смертного» — нижнего и верхнего белья,

платка и пары полотенец, тапочек и крестика на мелкозвенной цепочке — достала бабкину икону, завёрнутую в бархатный лоскут. Развернув и выставив на свет, шершавыми подушечками пальцев дотронулась до выцветшего лика... Установила лёгкую икону в переднем углу затемнённой горницы, накрыла свежим полотенцем. Зажжённую свечу поставила на краешек надтреснутой подставки. Встала на колени...

— Господи, прости! Если есть Ты, слышишь, видишь — внемли моим мольбам. Прости нас, грешных, недостойных! Учил Ты жить по совести, учил добру, смирению — не вняли, не услышали. Отвыкли мы от добрых слов, сердцем очерствели, убогому и сирому куску не подадим, над старостью смеёмся, измываемся. Завистливыми стали, нелюдимыми, во зле и лютоści погрязли... Но если сотворил Ты мир для человека, молю, не отвернись, прости за прегрешения, очисти наши души от скверны и жестокости, дай веру в справедливость!.. Не от хорошей жизни нелюдьями стали. Одна я одинешёнька, нет впереди просвета... Прости мою корысть. Слезами и молитвами искуплю вину. Дай только выбраться отсюда!

Серафима встала и распрямилась. Последний раз перекрестилась на икону с потрескивающей свечкой на подставке, из подпола достала сумку с водкой, снарядилась к Яшке.

16

Испепеляющий, нешадный зной держался другой месяц, иссушая сморщенное русло исчезнувшей в неделю речки Невлевки. Изнывавшая от пекла молодёжь толпами валила к манящей свежестью Оби. Шли в плавках и купальниках, в широкополых допотопных шляпах, сорванных, по видимому, с огородных пугал, в противосолнечных очках, с магнитофонами, бутылками... Купались, загорали, дурачились, тонули... По вечерам нет-нет да и приносило серенькую тучку с рваными краями. Тучка набухала, поднимался ветер, гнал колющую взвесь и скрутки сухих листьев. Не разрешившуюся влагой медлительную тучку относило в сторону.

Ночью в тёмном небосводе стреляли отблески пожаров, вселяли беспокойство и тревогу. Земля растрескалась,

покрылась белой коркой. Серафима ежедневно поливала огород, но вода со змеиным шипом уходила в умирающую почву на глубину, недостижимую для хилых корней. Зноем опалённая ботва день ото дня чернела, увядала. Свекла, редиска, редька выдурели в дудку, лук-батун зацвёл и зачервивел. Двери, занавешенные марлей, висели неподвижно, точно лист железа, закрывались на ночь, к утру же в комнатах и сенцах воздух насыщался запахами гари. Серафима задыхалась. Когда ей становилось вовсе немого — казалось, вот-вот выпрыгнет сердчишко, она спускалась в подпол, синими губами хватала плесенный, с гнильцой, но всё ж таки спасительный подземельный воздух...

* * *

Ефим привёл, как обещал, покупателя «обянки». Им оказался вьедливый мужик с кривым горбатым носом на оспенном лице, в истёртой добела энцефалитке и, несмотря на адскую жару, в хлопающих броднях.

Мотолодка с номерами на оранжевых боках стояла третье лето под навесом. За лето до кончины Матвей купил её взамен испытанной в поездках, вёрткой, но устойчивой на волнах старенькой «казанки», раздавленной сорвавшейся с причала самоходной баржей...

Вьедливый мужик топтался вокруг лодки, заглядывал вовнутрь, жёлтой бородавчатой ладонью поглаживая днище и борта.

— За восемь... сот, — делил он слово надвое шмыганьем застуженного носа, — лучше новую купить!

— Поди, купи, — кивал на улицу Ефим. — Чего не покупаешь? Каб они в продаже были!

— Так, може, завезут до ледостава?

— Ты чего кобенишься? Бери. Другой не станет торговаться — с руками оторвёт.

— Дни-ище покарябано, — гнусавил покупатель.

— Сам ты покарябанный! — нервничал Ефим. — Новенька «обянка», со всеми потрохами; вёсла, тент, винты... Коврики, настилы. Чего закобенился?

– Лето отходила. Скостил бы хоть сотнягу!

– Гляди, чтоб не набросил!

Серафима в замешательстве стояла в стороне. По наущению соседа слова не вставляла, хотя в душе была готова скостить не сотню – полторы, лишь бы обратить «обянку» в деньги.

Откуда ни возьмись появился Яшка.

– Что за шум, а драки нет?

Ефим в сердцах махнул рукой, но тотчас выпучил глаза и повернулся к Яшке.

– И где ты был? И где тебя носило? Ты лодку покупаешь или нет? Вроде, тысячу давал?

– И пузырь в придачу! – не растерялся Яшка.

– Всё. Увози. Ставь магарыч.

Покупатель хлюпнул носом.

– Ты это, не дури... Я лодку покупаю.

Яшка артистически «взорвался»:

– Что значит «покупаю», когда я купил?! Я купил или не купил? – повернулся к Серафиме. – Да я с весны забил «обянку». Хозяйка подтвердит!

– Да ну вас, сами разбирайтесь! – скраснела Серафима.

– Я покупаю, покупаю!

17

Не предугадала Серафима, не предвидела, в какие муки тяжкие, в какие страхи жуткие обернётся тайная торговля. Уже после десяти, когда стихали уличные звуки, дыханием Оби доносило лёгкую прохладу, сжималась в ожидании...

«Динь-динь-динь!» – вызванивали стёкла в раме выходящего на улицу окна, но мелодичный мягкий звон кувалдой ударял по напряжённым нервам. Сердце обрывалось, Серафима собирала в горсть ситцевую штору, щекою припадала к тёплому стеклу. За окном маячили тёмные фигуры: «Бабка Сима здесь живёт? Выдь-ка на минутку!»

«Адресом ошиблись!» – опускала штору.

– Динь-динь-динь!» – Стук повторялся. Серафима выжидала, чтобы успокоиться. Если голос ей внушал доверие, выходила из дому

«Пузырь бы нам, хозяйюшка!» — просили визитёры. «Нету, милые, — шептала, — больше не торгую!». — «Нужно до зарезу». — «Не торгую, милые, правду говорю». — «В обиде не останешься». — «Всё, лавочка закрыта».

Серафима костерила Яшку и себя, металась от окна до запёртой калитки. «Нету... Нету. Не-ету! Лавочка закрыта!» Ей всё ещё не верили: «Бутылочку... Одну!» Клиенты распаялись, стучали всё настойчивей, уже не церемонясь, осыпали бранью и угрозами. Стекла дребезжали в переплётё рамы. До утренней зари сидела чуть живая в простенке между холодильником и газовой плитой...

Пожаловалась Яшке:

— Сделай что-нибудь. Измучили вконец. Содом под окнами подняли. Сожгут или зарежут — кидаются, как звери. Гусариха косится — не дура, понимает... А ну как до милиции дойдёт? Сраму ведь не оберёшься, со стыда соришь!

Гусариха, конечно, догадалась, в какую передрыгу попала Серафима, но до поры до времени молчала. Случалось, что клиенты спяну ошибались, стучались к Серафиминим соседям. Неспроста Гусариха краской освежила номер дома. В милицию с докладом она бы не пошла, но как-то раз подковырнула: «Пошто, Симуня, мужиков приворожила? Как ночь, так табунятся под окном. Всю Перековку взбудоражила».

Пришлось валить на Яшку: «В бараке собираются, гужуют до утра», — «Ты бы подсказала, чтобы шуганул, а то спалят весь околоток».

Яшка выслушал, нахмурился.

— Ладно, потерпи. Своих предупреджу, чужих гони в три шеи. Кто нахамит, со мною будет разговор. Так и объясняй.

Поток ночных клиентов иссяк через неделю. Серафима успокоилась. Вслед за мотолодкой сплавил мотор, палатку, спальные мешки, сети и провяз. Просили и ружьё, давали две цены, но Серафима устояла в пользу Яшки. Он перебрался к Сотниковой Тосе, с головой ушёл в заботы о ремонте дома...

Шуруп вернулся с буровой. Вчера увидела его на «Куликовом поле» в обнимку с Машкой Быстроходом, и сердчишко ёкнуло.

* * *

А ночью затряслась сеничная дверь. Барон махнул споронок в угол. Серафима пробудилась, насторожила слух. Стук — настойчивый и властный — повторился. Серафиму будто ветром сдуло с койки. Выскочила в сенцы.

— Отк-крой, т-торговка, д-дело есть!

Ноги подкосились. От загорбка по спине холодным склизким комом прокатился страх...

— Кончилась торговля. Лавочка закрыта!

Дверь громыхнула с новой силой. Серафиму взлихорадило. Она схватилась за топор, прислонённый к стенке.

— Попробуй, гад, зайди! — вскричала чужим голосом. — Башка так и слетит! Порешу убивцу! — вскричала и осёклась... А ну прицепится к «убивце»? Вот когда пропали! Веня и она. И Яшка не спасёт.

Шуруп, видать, остолбенел. Выдержалась пауза. Из-за угла слышались шаги. Кто-то от калитки подошёл к крыльцу, заговорил с Шурупом.

«Всё! — обмякла Серафима. — Ворвутся и придушат, пикнуть не успеешь».

Шуруп пристукнул кулаком по верху полотна.

— Л-ладно... П-после разберёмся!

* * *

Решение уехать, и не весной, как думала, а осенью, немедленно, ещё по навигации, как только приберёт на огороде, с тем, чтобы в Камышинке без суеты и спешки за зиму обжиться, стало окончательно с момента получения ответа Парамона...

«На твоё письмо, сестрица, скажу как на духу. Там хорошо, где нас с тобой нету. И у Камышинке вся жизнь перевернулась кувырком. Сам чёрт не разберёт, чего сейчас творится. И что нам в этой жизни дальше делать. Продуктов продовольствия питания вовсе никаких. Хлеб у сельпо от случая к случаю. Кто смел, тот ухватил, а кто не ухватил, так и сиди без хлеба. Из одёжи тоже пусто. Все пообносились, ходим как чухонцы. Сам, сестрица, всё хвораю. Бронхи

обострились, пичкают снадобьями, а толку никакого. А где же будет толк, ежели с трактора не слазию всё на ветру да сквозняках и весь как чёрт в пыли...

Такая наша жизнь теперь. Так что, сестрица дорогая, сидела б и не рыпалась. Чего под старость лет мотаться. Это ведь легко сказать, взять да переехать. Не на шесток с шестка слететь. А я вообще не против. Может, так и надо. Чего одной там куковать. Куковать так кучкой. А если уж надумала, то на плечах да вынесу. Теперь насчёт избы. Тётка Карабаниха собралась у Омск к старшему, Василию. А дом с сарайкой продаётся. Усадьбу её знаешь. Задаром не отдаст, но для тебя уступит. Вот не упустить бы!..»

Серафима от волнения зарделась.

«Домой... Домой. Домой! Нет смысла вёсну ждять. Страшно в развалюхе оставаться. Дрова к зиме нужны, восемь кубометров выписывать придётся, а кубик пять рублей. Считай, простая арифметика... Плюс за машину заплати, рабочим за погрузку-выгрузку бутылочку поставь, а то и две — одной не обойдётся. Не угостишь — гнилья в отместку привезут, намаешься зимой. Колоть нанять кого-то надо. То хоть Яшка выручал, а теперь свои заботы...

Домой. Домой! В Камышинку! Дом, тем более, находится. Продать все без остатка — картошку, поросёнка, только б наскрести, не упустить возможности. А то и до весны не доживёшь — угробит ни за понюшку, зверюга. Вон как зубами скрежетал!»

18

— Симунь, — позвал с крыльца Ефим, — готова или нет? Моя торговка собралась.

Сосед напомнил о Гусарихиной просьбе. «Клубнику собрала — когда одна продам, а не продам — закиснет. Пойдём вдвоём на рынок, поможешь да проветришься, а то все дома, дома...»

«Да ну, — сказала Серафима, — я не умею торговаться. Матвей не позволял, уж больно не любил он это дело. Да и неловко, Феня, не привыкла». — «Ишь ты, неловкая

какая. — Гусариха взглянула со значением. — Свой труд продать не стыдно, зазорно — своровать...»

Рынком называлось узкое пространство в самом центре города между гастрономом и Советской площадью. Во всю длину оградки гастронома тянулись сплошным рядом ящики и ящички, на которых кучками и связками, рядками и навалом блестели сочной зеленью лук и сельдерей, петрушка и укроп и, наконец, садовая клубника — предмет особой гордости кедровских огородниц. За аппетитным рядом тесно примостились вялые торговки — с утра торговля шла небойко. Гусарихино место было в конце ряда, там, где начинались свежие лотки невесть откуда взявшихся на днях кооператоров. Уступив Серафиме законное место, Гусариха отсыпала ягод из лукошка в крапчатую чашку.

— Три рубля стакан!

Серафима ахнула.

— Опомнись, кто возьмёт? В июне было по рублю!

— Не оглядывайся на июнь, забегай вперёд! — Подхватив лукошко, Гусариха отправилась на поиски места для себя...

На Советской площади с гиком и вприпрыжку резвилась детвора. (Недавно на мусорной свалке за городом бродячими собаками была разрыта яма, в которой обнаружилась кишашая червями груда псиных лап и шкур. Кивали на шашлычников, обосновавшихся на площади с весны, и те, усилив подозрения, сбежали из Кедрового, оставив в память о себе россыпь гнутых шампуров. Металлические стержни вездесущей детворой были приспособлены под шпаги.)

Старухи-огородницы сидели тихо-мирно, в стане молодых кооператоров царило оживление. Новые лотки были сплошь завалены блестящими яркими наклейками, рубашками и брюками, медными поделками под золото, кожгалантерейной мелочью, открытками, на которых красотики в чём мама родила...

Серафима подошла, ощупала шитьё. «Холстина, швы расходятся и цвет до первого дождя. Десятка красная цена, ан нет — дерут три шкуры. И ведь берут, берут! Шитьё-то по нужде — в универмаге голые прилавки...»

Но брали и безделушки — вот что поражало. Цепочки, медальончики, открытки... Отваливали деньги ни за что.

Когда в 67-м году поехала на родину с Матвеем, зашёл в купе вихрастый прощелыга. Зашёл и огляделся, кивком Матвея вызвал в тамбур. Матвей вернулся тотчас. Сел и засмеялся: «Что да что?» — пристала к мужу. И он достал колоду. Взглянула и обомлела: на картах шлюхи голые. Стыдобушка и срам. «И сколько эта погань стоит?» — «Трёшку заплатил». Без слов опустила стекло — и за окно колоду. Матвей и крякнуть не успел. Потом и напустилась: «Сына б постыдился, что, если б на глаза попались?»

Матвей рассказывал, как было. «Вышли, прошли в тамбур, достал из чемоданчика колоду, сказал: «Купи, мужик, в деньгах нуждаюсь крайне». Взял да и купил, вроде, как помог...». Муж смеялся над собой, ей было не до смеха. Не из-за трёх рублей, пущенных на ветер. Гадко стало на душе, будто нахамили...

Прощелыга в поезде опасался торговать картами в открытую, а эти не стеснялись, эти — за лотками — торговали не втихушку. Те же голые распутницы в непотребных позах на цветных открытках стояли не трёшку, а червонец. И брали-то не взрослые, а дети. Прятали стыдливо по запазухам...

«Всё полетело вверх тормашками. Всё перемешалось, всё не так, как надо. Неужто всё дозволено?»

Подошла Гусариха. Увидев ягоду нетронутую, дёрнула бровями.

— Да ты пошто нерасторопна? Ты подзывай маленечко. Я полкошёлки продала.

К полудню народ расшевелился. Толпа мгновенно запрудила рынок. В ход пошли картошка, зелень...

— Почём у вас клубника?

— Три рубля стакан.

— Скоко-скоко, бабка? С ума сошла старуха!

Но иные брали. Кто стакан, кто два. Кто-то расставался с трёшками легко, кто-то — скрепя сердце, взглянув на Серафиму как на корень зла, как сама — на шустрых за лотками...

«Злые все, издёрганы, всё бегом-бегом... Остановиться недосуг. За что народ страдает? Будет ли когда-нибудь достаток? Придётся ли пожить по-человечески? Неужто

светлого денёчка не выпадет на долю? Жизнь-то на закате. По-людски и не живали. То война тому причиной. «Всё для фронта, для Победы!» Надо потерпеть, кончится война — дух переведём. Кончилась война — хозяйство подымать. Тоже понимали. Надо. Переможем. На всё свои причины. Теперь твердят — застой всему причиной. Работать, дескать, не умели. Не умели жить. Вот те раз! Нет уж, извините-погодите, господа хорошие, какой такой застой? Кто же застоился? Гусариха? Матвей? Вот кто стоял да переставивал, тому б и отпрыгнулось. Народ опять в ответе. Ванюшка-народ!»

— ...почём у вас клубника? — Молодая женщина в газовой косынке с веснушчатой девочкой под руку стояла перед Серафимой.

— Три рубля стакан... Сахар — не клубника!

— Ешьте её сами!

Но девочка захныкала:

— Ягодок хочу!

— Прекрати, паршивка! — закричала женщина.

И Серафима вскинулась.

— Мамаша, обождите! — Трясушимися пальцами наполнила стакан размягчённой ягодой, протянула девочке. — Держи, моя хорошая, кушай на здоровьице!

Девочка умолкла, глянула на мать. Та потянула дочку за собой...

* * *

— Всё, Феня. Стыдно от людей. Вот ягода, вот деньги... Я больше не помощница.

Гусариха взорвалась. Вспыхнула, как порох:

— Где же ты поможешь? Я, дура, помогу, а ты мне где ж поможешь?!

— Феня! Фе-еня, что ты? Выслушай меня!

— Где ж ты станешь мелочиться? Привыкла сотнями вочорать? Думаешь, не знаем? Вся Перековка знает! Прихерилась святошей!

Серафима, белая как мел, в испуге отшатнулась.

— Не тебе, Феня, судить. Только перед Богом подотвечна! Только перед Ним и подотчётна!

— Конечешно, вспомнила про Бога! Набожная какая! Давно ль такую сделалась?

Серафима повернулась и пошла. От невыплаканных слёз не видела дороги. Пришла, упала на кровать, наревелась в голос...

А ночью был ей сон.

Будто с сыном Генкой и братом Парамоном собрались лететь неведомо куда. Билеты на руках, и будто бы уже в аэропорту, в зале ожидания. Кругом — народ, народ... Всё как наяву. И в этой кутерьме теряет сына с братом, ищет — не находит, и в толчее теряется багаж. Затем багаж находится, но вроде подменённый, надо б разобраться, а уж объявляется посадка. Пассажиры сломя голову кидаются не вниз, где накопитель, а на второй этаж, где залы ожидания. И она за ними, отчаянно работая локтями. Затем теряется билет, и, махнув рукой, бежит напрапалую к дежурной по посадке, а та не пропускает — упёрлась, хоть ты что. И, оттолкнув дежурную, — откуда прыть взялась! — бежит по взлётке к самолёту — опять без багажа и без билета, уже не понимая, куда ей и лететь-то. Бежит, оказываясь вдруг на незнакомом пустыре, утыканном кусками арматуры. И вроде ночь — холодная, промозглая. Вдали — огни, какие-то строения, сараи, кучи хлама... Она бежит, блуждая между куч, куда бежит — не знает, и местность ироде незнакомая, и нет поблизости людей, чтоб справиться, куда ж она попала. Но приближаются огни. Всё ближе, различимей. И — окружают живой цепью. Но вовсе — видит — не огни, а... волки с красными глазами. С огромными горящими глазами. Силясь закричать, пятится и пятится, и тут вдруг замечает, что вовсе и не волки — а люди с волчьими глазами. Как призраки, бредут по пустырю и что-то вроде ищут, ищут... И что всего ужасней — брат и сын среди них.

19

В последних числах августа установилась долгожданная прохлада. По вечерам врывался в город сиверко, гулял по закоулкам, гнал по тротуарам жухлую траву, стучал дощатыми калитками. Кустарник оголился, сквозь кедрач за

огородами проблёскивала Обь, светлой желтизной взялись берёзы.

Последнюю неделю сидела Серафима на узлах. Всё было подготовлено к отъезду. Заказаны контейнер и билет. Постель, половики, одежда и бельё были упакованы в тюки, обшиты и обвязаны. Телевизор отдала за полцены, но холодильник Яша обрешётит — в деревне без него не обойтись, купить теперь не купишь. Осталось выкопать картошку, убрать, что выросло на побурелых грядках, сдать оптом в горрыбкооп (хоть за бесценок, лишь бы не пропало) и — домой, домой...

Пока что в кучах скарба в кладовке и сарае отыскивались вещи — с собой не увезти и бросить было жалко. Плотничный, слесарный инструменты, вёдра, топоры, верёвки и кадушки, невод и мешки — всё, до ржавого болта — давалось не за так, а потом и мозолями, в Камышинке, конечно, ох как пригодилось бы! Инструменты предложила Гусарову Ефиму. Тот утвердительно кивнул, пообещал зайти, но что-то всё не заворачивал — не разрешала, видимо, гордая Гусариха. Она и Вике запретила бывать у Серафимы. Девочка встречала недетскими вопросами: «Бабушка, когда ты уберёшься?» — «Скоро, детка, скоро!»

Мозолили глаза ружьё и патронташ. «Придёт Яшка — отдам задаром, — решила Серафима, — пусть добрым словом поминает Матвея и меня. Скорее разрешение оформит... Да что-то долго не идёт, надо бы проведать...»

С тем и отправилась к нему. Дверь открыла Тося.

— Серафи-има Ни-и-иловна! Голу-у-у-убушка моя-я! — уткнулась в грудь заплаканным лицом, плечи затряслись в безудержных рыданиях. — Что же мне с ним де-е-елать? Как же мне тепе-е-ерь? Ещё и расписаться не успели!..

Серафима мягко отстранила Тосю.

— Что случилось, милая? Что он натворил?

— За-апил... Запил не на шутку.

Серафима усадила Тосю на диван, поднесла воды.

— Выпей, успокойся... Расскажи, как запил. С кем, когда?

— Да что уж тут рассказывать! — Тося вытерла глаза, всхлипнула, вздохнула. — Поутру во вторник подали

заявление, чтобы как положено... Днём, как обычно, на работе. Вечером оклеивал прихожую — зашёл к нему дружок... Головастый, маленький...

— Вспомни, не Шуруп?

— Шуруп. Или — Шурупов? Не важно, всё одно... За дверью пошептались и — засобирался. Я: «Далёко ль, Яша?» — «Друга провожу». Третьи сутки провожает. Утром видела его на «Куликовом поле», возле пивной бочки, чтоб она взорвалась! В обнимку с головастиком. Пьяный. С синяком. Бичёвки возле них, как мотыльки... Выгоню его, — заключила Тося. — Чем с первых дней мытариться, так лучше уж одной.

Серафима села рядом, приобняла её за плечи.

— Не торопись, родимая. Ты ещё не знаешь одиночества! — с жаром возразила. — Выслушай меня, пожилую женщину. Выгнать очень просто — трудно удержать. Ты его пойми. Ему уже за тридцать пять, а он ещё не жил, всё только собирается, из ямы выбраться не может. Карабкается, Тосюшка, обеими руками, ногти обломал. Тут и мысль дурная: а стоит ли так биться, стоит ли царапаться? Нужен я кому? Ты дай понять, что нужен. Руку протяни. Вытащи из ямы. А поймёт, что нужен, — не узнаешь, Тосюшка. Приведи домой — вот мой тебе совет. Вспомнишь добрым словом тетку Серафиму. А лучше — уезжайте! — бухнула, как гвоздь по шляпку вбила.

— Серафи-има Ни-иловна! Ми-илая! Куда-а? Кто и где нас ждёт?

— Не знаю. Уезжайте. Это ему — лучшее похмелье.

* * *

Проснулась Серафима от глухого рокота. С минуту полежала неподвижно, вслушиваясь в ночь. На Оби ревела поздняя моторка. Внезапной белой вспышкой осветило комнату.

«Так это же гроза! Дождик собирается. Слава тебе, Господи!»

Вышла на крыльцо.

На востоке громоздились грозовые тучи. Отблеск дальней молнии выхватил из мрака серой ночи Северную улицу,

пыльный смерч столбом поднялся над дорогой, переместился и завис над огородом. Сорвал с гвоздя в стене сарая звонкий стальной лист, кружа, отнёс его к забору. Раздался дробный стук дождя...

Под водосток поставив ванну, Серафима опрометью заскочила в дом, и дождь обрушился лавиной. Зигзаги белых молний вязли в наслоениях тяжёлых туч. Раскаты грома троекратным эхом отражались на невидимых в стене бушующего ливня городских холмах...

За окном вдруг стукнула калитка, по стеклу неуловимо пробежала тень.

Серафима обмерла.

«Шуруп! — сверкнула догадка. Вот когда решился! Выбрал, гад, момент!» Метнулась к окну, запахнула створки, встала за простенок. Тень исчезла за углом...

Серафима чувствовала кожей: Шуруп стоит за дверью. Стоит, соображает... В том, что это он, она не усомнилась. Знала, что придёт. Позарится на деньги. Знала и готовилась к отпору. Ещё когда пришла от Тоси, коробку спрятала в подполье, засыпала картошкой. Матвеево ружьё стояло наготове. Переломив его через колено, вогнула по патрону с красными пыжами в холодные стволы...

— Господи, спаси! Образумь злодея! — взяла ружьё наперевес и тихо вышла в сенцы. Уперев приклад в живот, взвела курок большими пальцами, стволы просунула в отверстие в простенке.

— Не выйдет, паразит!

И в тот же миг бабахнуло где-то наверху, почти над самой крышей, вспышкой выхватило чёрную фигурку на дворе. Серафима вскрикнула, нажала на курок.

Выстрела не слышала. Закрыв лицо руками, упала на колени.

— Люди! Лю-юди добрые! Где вы? Помогите-и-ите!

Дождь хлестал всю ночь.

Утром вышла, огляделась.

На картофельной ботве головой к сараю, ногами в рваных башмаках на глинистой меже лежал ничком мужчина в выцветшей штормовке...

Глухой, протяжный стон повис в холодном воздухе.

* * *

Из «криминальной хроники» городской газеты:

«...В ночь на 2 сентября во дворе дома № 30 по улице Северной нанесено огнестрельное ранение 60-летнему Вениамину П., без определённого места жительства. Задержана подозреваемая...»

*Август, 1990,
январь — апрель 1991*

БЫВАЕТ!

Старинный городской романс

Коллеги

Бывает!

Изоша Поперёшный

Ночной грибник

Время поворота солнышка на лето

Новый русский хант

Старинный городской романс

1

Тридцать лет назад Степан Аркадьевич, в ту пору просто Стёпа, Стёпушка, Степок удивил родных и близких: он поступил учиться. В техникум. Финансово-кредитный. А вышло так.

Степан вернулся в Почекуево из армии, где честно отслужил своё водителем. Возил высокое начальство — генерала авиации, был с ним на дружеской ноге, но главное — проникся искренней любовью к старинным городским романсам...

Посёлок Почекуево, к счастью почекуевцев обойдённый громкой славой нефтяных и газовых сокровищниц, лежал на левом берегу Оби. Зимой по самые макушки крыш в сугробах, летом — в зелени густого кедрача, Почекуево, казалось, дремало беззаботно все двести лет своей истории. На центральной площади против здания райкома тусклым куполом высилась церквушка, где на загаженном собаками полу хранилась соль в кулях для местного заводика, который, хоть и выглядел невзрачным, в грязь лицом не падал с момента основания, даже экспортировал рыбную продукцию в дружескую Венгрию и чёрную икру в райкомовский буфет. Вблизи теснились, как опята, конторы и конторки, хилый леспромхоз и ветхий краеведческий музей, известный тем, что сохранил до наших дней ценные бумаги декабриста К...

Водителю в посёлке выбирать не приходилось — целил в леспромхоз. Там, в леспромхозовской столовой, работала Верунька. Славная девчушка. Весёлая и с выдумкой. На стене повесила плакат: «В столовой вежливым и скромным будь и наизусть усвой одно — поел, попил, не позабудь тарелочки подать в окно!» Степан охотно подавал свои тарелочки и донимал любовно повариху:

– Опять, стряпуха, ложки грязные?
 – Претензии к машине! – Верунька горячилась, и под её халатиком приятно волновалась розовая грудь.

Степан с Верунькой соглашался.

– С машины взятки гладки!

Целил в леспромхоз, но угодил в райфинотдел. Там, подсказали ему вовремя, уволился водитель. Пришлось опять возить начальство. Полный, большеротый и задумчивый заведующий райфо оказался парнем свойским, хоть и без вежливых манер. Он мог и нахамить под настроение, но, нахамив, переживал, поскольку был отходчив.

За рулём водитель от избытка сил и чувств постоянно пел, и городской романс сдружил его с заведующим.

– Спел бы, Стёп! – просил начальник в светлую минуту.

Степан не заставлял себя упрасивать.

– Любимую?

– Ну да.

Водитель с чувством запевал:

*Я встретил ва-ас — и всё бывшее-е
 В ат-жившем се-ердце а-жи-ло,
 Я вспомнил вре-е-емя за-ла-тое,
 И сердцу ста-ала так тепло...*

Заведующий вздыхал о чём-то потаённом.

– Эх, Степа-недотёпа, счастливый ты мужик. Потому что ни хрена ещё не петришь!

– А чего тут петрить? – удивлялся Степан. – Мне пока всё ясно. Газуй себе по жизни!

В один из солнечных погожих дней, когда Степан, вернувшись от Веруньки, намурлыкивал под нос весёленький мотивчик, заведующий райфо откинулся на спинку мягкого сиденья, раздумчиво спросил:

– Что, Стёпа, так и думаем всю жизнь крутить баранку?

– А чё? – захолопал Стёпа длинными ресницами.

– Да как же это «чё»? Тебе учиться нужно.

– Я одиннадцатилетку кончил!

– Смотрите на него! То разве грамотёшка? Горе с тобой, Стёпа!

— С меня и этого довольно. Звёзд с неба не хватаю, в начальники не рвусь... Век живи, век учись, а результат известен.

— Брось, Стёпа, эту философию! — осадил начальник. — Она для дураков. А ты, я вижу, парень правильный. Голова набита не мякиной, видишь много, спрашиваешь мало... С твоим-то, Стёпа, котелком не за рулём сидеть бы, а по праву руку... около меня. Уважать себя, Стёпушка, надо!

— Я и так уважаю.

— Уважает он, глядите на него! — Заведующий прищурился и выпалил внезапно. — Хочешь, Стёпа, замом следаю? Зама, понимаешь, сотворю! Чуешь, как звучит?

— Да бросьте вы смеяться!

— Я не смеюсь — всерьёз предлагаю. Давай учиться будем, парень. Шоферить — ума не надо. И медведь сумеет, только покажи. Я сам когда-то начинал с руля. Крутил-крутил баранку, а потом дошло: одно дело — шоферить, другое — ездить на машине. Чуешь, Стёпа, разницу?

Стёпа хмыкнул и пожал плечами.

Заведующий печально резюмировал:

— Ничего-то ты не понял, потому что зелёный ещё. Но когда-нибудь поймёшь. Ещё и обо мне не раз вспомнешь. Вот, скажешь, был начальник, так начальник, на путь-дорожку истинную вывел. Короче, Стёп, подумай хорошенько.

Ни хорошенько, ни плохонько водитель думать не желал, к вечеру забыл о разговоре. А начальник, оказалось, помнил.

— Ну как? — спросил через неделю. — Надумал или нет?

— О чём вы, Пал Матвейч?

— Да всё, дружок, о том.

Стёпа рассмеялся от души.

— Да ну, — сказал он, — что вы! Тут женитьба на уме, а вы ко мне с учёбой!

Начальник психанул на Стёпино «Да ну!», аж весь побагровел.

— Остановись, жених!

Степан притормозил.

— Чтоб завтра документы в техникум послал! Не пошлешь — уволю. Из него, из недотёпы, человека лепят,

а он — «Да ну!». — И, не дав опомниться Степану, закрутил спокойно. — Не сомневайся — запросто поступишь. Сдай на троечки, и всё. Остальное — дело техники. Отучишься — к себе возьму. Мне молодёжь толковая нужна. А ты, я вижу, прирождённый зам. Лови момент, пока я добрый!

— Так ведь свадьба на носу!

— Ты, Стёпа, баб ещё не видел. Погоди. Невелика потеря — повариха. Ведь ты орёл!

— Ну-у, знаете!

— Знаю, знаю! Потом вспомняешь про мои слова.

Вечером Степан крутнулся перед зеркалом, оглядел себя в анфас и профиль, в глаза поглубже заглянул. Ничего орлиного в себе не обнаружил. Нос как нос. Утиный. Подбородок круглый, пухлый. Волосы — прямые, брови — коротышки. Глаза какие-то бесцветные... Словом, не начальник. Даже и не зам.

— Чёрт его, начальство, знает, — бормотнул он неуверенно. — Со стороны, наверное, видней.

В тот же вечер он всерьёз задумался о будущем. А почему не поступить, пока предоставляется возможность? Котелок не заржавел, думать в состоянии. Диплом не помешает. Какое-никакое, а всё ж — образование.

Поехал.

Поступил.

Но пока учился, свойского начальника уличили в махинациях, перевели куда-то на другую должность. К новому — вальяжному и строгому — Степан пойти не пожелал. Свежеиспечённый финансист устроился в инспекцию госстраха. Когда друзья осведомлялись, где и кем он трудится, он простодушно отвечал: инспектором госстраха. Друзья хватались за животики: как Деточкин, ага? Инспектор не на шутку распалялся и, заикаясь от волнения, сбивчиво и путанно объяснял им разницу между страховым инспектором и страховым агентом. Когда же надоело отвечать на подковырки, стал представляться всем подряд сотрудником райфо. Так звучало более внушительно. И главное, почти без дураков: райфо и райгосстрах ютились под одной дырявой крышей.

К новой должности нужна была привычка. Степан сначала уставал от писанины и даже, было дело, подумывал

уволиться — скучной показалась работёнка. Тянуло всё-таки к машине. Когда же, наконец, освоился, стал рассуждать примерно так: работа как работа, с рядом преимуществ. Шоферил — царапины и ссадины с пальцев не сходили, мазут, бывало, не соскоблишь, теперь же руки как у пианиста. Да и кем он был тогда? Стёпой-недотёпой. Мальчиком на посылках. А теперь кой для кого и Степан Аркадьевич. Мелочь, но приятная. Диплом, опять же, не права — не потеряешь.

С годами незаметно Стёпа стал Степаном Аркадьевичем даже для друзей. К сорока годам он заимел солидное брюшко, глубокие залысины и троих детей: двух девочек и мальчика. Когда они ходили в школу и, случалось, схватывали двойки, он доставал диплом, где чёрной торжественной тушью старательной рукой были выведены круглые пятёрки и, тыча в них пухленьким пальцем, внушал: вот папка ваш учился!

Лишних денег в доме не водилось, жили скромно, на зарплату, но дети вышли в люди. Старшая жила на юге, преподавала в институте, младшая работала врачом, а сын служил в погранвойсках. Жена работала учителем, она была покладистой, с ней жилось легко. Степан Аркадьевич числился в ударниках, его портрет бессменно красовался на Доске почёта. Инспектора ценили в женском коллективе за добросовестность в работе, смысл которой заключался в том, чтоб взять побольше платежей и меньше выдать возмещения с целью превышения доходов над расходами, от чего зависела зарплата. Ещё — за безотказность, редкую усидчивость и красивый почерк. Он, бывало, и открытки к Дню Советской Армии подписывал себе собственноручно. От командировок не отлынивал. Женщины просили: Степан Аркадьич, родненький, съезди за меня туда-то и туда-то, сделай то-то и то-то... И Степан Аркадьевич, хотелось или нет, сдвигал на край стола бумаги, собирался, ехал. Конечно, не совсем за так. Надо было на рыбалку или на охоту, без обиняков выкладывал: девоньки, прикройте! И «девоньки» без всяких прикрывали.

К своим за пятьдесят он сохранил отменное здоровье. До тридцати лет не курил. После, правда, на рыбалке-охоте крепко пристрастился. Зато зимой ходил на лыжах, летом бегал вокруг дома...

Так вот и жил. По вечерам любили помечтать с женой, как, выйдя на заслуженную пенсию, уедут к дочери на море, купят скромный домик, станут жить-поживать, внуков наживать. Хорошо мечталось.

2

Однажды приснился Степану Аркадьевичу сон. Он увидел себя молодым, за баранкой райфовской «Победы». Весёлым Стёпой-недотёпой. И рядом — бывшего начальника. Павел Матвеевич был необычно угрюм.

«Спел бы, что ли, Стёпа», — попросил он тихо.

«Какую, Пал Матвейч?»

«Любимую, дружок».

«Сейчас изобразим». — Степан расправил плечи и выдал в полный голос:

*Я встретил ва-ас — и всё бывшее-е
В ат-жившем се-ердце а-жи-ло...*

Как иногда во сне бывает, песня зазвучала сильно и свободно. Как бы сама по себе. Повисла, отделилась, поплыла:

*Я вспомнил вре-емя за-ла-тое,
И се-рдцу ста-ла так тепло...*

Павел Матвеевич прискорбно вздохнул.

«Душевно, Стёп, поёшь!»

Степан Аркадьевич-Стёпушка довольно усмехнулся и... открыл глаза. И тотчас впал в уныние. Как если бы во сне явилась к нему первая любовь...

Весь день преследовала песня. По дороге на работу, в душном кабинете, в тиши пустой квартиры. В ушах звучало неотвязно:

*Как поздней о-осенью па-рою
Бывают дни, быва-ает час...*

Тоска свербила сердце. Сны, как ни странно, повторялись. Степан Аркадьевич видел себя молодым и беспечным, ветреным немножко Стёпой-недотёпой за баранкой любимой «Победы». Её давным-давно списали, свезли на переплавку, взамен приобрели «Москвич», но снилась лишь «Победа». Он будто въяве ощущал тепло баранки, кислый запах папирос угрюмого начальника, и эти ощущения будили в нём тревогу. Утром через силу плёлся на работу, сидел мрачнее тучи. С девяти до восемнадцати корпел он над бумагами, звонил по телефону, вёл с кем-то разговоры и курил, курил...

Новая начальница, а их сменилось на его веку немало, впервые изъявила недовольство:

— Вам, Степан Аркадьевич, не с бумагами б работать, а прям не знаю, с чем. Все документы пересыпали вонючим табаком. Я вас не узнаю.

— Вы сильно не ругайте нашего Аркадьича! — полушутя-полувсерьёз вступились сослуживицы. — Он всё-таки у нас единственный мужчина. Обидится, уйдёт, что делать станем без него?

Степан Аркадьевич робко улыбнулся.

— Всё, девки, может быть. Возьму вот и надумаю.

— Уж не в райфо ли лыжи наострил? — насторожилась новая начальница.

— Можно и в райфо. Давно к себе зовут.

— А что в райфо-то? Что — в райфо? У них оклады меньше наших!

— Да так оно, — кивнул инспектор, — от добра добра не ищут.

Но и через месяц тоска не унялась. Степан Аркадьевич раздражался по любому поводу.

Однажды неожиданно забрёл в ту самую столовую, где так любил обедать Стёпой-недотёпой. Столовая ничуть не изменилась, разве что вместо вазочек с рябинами стояли вазочки с салфетками да на стене висел плакат иного содержания: «Хлеба к обеду в меру бери, хлеб — драгоценность, им не сори!». Степан Аркадьевич постоял посередине зала и подошёл к раздатчице.

— Чего тебе? — буркнула девица в замызганном халате.

Степан Аркадьевич стусевался.

— Здесь работала когда-то поварихой Вера... Вера Парамонова... Не помните? Весёлая такая!

— Много здесь перебивало весёлых и находчивых! Разве что посудомойка? Тоже Верка. Ветеранка... Но не Парамонова... А сами поглядите!

В амбразуре для посуды маячила косматая старуха...

Степан Аркадьевич с минуту постоял, повернулся, вышел...

Супруга вечером спросила:

— А ты зачем в столовую сегодня заходил?

— Да так, — пожал плечами, — шёл мимо и зашёл.

Жена подозрительно хмыкнула:

— Странно!

Как-то душной белой ночью он вышел покурить, и ноги понесли его через дорогу. Он очутился подле гаража, дрожащими руками вынул из пробоя проржавленный замок, не закрывавшийся на ключ беспечным нынешним водителем, поворовски — с оглядкой и на цыпочках — прошёл вовнутрь, в сыром тяжёлом полумраке бетонированного склепа разглядел райфовский «москвичок», нащупал сверкнувшую никелевую ручку и, повернув, легонько дёрнул на себя — дверца мягко отошла. Он сел на пассажирское сиденье, обтянутое пледом. Когда глаза привыкли к полумраку, увидел в гнездышке панели кругляшок брелка. Холодный крупный пот покрыл глубокие залысины. Степан Аркадьевич безотчётно передвинул своё тело на водительское место и тут же испугался дерзкой мысли, вывалился боком из машины. Сердце учащённо билось... Он закурил и успокоился. Затем, раздвинув обе створки сырых ворот, обитых жостью, втиснулся в машину... «Москвичок», как сытый кот, лениво заурчал, дёрнулся и плавно покатился, пересёк райфовский двор, выехал на главную дорогу. Будто оттолкнувшись от неровности асфальта, помчался, набирая скорость, в сторону шоссе. Степан Аркадьевич вёл автомобиль уверенно, рискованно, точно никогда не выпускал руля из рук. И всё в нём пело, ликовало...

*Я встретил ва-ас — и всё было-ое
В ат-жившем се-ердце а-жи-ло!..*

Домой пришёл под утро. Осторожно лёг, закрыл глаза. Но было ощущение полёта! Будто всё ещё он мчался по шоссе, и вот уже послушная машина взмыла над асфальтом и понеслась навстречу ветру, а он, не видя полотна дороги, упругой силой запрокинутой назад — летит, летит, летит!..

Ночная вылазка успешно повторилась через месяц, через две недели, через день...

Степан Аркадьевич как с ума сошёл! Всё, что было им заслужено по праву за годы безупречного труда и трезвости мышления — почёт и уважение, — с невероятной лёгкостью ставилось на карту. Всего лишь ради нескольких минут неизъяснимого восторга! Он сознавал, что совершает глупость — да что там глупость! — преступление, ведёт себя как бесшабашный малолеток, искатель приключений! Но, увы, не мог остановиться...

Гром грянул осенью, в начале сентября, дождливой тёмной ночью. Степан Аркадьевич вёл машину по уже привычному маршруту, весёлый перепляс дождя по крыше «москвичонка» ему казался музыкой восторга. Он вдохновенно пел:

*Я встретил ва-ас — и всё было-ое
В ат-жившем се-ердце а-жи-ло!..*

Невдалеке от аэропорта, из-за крутого поворота, скрытого стеною кедрача, ударил ослепительный сноп света, и в тот же миг через дорогу метнулась чья-то тень...

«Пеше..!» — молнией сверкнуло в голове. Рывком крутанул баранку влево и даванул по тормозам. Машину бросило в кювет и развернуло, ударило о столб. Раздались лязг металла, треск разбитого стекла...

Утром был переполох. Райфовский шоферюга с пеной на губах кричал на виноватого инспектора. Новая начальница сосала валидол. Женщины испуганно шептались. Степан Аркадьевич с гипсом на руке, с разбитыми губами, безмолвный, бледный и подавленный, сидел в углу, не поднимая глаз. Днём с Доски почёта испарилась фотография лучшего инспектора. Партийная ячейка родного учреждения готовила суровое собрание. Супруга, не способная принять

на веру робкие попытки объяснений, впервые усомнилась в порядочности мужа. Назревал скандал в семье и судилище с райфо. До суда, однако, дело не дошло. Ущерб Степан Аркадьевич сразу возместил, но вскоре вновь напомнил о себе: вздумал увольняться.

Новая начальница, приняв заявление за обиду на строга, что вlepила сгоряча лучшему инспектору, стала отговаривать. Уверяла, что всё давно забылось, что она способна где-то и понять, бывало с ней такое — хотелось сотворить бессмысленную глупость. Бросить все бумаги, полисы, свидетельства, засесть за выкройки и швейную машинку. Выговор она готова снять хоть сию минуту, выговор — пустяк, тем более, ему до пенсии всего-то ничего...

Степан Аркадьевич был неумолим.

— Уж вы, прошу вас, не держите, — отвечал на уговоры. — Поеду к старшей дочке, внуков буду нянчить... Поеду, не держите.

Расстались хорошо. Степан Аркадьевич угощал шампанским. Женщины просили написать, как только доберётся и устроится. Он всем всё обещал.

Через год в инспекцию пришло письмо из Симферополя. Степан Аркадьевич слал сердечные приветы, сознавался, что скучает. Но в коллективе ему сразу не ответили, а потом, как водится, забыли...

А Степан Аркадьевич на новом месте жительства в должности вахтёра общежития благополучно доработал до законной пенсии. Недавно он осуществил заветную мечту — с рук приобрёл автомобиль. В хорошем состоянии. Дети помогли. По воскресеньям он, супруга, дочь с семьёю выезжают за город. Там он уединяется, лежит на пахучей траве, подолгу наблюдает облака. И с грустью думает о том, как, в сущности, нелепо прошла жизнь.

Коллеги

Через сутки в один и тот же час из домика в конце деревянной улочки выходил пешеход — Иван Никитич. Направлялся он в детсад «Дюймовочка», где работал сторожем. Ивану Никитичу 63 года, он лёгок, сух, подвижен, хотя и припадает на раненую ногу. Всякий раз, проходя мимо детсада «Серебряные крылышки», старик думал: вот куда бы перейти — дорога вдвое короче, а это большое облегчение для моей ноги.

Примерно в тот же час из домика на противоположном конце улочки выходил другой пешеход — Зот Наумыч и, часто останавливаясь, отдыхая, шёл в детсад «Серебряные крылышки». Зоту Наумычу 65 лет, он тучен и медлителен. Всякий раз, проходя мимо «Дюймовочки», Зот Наумыч думал: хорошо бы сюда перебраться — дорога вдвое короче, а это много значит при простреленном лёгком...

Ночными сторожами старики работали не первый год. Иван Никитич был привязан к малышам из «Дюймовочки» и предан заведующей Розе Николаевне, Розочке. А Зот Наумыч был не в меньшей степени привязан к малышам из «Серебряных крылышек» и предан заведующей Вере Сергеевне, Верочке.

Старики встречались по дороге на работу и с работы, но в эти вечерние и утренние часы узкая улочка настолько была запруженной людьми и машинами, что познакомиться им так и не довелось.

Если утро выдавалось ненастным, Иван Никитич из «Дюймовочки» и Зот Наумыч из «Серебряных крылышек» домой не спешили — спешить им было не к кому. Они на часок-другой задерживались с малышами, которые, надо сказать, очень дедушек любили — ведь дети любят всех, кто любит их.

Малыши — народ любознательный. Их интересовало, отчего у деда Вани «хромает ножка», а у деда Зота «свистит

грудка». Старики могли бы рассказать им о себе, пове­дать немало фронтовых историй, но дети не умеют долго слушать...

Однажды по пути с работы Иван Никитич увидел, что деревянный подосиновик на игровой площадке детсада «Серебряные крылышки» горел на солнце свежевыкрашен­ной шляпкой. Через вечер он спросил у Розы Николаевны кисть и краски, обновил и свой грибок: ножку — белым, шляпку — красным. Освежил качели, столики, скамейки...

Зот Наумыч в свою очередь отметил перемену на чужой площадке, что слегка затронуло его самолюбие. Он освежил забор: штакетины — зелёным, калитку — белым с жёлтым, под ромашку.

Иван Никитич долго думал, чем ответить, и наконец со­орудил новые качели с лодочкой-сиденьем.

Через неделю во дворе детсада «Серебряные крылышки» взметнулась фанерная ракета...

Через полмесяца во дворе «Дюймовочки» выросла тесо­вая избушка на курьих ножках...

Время шло, а пыл соперничества не угасал. Перед Но­вым годом Иван Никитич вылепил Снегурочку с Дедом Морозом. Зот Наумыч ответил ледяной горкой...

Роза Николаевна и Вера Сергеевна недоумевали. И хоть активность сторожей вызывала у молодых руководительниц нечто вроде чувства утолённого честолюбия, была во всей этой истории оборотная сторона — не на шутку развернув­шееся соревнование прибавило хлопот. Доски, краску, ки­сти, гвозди — всё нужно было изыскать и привезти, и всё это — затраты.

На торжественном собрании в честь Советской Армии Ивану Никитичу объявили благодарность и вручили пода­рок — синюю рубашку сорок шестого размера. Зот Наумычу вручили Почётную грамоту и такую же рубашку пятьдесят ше­стого размера. Но при этом Роза Николаевна и Вера Серге­евна деликатно намекнули, что пора пригасить свои порывы.

До весны старики ревностно осматривали соперничаю­щие игровые площадки, выжидая, кто первым бросит вызов.

Пришла весна, а с весной вернулись хвори. Разболелась простреленная нога у Ивана Никитича, и он, опираясь на

тросточку, с большим трудом преодолевал расстояние от дома до «Дюймовочки». Зота Наумыча душил кашель, сухой и надрывный.

И оба призадумались.

Иван Никитич получал письма из Омска, в которых сын звал к себе. Зот Наумыч получал письма из Новосибирска, и дочь уговаривала переехать. Старики пораскинули умом, и оба пришли к одинаковому решению. Розе Николаевне и Вере Сергеевне, конечно же, не хотелось отпускать добросовестных работников, но и удерживать не стали — понимали их положение.

Уволились.

Уехали.

Сын Ивана Никитича — лётчик, живёт в новом районе за Иртышом, аэропорт рядом. По ночам старика беспокоил гул самолётов, привыкнуть к которому невозможно. Засыпал он лишь к утру. Болела нога, и во сне он громко стонал. В одну из бессонных ночей Иван Никитич оказался невольным свидетелем перешёптываний сына со снохой.

«В конце концов, — выговаривала сноха, — я женщина, я устаю и на работе, и дома. Мне нужен отдых, но эти стоны! Почему бы отцу не подлечиться в госпитале для ветеранов?» Сын смолчал, но как-то раз, между прочим, посоветовал отцу обратиться в госпиталь. Иван Никитич согласился.

Дочь Зота Наумыча работает составителем поездов, живёт в районе железнодорожного вокзала. По ночам старика беспокоил грохот вагонов, душил сухой кашель. И однажды он нечаянно подслушал разговор зятя с дочерью. «Мне очень не нравится его кашель, — вздохнул зять, — ведь он целыми днями возится с внуками. Надо ему показаться врачу...»

Утром старику стало совсем худо, и дочь вызвала «скорую».

Прошло ещё с полгода.

Как-то раз Иван Никитич объявил сыну и снохе, что соскучился по городу, в котором вырос и состарился, и хотел бы проведать до сих пор не проданный домишко. Сноха и сын не возразили.

Иван Никитич по приезде встретился с Розой Николаевной. Теперь она заведовала «Серебряными крылышками»,

а Вера Сергеевна, Верочка, вышла замуж и уехала из города. Роза Николаевна призналась, что ей очень не хватает такого бескорыстного, добросовестного работника, каким был Иван Никитич, и предложила вернуться. Иван Никитич долго не раздумывал...

С тех пор через сутки в один и тот же час из домика в конце деревянной улочки выходит пешеход и направляется в детсад «Серебряные крылышки». По дороге на работу и с работы Иван Никитич уже не встречается с Зотом Намычем и не проходит мимо детсада «Дюймовочка».

И всякий раз с горечью осознаёт: вот и стала дорога вдвое короче.

Бывает!

Наконец-то распогодилось.

С утра прояснило, зелень кругом заблестела, над искристыми лужицами заструились испарения. Воробьи на дороге расчирикались — повеселели.

«Давно бы так!» — легко подумалось Володьке Кононову.

На работу Володька не спешил. Он никогда не опаздывал — напротив, всегда приходил первым. Не потому, что особенно туда рвался. Нет. Вставал рано. Какое-никакое хозяйство водилось, надо было управиться: гусей на озеро спровадить, корову после дойки в стадо выпустить, поросёнку в загон крапивы охапку бросить. Затем завтракал основательно, слушал по радио сводку погоды. Пока шель-шепель, время к полвосьмому набегало. А остальные до восьми полчасика, как ни выгадывай, делу не время. Приходилось идти.

И сегодня Володька шёл да покуривал, по сторонам поглядывал. «С ремонтом бы закруглиться, — ворохнулось в голове, — неделю на приколе простоял, на курево не заработал. Не машина, а доходяга!»

В конце улицы, в просвете меж тополей за большаком, завиднелась шиферная крыша гаража. Володька выплюнул изжёванный мундштук папиросы и с твёрдым намерением во что бы то ни стало завершить к вечеру ремонт своего ЗИЛа ускорил шаг.

У домика аптекарши Васюни Цыганковой он вдруг споткнулся.

За оградой у Васюни разговаривали. И голос был как будто Гошин. Володька, не веря ушам своим, уставился поверх калитки. И остолбенел: Гоша Знобишин! У Васюни! «Ночной попуткой, видно, прикатил, — догадался Володька, — иначе б вся деревня уже знала».

Васюня, босая, русоволосая, в простеньком цветастом халатике, стояла на высоком крыльце, одной рукой придерживала притворённую сеничную дверь, другой — спадавшую

на глаза прядь волос. Гоша с пучком смородинника в руке шёл к ней из глубины двора. В трико и тапочках. Непривычно домашний. Смеясь, кричал на ходу Васюне:

— Так нельзя! Жить в деревне и не испить смородинного чая! Мы это дело быстренько поправим.

— Некогда мне чаёвничать, Гош, — отвечала Васюня. — Ты пока один тут покомандуй, а я оденусь да побегу, на работу опаздываю.

Васюнины большие глаза на смуглом от загара, парном ото сна лице, показалось Володьке, лучились. Или это солнышко в них так играло...

— Ну и опаздаешь — не беда, — не соглашался Гоша. — Зато смородинного чая напьёшься!

— Ой, Гош, какой ты! — смеялась Васюня.

— Какой?

— Да ну тебя!

— Нет, правда, какой? — выпытывал Гоша.

— Домовитый... И настырный, как старый свёкор!

Гоша поднялся на крыльцо, шагнул в сени. Васюня прикрыла за ним дверь.

И — всё.

И, ошарашенный увиденным, Володька пошёл дальше. Но Гоша уже не выходил у него из головы...

* * *

Васюня и Гоша... Разные люди. Васюня — женщина серьёзная, к себе строгая. С мужем не повезло — пил, по пьянке и утонул. Хватила она с ним! Но и Гоша — не подарок. Весь какой-то неприкаянный, неустроенный. И пил перед загадочным своим исчезновением, пожалуй, похлеще покойного Андрюхи. Неужто приняла Васюня Гошу? Вот и пойми их, баб, после этого!

Явился, значит.

Гоша, Гоша... Друг мой неудачливый!

Как-никак, соседями, окно в окно жили, на глазах друг у друга росли. В один день в школу пошли, за одной партой сидели. В шестом (или — в седьмом?) оба в Васюню влюбились. После уроков домой её провожали, портфель

попеременке таскали, отвагой перед ней бахвалились: на чужие огороды за огурцами да подсолнухами набегии совершали. Володька, правда, быстро к Васюне охладел — мопед на заработанные в покос деньги купил, не до любви стало. А Гоша из-за Васюни не один раз с Андрюхой Цыганком врукопашную схватывался.

К Васюне Володька охладел, но с Гошей по-прежнему дружил. Да и не то слово — дружил. Родные братья, бывает, меж собой так не дружат. Гоша свою мать не помнил, она молодой умерла. Отец с другой женой в соседней деревне проживал, он бы и сына к себе забрал, да у них там школа только до четырёх классов была. Гоша с бабкой жил, а когда та померла, больше у Володьки находился. Вместе уроки учили, спали на одной кровати. Дед Мухин, сосед, так, бывало, и звал их братьевьями. При Володьке как-то матери рассказывал: «У тебя, Марковна, парни цо-опкие! Давеча Андрюха Володьке за что-то по уху съездил, так Гошка коршуном на Цыганка налетел, насилу растащили. Цопкие. Что братьевья!» — «Ну и дай Бог, чтоб в обиду друг дружку не давали», — отвечала Володькина мать. Они и не давали...

После восьмого класса Гоша в ПТУ поехал. Там общежитие предоставляли, формой обеспечивали. И Володька вслед засобираился, не захотел отставать. Мать, понятное дело, восстала, велела дальше учиться. Но покричала, всплакнула и смирилась. Отпустила.

В армии, правда, разошлись. Как на беду, Гоша с Цыганком в одну часть угодили. Если б не Цыганок, как знать, может, и у Гоши всё бы по-иному сложилось. Хоть и не принято о покойнике плохое поминать, но о Цыганке хорошее не поминалось. Он и напакостил. Да ещё как напакостил!

Вышло так, что Гошу перед самой демобилизацией с партией шоферов на уборочную отправили. На целину, как тогда говорили. Цыганка демобилизовали, а Гошу задержали. Тот, конечно, расстроился, Васюне письмо написал: так, мол, и так, ничего не поделаешь, со свадьбой придётся повременить (у них на осень уже и договорённость была). Но письмо не по почте отправил, а с Андрюхой передал. Цыганок домой приехал, загулял. Спьяну и пришла мыслишка. «Ты Гошу где оставил?» — спрашивает Васюня.

«На сверхсрочную благословил!» — «Врёшь!» — «Чтоб мне сквозь землю провалиться!», — клянётся Цыганок...

Лучше бы, действительно, сразу провалился!

Васюня верит и не верит. «И ничего не велел передать?» Цыганок артистично изображает душевную муку: «Понимаешь, Васюня... Есть там у него... Ради неё и остался!» Никто Андриюхиным клятвам сразу не поверил.

Но прошёл месяц, другой — нет Гоши. Все деревенские осенники повозвращались, а Гоши нет. И даже у Володьки сомнение в душу закралось. А Цыганок всё возле Васюни отирается. Поверила она ему. С отчаяния, от обиды за Андриюху вышла. В деревне свадьба, а Володька от Гоши письмо получает... Свадьбу ломать не стал, зубами перескрипел. Но через неделю на машинном дворе с Андриюхой поговорил по-мужски. Ничего, обошлось. Цыганок с полмесяца в больнице в карты поиграл, а Володька столько же райцентровские тротуары метлой прошаркал...

У Васюни с Андриюхой с самого начала не заладилось. Только ради сынишки и жили. Да и жили так: Цыганок больше у матери в избушке пропадал.

Невесёлое возвращение у Гоши получилось...

Володька вскоре после армии женился — время подошло. Свою деревенскую взял. Сперва Леночка родилась, затем Натка. Забот прибавилось, успевай крутись. С Гошей как-то незаметно почужели. Что ни говори, женатый есть женатый.

Гоша из-за Васюни, конечно, переживал, но виду не показывал. Хорохорился. Добродушный богатырь, рубаха-парень, холостяковал напропалую. Бывало, как вечер, на улице впереди ребят с гармонью вышагивает (тогда уже не играли, а он не бросал — форсил). Чубатый, бесшабашный:

*У Егорки на пригорке
расцветает красный мак.
Все ребята поженились,
а Егорка ходит так!*

Володька, дело прошлое, глянет из окна на весёлую ком-пашку, и так на душе помутнеет. Тоже погулять хотелось,

молодой ведь ещё был. А тут Леночка только-только желтухой переболела, у Натки зубки запрорезывались, температура подскочила.

Однако, погулял-погулял Гоша, почудил-побаламутил да и сник. С ребятами знаться перестал, гармошку забросил. Что-то в нём надломилось. А потом вдруг запил. Права отобрали, с машины сняли, в слесаря перевели.

Однажды Андрюха с другом-киномехаником на Иртыш поехали рыбачить, водки ящик взяли, а обратно через трое суток один киномеханик на чужом мотоцикле полуживой со страху примчался: «Андрюха утонул!»

Похоронили Цыганка, и Володька, грешным делом, стал с надеждой подумывать, что со временем у Васюни с Гошей сладится.

Как-то раз Гоша к нему забрёл, пять рублей до полочки попросил. Володька бы дал, но у самого лишней копейки в карманах не водилось, всё Маша, жена, подчищала. И на Гошу тогда напустилась: «Всё пьёшь? Ну и дурак! Далась тебе эта Васюня! Одна, что ли, в деревне? Мало ли девок по замужеству истомилось?»

«Расхорошая моя! — приобняв Машу за плечи, рассмеялся Гоша. — Оттого, может, и холостякую, что выбор слишком богатый, глаза разбегаются, не знаю, на ком остановить!» — «Трёкало! — рассердилась Маша. — Всё бы ты смешками. Твои смешки до добра не доведут! Подумай о себе! Из-за Васюни ли спиваться, она тебя лишний месяц не подождала». А Гоша посерьезнел и, уходя, обернулся от порога: «Ты, Мария, Васюню строго не суди. Я больше её виноватый... А про девок так скажу: их много, да любовь, видно, всё-таки одна. Первая. Всё, что потом, — осколки. А на фига мне осколки?»

Деревня есть деревня. Похоронили Андрюху, и досужие языки разное про Васюню с Гошей заговорили. Дескать, он давно к ней клинья подбивал, случая ждал подкатиться. Однажды Гоша пьяный в слесарке спал, а Васюнина све-кровь окна у вдовы перебила. «Бесстыжая! — разорвалась на всю улицу. — Сука такая-растакая! Мужу, как похоронили, сорока дён не сравнялось, ноги у покойника не остыли, а ты!..» — Обезумевшей от горя старухе Гоша в Васюнином окне пригрезился.

И Гоша исчез. Заколотил свою избушку и уехал. Никто не знал, куда. И стали его потихоньку забывать, будто не было в деревне такого. И Володька стал забывать. Был друг, да сплыл. Куда девался, надолго ли — не гадал. Не до того было...

И вот — объявился Гоша.

У Васюни.

* * *

Утреннюю лёгкость как рукой сняло. Работа не шла на ум. Там и делов-то оставалось — снять радиатор да как следует прочистить, весной промыть поленился, движок и обессилел. Володька рукава засучил, вокруг машины походил, попримеривался. Только к радиатору пристроился, ключ как назло с железа соскользнул, палец раскровянил. Володька в сердцах выматерился, ключ в угол зашвырнул, в бытовку ушёл. Там Гешка Мухин, деда Мухина внук, «Огонёк» рассматривал. Вернее, обложку с кроссвордом от «Огонька». Журнал на столе с понедельника лежал, от него с каждым днём убывало, одна обложка и осталась.

— Во! Может, ты, Кононов, секёшь? — встрепенулся Гешка. — Ну-ка, шевельни извилиной: «Балет А. Хачатуряна» из семи букв?

— Чего, чего? — приостановился Володька.

— С вами всё ясненько, Кононов! — вздохнул Гешка. — Вы, маэстро, мне далёко не помощник.

— Ты уже третий день про этого Хачатряна спрашиваешь! — рассердился Володька. — Балетмейстер выискался. Шёл бы лучше вкалывать!

— Во-во, это наше дело, это мы могё-ём, — дурашливо протянул Гешка. Длинно зевнул, потянулся до хруста в суставах, заломив над головой руки. — Только в том мы и сильны, что гайки крутить! А ведь кто-то, гадство, в этих балетах-кордебалетах собаку съел!

Володька промолчал.

Гешка скатал обложку в трубочку, к глазу её приставил, на Володьку навёл.

— Кононов, чегой-то у меня, язвы его, нос зудится?

— Не знаю, с чего зудится, — буркнул Володька.

— Хороший нос, говорят, за полдня выпивку чует, — намекнул Гешка. — Ты как сегодня после получки насчёт... дровишек?

— Никак.

— Чего так?

— Отлипни.

— Во даёт! — удивился Гешка, — а я думал, как всегда, поддержишь инициативу!

Володька сел у окна, пластырем из аптечки ссадину на пальце залепил, закурил. Тут механик с улицы зашёл, и Гешка мышью из бытовки шмыгнул.

Володька курил тоскливо, а механик, молодой парень, недавно из техникума, то и дело хлопая дверью, выходил и заходил, пил воду из мутного графина, рылся в бумагах на тумбочке, водил мазутным пальцем по замусоленным страницам телефонного справочника, но никому не звонил. На Володьку искоса поглядывал. Это и раздражало: «Пыхтит, как ёжик, а не накричит, из бытовки не погонит. Вот так целый день пропыхтит и слова не скажет. Начальничек!»

Володька задавил окурок в пепельнице и вышел.

В обед кое-как дочерпал миску борща и отказался от добавки.

— Чего смурый такой? — заметила жена. — На работе неполадки?

— С чего взяла?

— По тебе вижу.

— Видит она!

— Дак, конечно, вижу. Что-то неладно. Поди, с начальством поцапался?

— Да всё ладно! — вспыхнул внезапно Володька. — В том и дело, что всё ладно. Так прям ладненько, что лучше некуда!

Маша застыла у стола. В одной руке поварёшка с борщом, в другой — крышка от кастрюли.

— С тобой сегодня ладно?

— Тьфу ты, забуксовала-заладила! — Володька рывком поднялся и схватился за папиросы.

Маша опустила поварёшку в кастрюлю, зло выговорила:

— Опять, я гляжу, замудрил. Как у вас получка, так бес тебя в бока шпигует! Места не находишь!

Володька хлопнул дверью...

Трудно прошёл день.

* * *

Вечером со скотиной управился, на лавочке покурить вышел. Старик Мухин из окна его увидел, тоже приковылял, рядышком одышливо опустил. Сидел и время от времени вздыхал глубокомысленно:

— Хлеба, парень, доходят... Колос ши-ибко чижёлый!

— Доходят, ага, — машинально соглашался Володька.

И опять долго молчали.

— А дожди, парень, маненько напаскудили. Местами полегла ржичка...

— Подыдем, не впервой.

Натка, кровинушка Володькина, на качелях раскачивалась. Он ещё до армии у себя за воротами, у мухинского палисадника, два столба вкопал и в перекладину ломик на скобы укрепил — турник сделал. Теперь этот турник для Леночки с Наткой в качели переоборудовал. Натка плавно покачивалась, резиновыми сапожками лужицу под качелями бороздила, напевала вполголосочка:

*Я качалась на качелях,
под качелями вода.
Красно платье замочила -
дайте белое сюда!*

И чем дольше Володька на дочурку глядел, тем больше на душе становилось. Он замечал, как Маша то и дело из окна выглядывала. «Следит, не уверяется, что с получки на-сухую сегодня обходится!» Но досады на жену не испытывал.

— Слышь, дед, — обратился он к Мухину. — Сегодня Гошу Знобишина видел. Вернулся, оказывается.

— Ну-у? — удивился дед. — Теперь торговля пойдёт! А то ведь выручка без него упала. Водка прокисает!

Володьку аж передёрнуло — за живое задело. «Вот ведь люди! Нет, чтоб спросить, где видел, как видел!»

— Он, может, теперь другой, Гоша-то!

— Э-э, парень, — вздохнул Мухин, — горбатого могила исправит. Кому что дано!

— Чего дано, чего это дано? — загорячился Володька. — Что он, пьяницей горьким, по-твоему, родился? «Дано-о!»

— А ты пошто, парень, вспетушился? — прокашлял дед. Он новую сигарку сворачивал, и она у него в пальцах рассыпалась. Кисет в карман сунул. — Дай-ка лучше свою беломорскую, — попросил у Володьки.

Тот протянул начатую пачку.

Мухин закурил, затаился, втянув серые худые щёки, губами причмокнул.

— Сырые они у тебя, что ли? — крикнул недовольно. — Не лёгкие, а насос надо иметь...

— Всё смолишь, — неодобрительно отозвался Володька. — Не в твои годы курить бы. Там, наверное, внутри-то, всё черным-черно от дёготи... Помрёшь скоро, а всё смолишь.

— Ну уж хрен! — неожиданно в кашле всхрипнул Мухин. — Помирайте сами, коли жисть опостылела. А я ещё маненько небо покопчу, мне не в тягость. Это вам, молодым, погляжу, всё одно: что жить, что околеть.

— Как это так? — не понял Володька. — Что-то ты, дед, забуровил!

— А нисколечко не забуровил, — сердито выдохнул Мухин, — Нету у вас, нынешних, вкусу к жизни. Без радости живёте. Тычетесь вслепую по углам, как котята мокрые. Каждый сам по себе. Раньше, бывало, на лавочку выйдешь к вечеру, слышишь: там гармошка, там гармошка. Веселится молодняк. И старичьё, на них гляючи, в кружок поботолить сойдётся. А шас никого, шаром покати. Все по своим углам. Старики и те на запорах с ужина, сроду такого не бывало...

— Что ж, по-твоему, лясы по вечерам точить — в этом вкус? — съязвил Володька.

— А может, и в этом, — серьёзно, не уловив насмешки, ответил Мухин. — Я человек не больно грамотный к умным

разговорам, а только, парень, так скажу: на фронте как прижмёт тоска по дому, так мне всё посиделки и виделось. Дети, баба да посиделки. Уж как нас только не ломало, не корёжило! Иной раз махнёшь рукой, подумаешь: скорей бы конец, чтобы отмучиться! А вспомнишь — и жить охота. Хватаешься за соломинку, землю грызёшь. А вы? Да что там говорить — не цените вы жизни!

— Володь, иди ужинать! — позвала из окна Маша.

Володька на Мухина внимательно поглядел.

— С тобой, дед, не соскучишься. Не сразу сообразишь, что к чему.

— А ты покумекай на досуге, — посоветовал Мухин. — Может, дойдёт.

Натка всё покачивалась да распевала:

*... бело платье замочила -
дайте синее сюда!..*

Володька ещё раз хмыкнул, любимицу с качелей позвал: — Пойдём, доча, домой. Мамка ужинать кличет.

После ужина у телевизора посидел. По второй программе шло кино. Про какой-то колхоз, где мужички целыми днями пластались друг с другом в правлении, а грудастые, пышнотелые колхозницы с песнями пропалывали свёклу и дружно корили Одарку, которая с агрономом снюхалась...

Володька до конца не досмотрел, лёг, затылок руками обхватил...

* * *

Вот ведь штука — жизнь! Живёшь, не задумываясь, без оглядки — и всё-то вроде у тебя ровно да гладко, и впереди как будто всё ясно и просто. Но вдруг ни с того ни с сего поймёшь, что... пусто как-то живёшь. И что обидно — чуешь это, а объяснить даже самому себе не в силах. Как блаженной становишься: всё тебе не так, всё тебе не этак. И, застигнутый врасплох этой чёрной мыслью, начнёшь в себе, в прошлом своём ковыряться. Ищешь там хоть что-то

противоречащее своему открытию, но, к огорчению, находишь, что хорошего действительно кот заплакал.

Хотя, конечно, если тебе тридцать с небольшим, у тебя семья — жена и две дочурки, в которых ты души не чаешь, работа — любимая или нелюбимая, не столь важно, если она кормит и идёшь на неё легко, квартира, а в ней всё, что принято иметь в порядочной квартире, если, кроме всего прочего, у тебя хозяйство, гараж, а в гараже хоть и старенький, но всё же на ходу «Иж-Юпитер» с коляской, то вроде грех на судьбу плакаться. Живёшь если не лучше, то, во всяком случае, не хуже других... Однако втемяшится в голову! И откроешь неожиданно, что всё твоё прошлое — не что иное, как чередование чёрно-красных календарных будней. Причём по закону календаря чёрных всемеро больше. И что всего обидней, ничегошеньки не сделал, палец о палец не ударил, чтобы изменить что-то в себе, зажить, как мечталось когда-то — было ведь?

Ничегошеньки не сделал. И не подумал.

Володька глубоко вздохнул, на бок повернулся...

Разве это жизнь? Утром встал глаза разлепил, по хозяйству управился и — на работу. С работы пришёл, опять допоздна по хозяйству. Затем брюхо набил, у телека посидел — и на боковую. Какдый день одно и то же. Каждый божий день... Хорошо, когда покос или уборочная, всё разнообразие. Обленился, опустил. Ни поехать, ни пойти никуда не тянет — ни в кино, ни в гости. Ни к тебе никто, ни ты ни к кому. В отпуск сто лет не ездил. Полжизни, можно сказать, пролетело, а чего хорошего видел? Моря, и того не видел. А как мечтал на море съездить! Зато завёл сберкнижку. Для чего, спрашивается, завёл? Когда, как не сейчас, — девчонки, слава богу, подросли — махнуть куда-нибудь с семьёй? В Сочи, например. Или в Анапу. Или куда там ещё люди ездят?

Но главное не в этом. Гоша на глазах погибал. Пусть для других он такой-рассякой, пьянь беспробудная, но ты-то его знаешь. Знаешь, что за человек. Но не зашёл, к себе не пригласил, А он, может, ждал. Кого ему больше ждать?

И так жалко стало Володьке упущенного, такая дремучая тоска обуяла — кулаком по стенке саданул.

— Ты чего? — испуганно спросонок спросила Маша. — Приснилось что-нибудь?

— Приснилось... Спи.

До полуночи проворочался.

«Всё, — приказал себе, — так больше нельзя. Пора бы и встряхнуться!»

Он мысленно перечеркнул своё серенькое прошлое, увидел впереди просвет, ещё не обозначенный чётко, зыбкий, расплывчатый, но уже притягивающий, вселяющий надежду. И так поверил в лучшее завтра, что бесконечно долгой показалась предстоящая ночь, долгой и тягостной, как всё прошлое. И подумалось: чтобы не отступить, надо немедленно что-то предпринять. Сейчас же, сию минуту.

— Ты не спишь, Маша?

— Ну?

— Я что надумал... Давай, пока уборочная не началась, мотанём куда-нибудь.

— Куда? — на локте приподнялась жена.

— В отпуск.

— Долго думал?

— А что? Съездим, проветримся, а то ведь засиделись. Всё дома и дома. Не старики ещё!

— А хозяйство на кого?

— На Мухиных оставим.

— Больше ничего не придумал? Кто бы за ними присмотрел!

— Да ну. Они, слава богу, ещё шустренькие.

— А умишки у обоих уже детские... Что это тебе вдруг вздумалось?

— Живём как-то неладно...

— Плохо, что ли?

— Не в том дело... Скучно!

— А-а! Больше б дома по хозяйству ковырялся, некогда б стало скучать! — Маша отвернулась, ткнулась носом в подушку.

И до Володьки дошло: с женой будет сложнее. Её не просто расшевелить. Но и отступить был не намерен.

— Деньги с книжки сыму, — заявил он. — «Урала» куплю. «Ижака» продам, а «Урала» куплю. По нашим-то дорогам

на «Ижаке» не больно разгонишься, а на «Урале» — милое дело. Хоть по грузди, хоть по ягоды.

— Ещё что сколобродишь? — недоумённо уставилась Маша. — «Урала» ему захотелось! Один мотоцикл на железки разобрал, теперь другой подавай. Богатей выискался!

— Сперва, конечно, в отпуск, — продолжал Володька. — Завтра же заявление напишу. Живём, как эти... Хватит! Девчонок с собой свозим. А то чего ж видели? Вон, у людей, посмотришь, дети в музыкальных школах учатся. В райцентре бываю, так идёшь мимо — пиликают, кто на чём. Родителям приятно послушать. Ты свозила бы Лену, может, примут.

— Так ведь возила уже! — Маша всё ещё буравила Володьку подозрительным взглядом.

— Ну и что сказали?

— Сказали, слуху нету.

— Так и сказали?

— Так и сказали.

— Врут, поди. Мест нет, вот и слуху нет... Ты ей ко дню рождения ничего ещё не покупала?

— Господи! — простонала Маша. — Месяц впереди!

— Не покупай, не надо. Я куплю.

— Присмотрел чего-то?

— Давненько присмотрел. В июне, когда в райцентр с собой возил, по магазинам ходили. В универмаге аккордеон увидела, глазёнки загорелись: «Купи, говорит, папка, большую гармошку!» Куплю. Пускай учится. Чего видели-то? Городские, послушаешь: в цирк не хочу, в театр не хочу, в балет не хочу! Хачатрян им не Хачатрян! А наши...

— Какой ещё Хачатрян? — перебила Маша.

— Да композитор один... По балету.

— Понимает кого-то! — недоверчиво проговорила жена. — Нет, Володь, честно, ты сегодня не того — не клюнул с дедом на лавочке малость, а? Я тебя чего-то не пойму. Соображаешь сам, что колобродишь? Такие деньги на музыку ухлопать, а что она с ней делать будет? Любоваться на неё?

— Пусть учится!

— Говорят же — слуху нет. И у кого учиться? У Егора? Днём в магазине была, слышала, явился твой друг Гоша. Видел его, нет?

– Видел...

Володька сел, обхватил колени руками. Маше тоже спать расхотелось, разогнал Володька сон. Села рядом, зевнула.

– И чего, спрашивается, уезжал? Сошлись бы с Васюней сразу да жили, если уж такой роман...

– Какой такой роман?

– Забыл, какие романы бывают?

– А-а! Любит, вот и уезжал.

– Здравствуйте! Раз любит, зачем уезжал?

– Тебе, Маша, не понять.

– Надо же, – обиделась жена, – какой ты у меня понятливый! Давно таким заделался? Что-то я не замечала!

– Потому и уехал, чтоб Васюню в покое оставили, что ни попадя языками не мололи. Гоша, он такой. Я его знаю.

Маша недоверчиво на мужа покосилась.

– И какой он, интересно?

Володька слез с кровати, сел к столу, закурил.

– Помнишь, когда мы в детстве ещё безштанниками бегали, за древней качели стояли? После масленицы оставались?

– Ну, конечно, помню.

– Так вот, как-то раскачались мы с Гошей. Хорошо раскачались. А тут Андрюха Цыганок откуда ни возьмись. Встал сбоку и давай, чертёнок, ещё сильнее раскачивать. До того раскачал – вот-вот через перекладину перекувыркнёмся. Я ору, что есть моченьки – страшно сделалось. Ноги, руки задрожали. И Гоша, вижу, белый... А осень поздняя стояла, снежок, помню, выпал, морозец прижимал. Верёвки – что тросы, обледенели. Хорошо, я в рукавичках, а Гоша голыми руками уцепился. Но – молчит. Я базлаю, он молчит. Ладно, дед Мухин увидел, Андрюху шуганул. Гоша как на землю ступил, так и присел – ноги отказали. И ладони в крови. Он до того в верёвки вцепился, что они ему пальцы в кровь изодрали. Сел и заплакал. Мухин: ты чего, Егор, ревёшь? Радоваться надо, что не изувечились. А Гоша: я за Володьку боялся. Если б я упал, то и он убится бы. Мухин засмеялся: правильно мыслишь... Даже одному нельзя упасть, когда вас двое на качелях. Один сорвался – другой следом... – Володька замолчал, сходил выпил воды и лёг.

— Ну и что? — спросила Маша. — К чему ты про качели вспомнил?

— Ну, знаешь! — Володька задохнулся от досады. — Давай-ка лучше спать. А то поругаемся на ночь глядя.

Маша с минуту помолчала и согласилась:

— Давай, правда, спать. На работу завтра...

Володька поворочался-поворочался да и уснул. Да так разоспался, что утром Маша едва добудилась. Он второпях собрался и, впервые опаздывая, побежал на работу.

А утро опять выдалось солнечным, небо полностью расчистилось. Захлопали калитки. Из Васюниной Гоша вышел.

С Володькой нос к носу столкнулись.

— Здорово, что ли, Кононов!

— Привет, пропавший без вести! Далеко ли навострился?

— В правление насчёт работёнки...

Они трягнули друг другу руки и пошли вместе. Шли молча. Впереди — долгий день. Можно наговориться.

И на душе у Володьки было легко, всё вчерашнее улетучилось без остатка. Он даже удивился: что же это со мною творилось? Но не смог понять. Отмахнулся. С каждым, наверное, бывает.

Изоша Поперёшный

Поутру Седьмого ноября Изот Чагин встал в предвкушении праздника, чему законным основанием служило красное число на отрывном календаре. Встал и, почёсывая грудь, прильнул к окну.

— Погляди в своё окно — всё на улице красно! — продекламировал он с чувством, хотя на улице-то было вовсе не красно, не ало, даже и не розово, а белым-бело от свежего, ночью выпавшего снега.

Дурачась от избытка тёплых чувств, он мимоходом чмокнул жену в ухо и под её довольное бурчание вышел налегке во двор. Постоял, полюбовался чистым оснежением и расправил плечи...

Через полчаса, выбритый, умытый, сел за стол и выжидательно глянул на жену. Тоже на законном основании. Но она вдруг проявила нерешительность.

— А может быть, Изоша, без стопки обойдёшься?

— А почему без стопки? — удивился он. — Праздник же сегодня.

— Да, вроде, праздник и не праздник — не поймёшь... Ещё когда по радио сказали, что демонстрации не будет. Скажи, Иван. Ты слышал?

Сын подтвердил с набитым ртом:

— Угу... Сказали. Слышал.

Изот обвёл глазами сына и жену.

— Вы мне пропаганду тут не разводите. Будет или нет, меня особо не волнует. Праздник ведь не отменили? Сегодня — красное число? Вот и наливай, не нарушай традицию!

Жена со вздохом налила. Как бы отделалась подачкой.

Изот, конечно, возмущился, но виду не подал. Как тут не возмутиться? Уж когда-когда, а в красный день календаря, будь то Первомай или Седьмое, она без рассуждений наливала стопку, ещё и трёшник на «общение» без промедления выкладывала. Он лихо опрокидывал законные сто

граммов, хорошо закусывал и одевал Ванятку. Втыкал ему в петлицу бумажную гвоздичку, надувал шары, вручал флажок на палочке, и шли втроем на площадь...

Свои сто граммов Изот Чагин и сегодня всё же принял, но принял как-то с неохотой, буднично и вяло, как, случалось, с мужиками на бегу после рабочей смены, украдкой от начальства. Закусил солёной помидориной, поковырялся вилкой в сковородке и встал из-за стола.

— Так ты, Иван, со мной сегодня не пойдёшь на площадь?

— Что я, коммуняка, что ли? — брезгливо отвернулся сын.

— Ишь ты, он не коммуняка! А я кто, по-твоему? Член политбюро? Секретарь парткома? Я тоже беспартийный.

— Ну и не ходи, никто тебя не гонит.

— Лучше бы от пыли ковры повыбивал, — вставила жена.

Изот сорвал с вешалки куртку и шапку и повернулся к сыну.

— Он не коммуняка! Разве только коммунякам праздновать дозволено? А мы не люди разве? Ишь, пропагандист!

* * *

На центральной площади было стыло, неуютно. Несильный, но хватающий за нос и уши ветер кружил по голому асфальту обёртки из-под «сникерсов», катал пивные банки. Перед коммерческим ларьком топтались четверо «качков» в пятнистых камуфляжах да отирался забулдыга в истёрханной шинелке.

И — ни флажка, ни транспаранта. Ни букетика цветов к памятнику Ленину. Ни шарика воздушного. Впервые на его, Изота Чагина, веку власти отменили в городе революционный цвет!

Ударом каблука Изот сплющил банку.

— Не нравится мне это! Хоть бы один из идейных явился! Речугу какую толкнул, людей бы с праздником поздравил! Все попрятались по щелям. Неужто праздника не жалко?

... На фронте белого фасада телестанции не было сегодня громоздкого портрета Ильича. Вместо Ильича там

был прибит рекламный щит с крупной броской надписью: «Фирма гарантирует высокие проценты!». Железные ворота закрыты на засов. И так же, как на площади, ни флажка, ни транспаранта. Ни души на территории. Ни малейшего намёка на очередную годовщину!

— Сволотун какой-то!

Обычно в день Седьмого ноября с утра на телестанцию сходилась персонал. Монтеры и механики по двое и по трое «ныряли» в Красный уголок или в пристрой к завхозу. Оттуда то и дело их изгонял парторг Петрович и как бы в наказание за внеурочное «общение» обременял знамёнами, портретами вождей и основателей, а особо провинившихся — для связки — транспарантами. Изот правдами-неправдами избегал хождения толпой, предпочитая с сыном на плечах и бок о бок с женою наблюдать со стороны.

Через раскрытые ворота оживлённый персонал по парторговской команде вливался в общую колонну, нестройными рядами преодолевал обязательную часть — сотню метров через площадь мимо городской «верхушки» на трибуне — с возгласами «Слава!» и «Да здравствует!» и, что особо забавляло Изота и жену, с тоекратным рассыпным «Ура, ура, ура!». «Верхушка» в одинаковых шапках и пальто помахивала вяло чёрными перчатками и, стоя полубоком к шествующим массам, о чём-то важном меж собой переговаривалась. Но массы большей частью глядели не на важную «верхушку», а на задники ботинок впереди шагавших, дабы не отдавить тем пятки. На первом перекрёстке, побросав в открытый кузов грузовой машины флаги и портреты, освобождённый персонал бросался в рассыпную, группировался по компаниям и под звуки марша с площади расходился продолжать «общение»...

В пристрое у завхоза было пусто. На обшарпанном двухтумбовом столе, переоборудованном под лежанку и верстак, лежала груда выцветших от времени знамён и транспарантов в надломанных подрамниках. В плесенном углу — запылённые портреты подзабытых членов бывшего политбюро. Предусмотрительный завхоз внёс их по привычке накануне праздника.

Входная дверь на станцию была приотворённой. Из аппаратной доносился ровный шум включённых передатчиков. Дежурный инженер, экс-парторг Петрович, завтракал в бытовке.

Изот с ходу гаркнул:

— С праздником, парторг! С семьдесят седьмой кровавой годовщиной!

Петрович поперхнулся и отставил термос.

— С этим и пожаловал?

Изот подсел к столу.

— Не только... Никого из наших не было сегодня?

— Не было... Зачем? Выходной же день.

— Я думал, кто заглянет по привычке.

— Чего сегодня делать? Выходной сегодня! — повторил Петрович.

— Не выходной, а праздник, — поправил Изот Чагин. — Чего сидеть-то сиднем по домам? Придёт время, насидимся. Пообщаться бы, как раньше... Не всё ведь плохо было.

Петрович просверлил его глазами, но предусмотрительно смолчал. Обколупал варёное яйцо и макнул им в соль.

Изот, вздохнув, добавил:

— Сволотун какой-то!

Петрович прожевал и ухмыльнулся ядовито:

— Колотун, наверное? Мудришь!

— Это у тебя, может, колотун, а у меня другое... У меня сегодня злости не хватает. Что за дела такие, а? С мая ждёшь праздника, а они там, наверху, поганку людям гонят. Что за праздник без компании? Отгулы, а не праздник! — Он пальцем погрозил Петровичу в лицо. — Это всё твои, парторг, бывшие товарищи. Они там куролесят!

— Три года уж, как не мои, — возразил Петрович. — Я, Изоша, после путча сразу понял: мне там больше делать не фиг. Финита ля комедия! В августе и вышел.

— Не вышел, а сбежал, — уточнил Изот. — Сбежал и перекрасился. Дали дёру вы из партии, как крысы с корабля. Здорово тогда вас дерьмократы шуганули. В штаны-то понаклали?

— Опять он за своё! — Петрович оттопырил флегматичную губу. — На кой она тебе, эта демонстрация? Уж не «покраснел» ли?

— Покраснеешь с вами! Скорее, посинеешь от досады. Мне все вы одинаковы — белые и красные. Ваши заводилы в клубке за власть катаются, а из-за их грызни собачьей человеку с человеком уже и в праздники не встретиться!

— Встречайся, кто тебе мешает? Ты же вот пришёл!

— Я-то вот пришёл!

— Ну и сиди, не кипятись... Я что, похож на крысу? — обиделся Петрович. — Ну, был в партторгах одно время. Кому-то надо было. Работа как работа. «Как кры-ысы с кобля!» — Он привстал и, навинтив на термос крышку, добавил укоризненно. — Поперёшный ты, ей-богу! Сколько тебя знаю, всё б ты поперешничал! То на демонстрацию палкой не загонишь, то сам на площадь рвёшься. Экстремист!

Изот кисло усмехнулся и со лба взлохматил волосы.

— Но ведь чудно, Петрович! Пройди на площадь, глянь — ни души порядочной. Пусто, как в пустыне!

— Так, отменили ж демонстрацию, чего там делать-то сегодня? — подскочил Петрович, потеряв терпение.

— Ну, как ты не поймёшь! — Изот опять загорячился. — Выходит, столько лет на площадь мы с тобою по команде выходили? А сегодня — тоже по команде — ни один не вышел. Вот ведь как нас натаскали! Как собак каких-нибудь! «Встать!», «Лежать!», «Вперёд!», «К ноге!». Что это такое? Как это назвать?

В аппаратной зазвонил дежурный телефон, но Петрович не поторопился. Собрал в полиэтиленовый пакет остатки завтрака, ребром ладони на ладонь смахнул крошки со стола, ссыпал в мусорную банку. Встал и потянулся. Глянул на часы.

— Нравится, не нравится — моё дело маленькое. Моё дело — сторона, ну их всех там к дьяволу! Мудришь чего-то ты, Изоша. Дома выпить не с кем? Так и доложи. Давай сообразим, раз такое дело. Я, собственно, не против. Вот через час сменяюсь...

Изот бросил на Петровича жалостливый взгляд и рывком поднялся.

— Дежурь, не заводись. Я пошёл.

— Куда? — опешил экс-партторг.

— Домой. Ковры повыбиваю...

— Сам не знаешь, чего хочешь!

Изот вышел, огляделся. Ни души на территории! Ни следочка в стороне от проторённой тропки! Телевышка в снежном опушении казалась призрачным видением: дотронься, и рассыплется на льдистые кусочки... Взгляд зацепился на флагштоке, где раньше развевался флаг...

— Не нравится мне это!

Дух противодействия втолкнул его в подсобку. Изот выдернул из груды революционной атрибутики не востребованное нынче красное полотнище...

* * *

Когда спустился с телевышки и, не различая лиц собравшихся в минуту на территории зевак, оббил от ржавчины куртку и брюки, два подоспевших от ворот молодых омовца легонько взяли его под руки. Из подъехавшей «мигалки» вышел крепко сбитый белолицый офицер в амуниции с иголочки, с готовностью открыл перед Изотом дверцу.

— В р-революцию играемся?!

— Устраняем недоделки, — возразил Изот. — Вот теперь порядочек... Порядок, командир? — обратился к офицеру, кивнув на телевышку.

— Порядок-то порядок, но вышка ведь под облучением! Соображаешь, верхолаз, какие могут быть последствия? И неприятностей теперь не оберёшься!

— Но висит красиво, да?

— А висит — красиво, — согласился офицер, но уже в кабине, предварительно захлопнув за собою дверцу.

Ночной грибник

Сторож дачного посёлка «Кедр» Гурий Фадеевич Звягин запер дверь домика-сторожки и, одернув с запястья обшлаг ветровки, сдвинув по руке до локтя пустую корзинку, глянул на часы — без четверти четыре. Тихо и покойно. Звёздная россыпь под фиолетовым куполом неба гасла, пристыженно мерцая фосфорическим свечением. Восточная часть высветилась из-под горизонта, наливалась зоревыми растекающимися красками...

Он уже направился от крыльца к калитке, когда увидел: за клочком уцелевшего от бульдозера березничка по ту сторону въездной асфальтовой дороги, в «Ефремовке» — ряду строений «новых русских» (по фамилии удачливого местного банкира), в двухэтажном кирпичном коттедже под четырёхскатной оранжевой крышей вспыхнуло зелёным мягким светом окно на нижнем этаже, затем сыро, глухо звякнула цепочка на входной двери, и на высокое крыльцо вышел... Христолюбов. Не отпрыск Христолюбова — Вадим, выстроивший дачу следом за банкиром и двумя годами позже расстрелянный в подъезде собственного дома, а сам — Викентий Валерьянович, Викеша. Уже давно не первый секретарь бывшего райкома, не поздний председатель бывшего Совета и вот уже, похоже, не президент какой-то высокоподвешенной кормушки...

«Неужель конец Викешиной карьере?!»

В пятнистой камуфляжной куртке, в мешковатых брюках на заклёпках, с напуском штанин на голенища кожаных ботинок, в сдвинутой на мощный лоб синей пляжной шапочке с откидным солнцезащитным козырьком, Викеша пересёк дорогу и медленно прошёл в пяти шагах вдоль зелёной штaketной оградки в сторону шоссе...

«Да неужель отпрезиденничал? Есть, видно, Бог-то... Е-есть!» — Гурий Фадеевич проводил недобрый долгим

взглядом уходящего Викешу, ощутив вдруг неприятную внутреннюю дрожь...

Выждав с полминуты, отворил калитку. Но прежде чем зайти в кедровник, сырой и неуютный от утренней росы, прошёл с полкилометра по шоссе до кряжистого кедра на месте неприметного для непосвященного, заросшего шиповником своротка.

* * *

А ведь всего-то полтора десятка лет назад за белыми грибами было рукой подать. Сразу за улицей Овражной, за огородами с вымахивавшей к зениту лета в полчеловеческого роста картофельной ботвой, по левую сторону шоссе начинался ельничек-березничек, правда, и в то время уже пощипанный, прореженный предновогодними набегами чадолюбивых горожан. Сужаясь постепенно к северу, ельничек-березничек ступеньчато сбегал к утыканной осинником и чёрным кустарником ржавой болотине...

Вот где были белые! Всем белым белые, на зависть, хоть косою коси! А уж яркие, широкие, что твои плафоны, шляпки неисчислимых подосиновиков в ясную погоду видны были из заходящих на посадку самолётов. В те благословенные времена грибного изобилия едва ли не вся пенсионерия города с первыми выплесками утренней зари тянулась к ельничку-березничку с вёдрами, корзинками, кошёлками в руках. Входили, рассыпались цепью, переключались и аукались в просвечиваемом, впрочем, от края до края, до кустика изученном в лесу и, продвигаясь, выходили на болото. Всего за полчаса полны были посудины величественными белыми грибами! А свиных, волнушек да белянок, что хрустко лопались, крошились под ногами на колеях и на обочинах объездных дорог, и не замечали. Да и в кедровник, простиравшийся сразу от болота, входили разве что в неурожайное, засушливое лето — пособирать лисичек в травке да молодых масляток по лысым косогорам для утешительной грибницы...

Но в ту завидную для истинных грибников эпоху Гурию Фадеевичу было не до грибов. Хотя о доброй-то грибной

охоте, эдак на полдня, без суеты и спешки, да по нехотенным местам, да в одиночку, для души — о такой охоте кому же не мечталось? Особенно когда устал до полусмерти или неприятности по службе. Неприятностей хватало в любые времена — не хватало времени. Столько было дел, забот, срывающихся графиков и горящих планов, что, случалось, и за лето выкроить денёк-другой для отдыха души никак не удавалось, а и удавалось, то уж не для грибов. Да и грибником-то он в ту пору не было никаким — ни истинным, ни ложным...

Он в ту пору находился не столько на рабочем месте — в кресле главного редактора (с газетой за его спиной сполна справлялся зам. Что было не справляться? На счёт денежки текли, с бумагой горюшка не знали, с идеологией проблем не возникало — никто сверху не давил и не указывал — сами знали дело, чувствовали меру), сколько за перегородкой кабинета Христолюбова. Верой и правдой служил Первому, как сегодня шепчутся в кругу газетных шелкопёров, журналистским негром (а то они не негры, нынешние, ещё какие негры-то!). Писал Викеше выступления, отчёты и доклады к самым разным торжествам, событиям и датам и, что теперь греха таить, строчил с огромным удовольствием, освоив в совершенстве это ремесло. Успех определялся и знанием одной существенной слабинки Христолюбова. Куда бы тот ни выезжал, перед кем бы ни витийствовал — будь то партактив, дирекция завода, правление колхоза или же бригада в поле и цехе, он хотел быть непременно принят всеми свойским — от сохи, от молота, желал войти в доверие, сорвать аплодисменты эдаким солёным, метким, звучным словом, ввёрнутым ко времени и к месту...

Он увлечённо украшал словесной мишурой цифры и отчёты официальных достижений вверенного Первому району, писал и для помощников и замов — первых и вторых, пятых и десятых и даже, дело прошлое, для инструктора отдела пропаганды — в юности геолога и человека славного, но к стыду, к несчастью своему, не способного связать двух предложений на бумаге. Готовил для него обзоры публикаций в собственной газете на заданную тему в свете выполнения очередных решений...

Не играл, не забавлялся — работал трезво и расчётливо, «обсасывая» каждое словцо и запятую, ибо, как никто другой, давал себе отчёт, что самая, казалось бы, пустячная ошибка может обернуться бумерангом. Так же, как «изюминка», озвученная Первым, оборачивалась прибылью. Не в смысле премий-гонораров — то само собой, а высшей степенью доверия и расположения. Отсюда — новая квартира, престижная путёвка, звания, награды как из рога изобилия, и, как довесок, довершение, — бронь во всемогущее районное бюро... И всё обязывало, связывало, опутывало крепко, и не сойти, не спрыгнуть на ходу, не отстать, не задержать-ся, — отстал, так не догнать, споткнулся — не подняться...

Какие там грибки!

* * *

За грибками-то потом бы, после непредвиденной отставки, да впал поначалу в грех уныния, опустились руки. После августовской заварушки всё полетело вверх тормашками — обкомы и райкомы, бюро и даже головы. В одной из многочисленных, вмиг обнаглевших газетёнок нашёл свою фамилию среди тех, кого Викеша, прозревший в одночасье, должно, с подсказки новых, перестроившихся «негров», отнёс к числу «не сделавших необходимых выводов и не извлёкших для себя уроков из ошибок прошлого». Каких таких уроков не извлёк он, преданный как пёс?!

Сперва решил, что стал случайной жертвой начавшейся в райкоме мелочной грызни. Вот, ждал, Викеша разберётся да спохватится, всё и образуется. Увы, не спохватился. Значит, сник Гурий Фадеевич, отставка не случайна. И не только с ведома, но и с подачи Первого. Одного не мог взять в толк — а почему его? Его, а не, к примеру, горе-идеолога списали в жертву новой, утверждающейся власти? Когда попал в немилость и, главное, за что?

Хотя, если подумать... С каких-то пор ведь не входил уже без приглашения в апартаменты Христолюбова. И тот, хоть и не шарahalся при встрече в коридоре, но радости особой не выказывал. В рассеянной улыбке, в коротком, на ходу, рукопожатии-касании не ощущалось былой властности

и твёрдости, в глазах нет-нет да и мелькала тень душевного смятения. Каким-то, видимо, особым, воспитанным за годы первосекретарства нутряным чутьём Викеша ощущал дыхание беды...

И вот тогда Гурий Фадеевич вспомнил о письме. О том, ещё доперестроечном письме в редакцию на четырёх листах в линеечку, воспринятом как бомба под кресло Христолюбова, готовая взорваться в любой кому-то выгодный момент. Копия письма долго хранилась дома втайне даже от жены. О, Викеша в своё время многое отдал бы за него!

Сумбурное письмо от гражданки Н., работницы общественного транспорта, ударницы и проч., содержало настоятельную просьбу предать огласке заявление семигодичной давности. О том, что в ночь на воскресенье, 26 августа 1984 года, её 17-летняя дочь, студентка первого курса университета, была изнасилована студентом индустриального института Христолюбовым В. В. (тем самым Христолюбовым — отпрыском Викешиним!). Утром следующего дня гражданка Н. обратилась с заявлением в городской отдел милиции, и вот уже на протяжении семи с лишним лет от всевозможных компетентных органов получает лишь невнятные отписки.

То давнее письмо он лично принял из дрожащих рук заплаканной гражданки Н., усадил и успокоил, и вселил уверенность, что передаст по назначению и, если подтвердится то, что в нём изложено (а он не сомневается, что так оно и есть, но ведь, согласитесь, обвинение серьёзное — необходимы доказательства!), — так вот, если подтвердится, непременно напечатает...

И — вот в чём его ошибка, роковая, непростительная, приведшая в конце концов к отставке! — обнадёжив, проводив гражданку Н. до лифта, сам ещё не сознавая, для чего, сняв с оригинала копию и спрятав её в сейф, пал в машину и — в райком... Что, мол, будем делать?

Вот где он дал маху! Простофиля. Думать надо было. Самому решать, что делать. Что и как. Да так, чтоб ни в милиции, ни в прокуратуре, ни, тем более, у Первого не возникло подозрений, что письмо прошло через чужие руки. Вот чего он недодумал на свою головушку...

В дни уныния, отчаяния копия, признаться, тешила своей убойной силой, жгла руки, побуждала к действию, отмщению, но медлил, выжидал, как выжидает хищник жертву, чтоб намертво всадить клыки и когти. Внимательно следил за перемещением влиятельных фигур на местной политической арене, но после октября памятного года началась неразбериха. Бывшие партийцы исчезали с поля зрения на месяц, два, полгода, затем всплывали, но уже на новом месте, в невероятно новом качестве, и он дивился перевоплощению, как если бы вдруг белый предстал взору грибника эдаким красноголовиком, а бледная поганка обернулась благородным груздем. Викешу можно было уподобить рыжему маслёнку — выскальзывал каким-то расчудесным образом из любых зажимов, хоть и потерял осанку...

Со временем и боль обиды, причинённой Христолюбвым, выпала в осадок где-то в тайниках души. Жизнь-то продолжалась, жизнь брала своё! «К дьяволу Викешу со всей его компанией, — решил Гурий Фадеевич. — К дьяволу газету и политику!». Он загорелся мыслью обустроить дачу, пожить по-стариковски в стороне от хаоса. И обустроил, и осел, даже подрядился сторожить участок. А по ночам писал — нет, не мемуары, не воспоминания, а что-то вроде грустных размышлений о подоплёках и причинах многих нынешних явлений — ведь в молодости пробовал перо и, уверяли, вовсе не бездарно. За годы дачного затворничества скопилось множество разрозненных заметок, их предстояло упорядочить и уложить в план замысла. Он вдохновенно принимался за работу, но через час-другой вдруг начинал тонуть в подробностях, мысль обрывалась и терялась, одно противоречило другому, третье выхолащивало суть первого ... Он нервничал и приходил в отчаяние от гадкой, цепкой, словно паутинка, мысли — поздно спохватился, всему свой срок и время, растратил дар по мелочам в апартаментах Христолюбова! Старая обида выплёскивалась ненавистью, руки вновь тянулись к письму гражданки Н., и лишь потрясшая район гибель Вадима заставила в каком-то суеверном страхе сжечь то злополучное письмо...

Он вспомнил о грибках, когда ельничек-березничек исчез с лица земли. Заповедник белых царственных грибов был вырублен, распахан, размерян на участки под картошку, что сбегали вниз по склону и, перепрыгнув через ржавую болотину, свежими жердинами вклинились в кедровник. И не просто вклинились, а вгрызлись — хищно, яро, за какие-то два года от кедровника остались лишь воспоминания. Бездумным росчерком пера брошен был кедрач под раскорчёвку в жертву дачному строительству вплоть до морошковых и клюквенных болот, тоже, впрочем, вскоре оказавшихся частично под засыпкой...

У кряжистого кедра он свернул с шоссе и едва приметной тропкой в зарослях шиповника направился к видневшемуся вдалеке просвету. Шёл быстро и уверенно, обходя колючие кустарники с каплями хрустальной предутренней росы на глянцевитых сморщенных плодах, раздвигая плоские, вкруговую растопыренные лапы мокрых кедров.

С первых дней грибной охоты он усвоил немудрёные основные правила: в лес входи со светом в сердце и — обрети свою «полянку». Тут, в лесочке на 17-м километре, вблизи дачного посёлка, обрести «полянку» было нелегко. Как в былые времена в ельничке-березничке, всё было выхожено, вытоптано, выползано. Дачники чуть свет прочёсывали лес, натываясь на грибы разве что на старых бульдозерных отвалах между неумолчной шоссежкой и кромкой пропылённого кедровника. В травянистых же канавах, в неглубоких выемах после затяжных дождей сквозь листовенную прель пробивались белёхонькие от недостатка света волнушки и белянки с бархатистыми каёмками, таявшими от прикосновения, да кое-где торчали из травы деформированные шляпки болезненных обабков на искривлённых ножках...

Он остановился у кромки беломошного болота в окаймлении березника. Из-под высокой живой кочки с осоковой косичкой на макушке выдернул метровую осиновую палку и, опираясь на неё, двинулся по загодя проложенным жердям, затонувшим в чавкающей под сапогами жиже. Перейдя болото, вышел на округлый сухой кедровый островок,

разделённый надвое прорубленной когда-то узкой просекой в завалах бронзовевших стволов леса. Этот уцелевший от дачного нашествия крохотный мирок, защищённый с трёх сторон болотом, стал с неких пор его «полянкой»...

Он вошёл в заросшую малинником горловину просеки и, прежде чем пройти по краю, присел на мшистую валежину, отставил в сторону корзинку и закрыл глаза. Ровный шелест леса, короткий, быстрый вздох внезапно, под порывом ветра падающих в мох с вершин кедровых шишек, стук дятла — старожила здешних мест, ядовитый, одурманивающий запах болотного багульника, светлеющий шатёр предутреннего неба — всё это успокаивало, снимало накипь ночных чувств... Он встал и огляделся. За малинником, по южной стороне, в чашобе и завалах, на почтенном расстоянии один от другого виднелись белые красавцы...

— Ах вы, гордецы! — прошёл к ближнему грибу на расщеплённой ножке с белой бахромой по краям разрыва, подушечками пальцев провёл по влажной и упругой шляпке. — Ах, толстячок-боровичок, и что ты такой важный, прям не подступишь? Прямо пуп земли! Ну, не земли, так острова — не меньше... А мы вот не посмотрим, что ты пуп, видали мы пупов на своём веку, возьмём вот да и срежем тебя под корешок! Ступай-ка, брат, в корзинку! А чтоб не скучно было одному, пупов тебе добавим... Вон вас сколько тут... Видимо-невидимо!

Так он бубнил себе под нос, елозя на коленях по сырой траве, почти не расклоняясь, срезая гриб за грибом перочинным ножиком, но не выкашивая всё, что попадалось под руку, а придирчиво оценивая, осматривая каждый, обирая шляпки от налипшего лесного мусора, не трогая молочный молодняк...

Когда корзинка доверху наполнилась грибами, а в завалах и чашобе их и не убавилось, он сел на ствол поваленного дерева, из-за пазухи ветровки достал разрезанный повдоль и круто посолённый домашний огурец.

Выплывшее из-за полыхавшей зоревой дуги огненное солнце согнало с листьев и травы последнюю росу, вкатилось шаром в горловину просеки...

— Ну, мужички-боровички, поджидайте — не скучайте!

* * *

Одному ему ведомой тропинкой он возвращался с острова в бодром настроении, словно и не было позади бессонной нервной ночи и почти трёхчасовой прогулки за болото. Лишь от багульника кружилась голова. Но мысли были ясные и светлые — прийти, умыться, выпить чаю, немножечко вздремнуть в затемнённой комнате, а затем побриться и перебрать грибы...

И тут он чуть замедлил шаг, затем остановился и даже отшатнулся боком на берёзу. Из-за кустов шиповника по его тропинке вышел Христолюбов. Викентий Валерьянович. Викеша!.. Грузно опустился на обугленную карчу, издали похожую на чёрного распластанного зверя. Корзинку не отставил, а резко сбросил в ноги. И по тому, как сбросил — эдаким небрежным досадливым движением, легко было понять, что там, на доньшке, всего-то с десятков раскрошившихся синюшных сыроежек, с полдюжины маслят с отвердевшей плотью понизу да, может, с горстку слипшихся между собой обабков — большего на этом иссушённом зном пяточке не могло и быть. А Викеша вряд ли углублялся в лес — бродил по кругу с краю да в низинке. Кружил, как сам он когда-то, в первый свой грибной сезон. Не потому, что всякий раз блуждал в трёх соснах, а потому, что, углубляясь, начинал испытывать странный дискомфорт от непривычной тишины утреннего леса и безотчётно отклонялся от маршрута в сторону шоссе...

Викеша Христолюбов сидел в полунаклоне. И глядя на его сгорбленную спину, опущенные плечи в пятнистом камуфляже, Гурий Фадеевич вздохнул глубоко и тяжело. И уже шагнул из-за берёзы, решившись наконец-то подойти к Викеше, но отчего-то вновь замешкался... И — понял, отчего. Не было в нём прежнего мстительного чувства. Не было злорадства. Всё ушло, перегорело, не из чего вспыхнуть. Лишь лёгкая усталость и головокружение. И лёгкое сочувствие к Викеше... Властному, расчётливому. Коварному и сильному. Великодушному и подлому. И всё же — загнанному, сверженному. Такие, как Викеша, сами не уходят...

Смотрел на сгорбленную спину...

«Ничего, Викеша, не ты первый... Ничего, отдышишься! – свернул с заветной тропки и пошёл к шоссе в обход, чтобы не увидел Христолюб в его руке корзину с белыми грибами. – Расстроится мужик!».

Время поворота солнышка на лето

Под старый Новый год Пётр Мокеевич Нелюбин открыл вдруг для себя, что световой день прибыл. Если ещё месяц назад к четырём смеркалось, то сегодня, за час до закрытия булочной, куда он собрался за батоном, — было светло.

Такое малозначительное, но приятное открытие подвигло его на кое-какие уточнения. Он присел к столу, снял со стены календарь и с интересом стал изучать долготу дня, время восхода и захода солнца, обозначенные на отрывных листах. День, убедился Пётр Мокеевич, действительно прибыл — и прибывал уже не на воробьиный скок, а, как говаривала некогда покойная матушка, на куриный шажок.

— Вот так вот, Женя, — с чувством сбывшегося ожидания произнёс Пётр Мокеевич, обращаясь к жене, сидевшей напротив и перебиравшей гречку к ужину. — Денёк-то прибыл крадучись... Покатила зима с горки.

— Покатилась-раскатилась, — в тон ответила Евгения Степановна и, показав глазами на обледенелое с улицы окно, добавила с усмешкой. — То-то он, весна, гляжу, вдогонку разбежалась, запыхалась прямо...

— Прямо или криво, а придёт по расписанию, никуда не денется. Солнышко на лето — календарный факт. Неопровержимый.

Давно Пётр Мокеевич не заглядывал в календари, не подсчитывал денёчки до желанного события — такового в его жизни и не предвиделось: что должно было свершиться, то свершилось. Сам три года как пенсионер, жена — год без малого, детьми, а, следовательно, внуками Господь не одарил, как ни вымаливали в молодости, так что подсчитывать денёчки приходилось разве что до третьего числа — до пенсии. Он и весну-то из времён года особенно не выделял. Весна, конечно, не зима с её морозами-метелями, но и приятного немного: то снег с дождём, то дождь со снегом... Сырость, слякоть на дворе. Он не весну любил,

а время поворота солнышка на лето, когда мысли о тепле и свете согревали душу...

Ещё какое-то время помусолив листки календаря, Пётр Мокеевич отправился в булочную. И ходил-то с полчаса, не больше. Взял батон да завернул в молочный за кефиром, а по пути купил в киоске «Советскую Россию» — любимую «совраску», которая ещё стояла за таких, как он — выжатых и брошенных на произвол судьбы. Когда он вернулся, жена обронила:

— Кто-то только что звонил.

— Кому? — не понял Пётр Мокеевич.

— Тебе, кому!

Он скинул обувь у порога.

— И кто же мне звонил?

— А не назвался даже.

— Кто бы это мог? — Пётр Мокеевич разделся и прошёл с покупками на кухню. За ним — Евгения Степановна с перебранной крупой на донышке кастрюльки.

— А чего звонил-то, Женя?

— Тоже не сказал. Спросил, дома, нет. Ответила, что в булочную вышел.

— И перезвонить не обещал?

— Не пообещал. Сразу бросил трубку.

— Тоже мне, ответчица! Можно было и спросить, кто, по какому поводу... А вдруг не перезвонит?

— А не перезвонит, значит, так и нужен! — отрезала жена. — Чего засуетился, будто ждал звонка откуда-то?

— Не ждал, а просто любопытно, кому понадобится мог...

После чая он взял свежую газету и прилёг на тахту. Возле телефона. Так, на всякий случай.

* * *

Сто лет ему никто не звонил. Жене с бывшей работы позванивали часто верные подруги, а ему — сто лет. Как умер. Ну, сто не сто, а года два, однако, точно...

А впрочем, нет — звонили в декабре с телефонной станции. Девичьим строгим голоском было строго спрошено:

«Абонент Нелюбин? Номер «три — сорок четыре — два нуля»?»

Он поперхнулся от внезапной сухости во рту и подтвердил скороговоркой: «Да, да, да... Три — сорок четыре...».

«Если вы, Пэ Эм Нелюбин, не внесёте плату за квартал до первого числа, — перебила юная особа, — телефон отключим. Без предупреждения. Вы поняли меня?»

«Всё прекрасно понял!» — Он, как ни странно, не расстроился, не запсиховал, а до того обрадовался неожиданному звонку и неприветливому, но всё ж таки живому человеческому голосу, обращённому к нему пусть и не по имени-отчеству, как принято у добрых-то людей, а по инициалам, — что некстати, чуть ли не за месяц поздравил позвонившую с Рождеством и Новогодьем (в такой именно порядке и почему-то с Новогодьем, а не с Новым, как обычно, годом — опять же, видно, от волнения).

На что девицей с телефонной станции была допущена слабинка в голосе и смятенно молвлено: «Спасибо вам, но плату всё-таки внесите — сами понимаете, что себе дороже... К тому же, акция у нас: в Новый год — без долгов...».

Как было не внести? Сходил и внёс.

Содержание прочитанной статьи не воспринималось. Пётр Мокеевич вздохнул, сложил газету вчетверо.

— Женя, слышишь? Голос — старый, молодой?

— Какой ещё там голос? — откликнулась из кухни Евгения Степановна.

— Да по телефону-то!

— Вот дался ему голос! — Евгения Степановна с наброшенным на руку полотенцем неслышно вошла в комнату, уставилась на мужа взором психодиагноста. — Я думала, ты спишь с газетой на носу.

— Уснёшь, пожалуй, как же... Голос, спрашиваю, старый или молодой?

— Не сказать, что молодой, но вроде и не старый... Не поняла я толком.

— Не Гусев с третьего подъезда? За шахматами, может, не с кем посидеть?

— Что ж я, Гусева басочка не признала б? Сроду он нам не звонил.

— Да и телефона у Гусева-то нет, — вспомнил Пётр Мокеевич. Он бросил сложенную вчетверо газету на тахту, встал и подошёл к окну. — Кто бы это мог?

— Выбрось ты из головы!

— Выбрось вот попробуй! А не из пенсионного случайно? Не насчёт ли регистрации какой-нибудь опять? Хотя... оттуда тебе звонят. — Прошёлся от окна до телефона и резко обернулся. — А как он обратился-то?

— Господи! — взмолилась Евгения Степановна. — Ты доконал меня сегодня. Что же я, за ним записывала, что ли? Так и обратился: здарсьте, мол, нельзя ли передать трубочку Мокеичу...

— Моке-еичу? — подался вдруг вперёд Нелюбин. — Ты не ошиблась, Женя? Так и сказал — Мокеичу?

— Да ну тебя, на самом деле! Прямо как на допросе! — Евгения Степановна вернулась на кухню.

Мокеичем Нелюбина называл на службе, в управлении, лишь Костя Григораш.

В первый год после того, как Петра Мокеевича тихой сапой выдавили в отпуск, а из отпуска — на пенсию, позванивал преемничек Костя Григораш. Позванивал, понятно, не по доброте душевной — душевности у нынешних явно не в избытке. Выдавить-то выдавили с должности начальника отдела, а с чего начать работу, как задействовать давнишние отлаженные связи, на то опыту, смекалки не хватало. Вот и растерялся Костя поначалу. Звонил, водил вокруг да около, интересовался настроением, здоровьем, планами на лето, даже предлагал, хитрец, путёвку (на какие шиши ехать после обгайдаривания?), а между тем намёками и недоговорками вытягивал советы да подсказки...

Был повод для обиды! Не согласись он, Григораш-то, на предложенную должность, всё могло бы для Нелюбина остаться так, как было. Так и подмывало проявить характер! Но не проявил, не опустился, слава Богу, до отместки. Вздыхал да поучал. Наставлял. Подсказывал. Душа болела за работу — нынешним опять же не понять. Но Григораш обтёрся, освоился на должности да и забыл наставника. А там и Пётр Мокеевич свыкся с положением.

«Неужели он, голубчик? Вспомнил? Устыдился? Решил поздравить с Рождеством? Поздно спохватился. Со старым Новым годом? Премного благодарен! Я, Костя, не спесив... И сам могу поздравить. Вот возьму да звякну. На опережение».

Но тут же вклинились сомнения:

«А вдруг звонил не он? Мало ль, кто когда-то называл Мокеичем? Тот же Гусев с третьего подъезда. Всех и не упомнишь. Не-ет, скажет Григораш, не звонил сегодня, не было нужды! И что тогда — умыться?»

* * *

И всё же, позвонил. Через две недели, устав от ожидания повторного звонка. С утра Евгения Степановна, наказав купить кефиру и батон, отправилась к подруге. Оставшись в одиночестве, набрал номер телефона своего преемника с намерением бросить трубку сразу же, как только Костя отзовется. Удостовериться, что дома...

Абонент незамедлительно ответил утробным женским голосом:

— Слушаю... Алё?

И Пётр Мокеевич дал маху.

— Простите, — просипел он. — Я, кажется, ошибся...

Он посидел у телефона на тахте с отрешённым взглядом, оделся и пошёл. Но не за батонем и кефиром. Слепо, безотчётно вышел на центральную оживлённую улицу и через полчаса упёрся в ограждение родного управления...

То, что он увидел, потрясло. Некогда обшарпанное, сырое и мрачное здание управления выглядело лёгким трёхэтажным теремком под блистающим на солнце кровельным железом. Он неуверенно толкнул входную дверь, зашёл вовнутрь и замер...

«Матушка родимая!»

На какое-то мгновение ослеп от бьющей в глаза роскоши внутренней отделки. Куда девался тот привычный коридор — грязный и прокуренный, холодный и заплёванный слоняющимся людом — рабочим и служилым? Во всю солидную длину залитого светом коридора стены были

облицованы какой-то белой, тёплой на взгляд крошкой, схожей с пузырьками пенопласта, но с розовыми тонкими прожилками, а ослепительно сияющий — зеркальный? — потолок отражал зелёную ковровую дорожку...

По ступенькам крутой парадной лестницы он медленно поднялся на пролёт и глянул вниз — туда, где раньше коротали рукодельем смену бабушки-вахтёрши. На месте бабкиных тумбочек стояло некое подобие кабинки с врезанным окном и телефонным аппаратом на подставке. Из кабинки неожиданно выскочил белокурый молодой омоновец с упитанным лицом, дожёвывающий что-то на ходу. Увидев постороннего, встал и поморгал оцепенело, затем вдруг густо покраснел и ринулся наверх.

— Вы как сюда попали? Кто вас пропустил? Пропуск предъявите!

Теперь оцепенел и Пётр Мокеевич.

— Какой ещё вам пропуск?

— Так вы без про-опуска?! Немедленно назад!

— Я на пять минут. На третий, в отдел сбыта.

— Немедленно назад! И без пререканий. Что у вас в пакете?

— Ничего, он пуст.

— Короче, быстро вниз, не понуждайте к силе! — И подтолкнул Нелюбина плечом.

— Ты кого толкаешь? — как порох, вспыхнул Пётр Мокеевич. — Ты... ты шит возьми с дубинкой прежде, чем толкнуть... И каску нахлобучь на пустую голову! А то я так толкну, что как звать — забудешь!..

На шум откуда ни возьмись предстал второй омоновец. С выправкой атлета, с зачёсанными на косою пробор чёрными вьющимися волосами.

— Какие проблемы?

— Да вот, — кивнул с потухшим видом белокурый. — Отвлёкся на секунду, а этот тут как тут... Пулей проскочил! Да ещё без пропуска. Обыскать?

— Не надо. — Осмотрев Нелюбина с ног до головы, черноволосый приказал: — Выпишите пропуск. В бюро вход со двора. Паспорт при себе?

— Да вот не при себе! — развёл руками Пётр Мокеевич.

— Что же вы без документов?

— Я всё объясню... Я — Пётр Мокеевич... Нелюбин. Работал в этом управлении... Ветеран труда. В кои веки вздумал попроведать, а тут такая катавасия! И этот... боевик розовощёкий, — просверлил глазами белокурого, — обыскивать собрался!

— Успокойтесь, Пётр Мокеевич. Кого хотели видеть? — перебил черноволосый.

— Григораша... Константина.

— Хорошо, звоните. Аппарат внизу. Знаете пароль?

— Какой ещё пароль?

— Номер по внутренней связи.

— Что ж вы издеваетесь, молодые люди! — взмолился Пётр Мокеевич. — Паролей напридумывали тут, как в бункере у этого!.. Не знаю никаких паролей!

— Да что мы тут толкуем с ним!? Вышвырнуть, и все дела, раз по добру не понимает! — встрепенулся белокурый.

Напарник осадил:

— Ладно, помолчи. И вы не горячитесь, как вас?.. Пётр Мокеевич? Григораш — фамилия вашего знакомого?

— Костя Григораш, — подтвердил Нелюбин, чувствуя, как сдавливают сердце. — Ладно, я пошёл. Ничего не надо.

— Вы присядьте на минутку там, внизу. Я сейчас всё выясню.

Нелюбин медленно спустился по ступенькам.

— Ничего не надо!

Он вышел из здания и присел на заснеженную скамью у края расчищенной дорожки.

Черноволосый не заставил себя долго ждать.

— Что, отец, остыл немного? — Он дружелюбно улыбнулся и подсел к Нелюбину. — Вы не обижайтесь. Порядок тут такой... Служба! А ситуация такая: уволен ваш знакомый. Месяц, как уволен по истечении контракта. Где искать, не знаю. И ещё... я вижу, вы не в курсе. Управления, в котором вы работали, больше не существует. Жаль, конечно. Я сам в нём начинал... Водителем. Теперь тут — частная компания, новые хозяева. О-очень серьёзные люди! Вот так. Такая ситуация.

Нелюбин промолчал, лишь сильнее съёжился...

Из распахнутой настежь двери средней школы по противоположной стороне улицы на двор высыпала стайка детворы и пошла стенка на стенку в рассыпающиеся пухом на лету снежки.

«Тоже ведь весну почуяли!» — улыбнулся Пётр Мокеевич.

Светлая печаль растеклась по сердцу. И даже от сознания того, что внешний его мир отныне замкнут в суженном пространстве от дома до киоска «Роспечать», не улетучилась улыбка...

Солнышко на лето! А со временем зачатия весны в вечно живой природе так много было связано в жизни: от беспричинного восторга, жертвенной любви, ощущения полёта и прилива сил до безмятежного сознания неотвратимости ухода... Чего ещё желать?

* * *

Костя Григораш пришёл домой к обеду.

— Чем порадуешь сегодня? — встретила жена холодным взглядом.

— Ничем. Пока ничем. Всё — пустые хлопоты. Найти работу нынче — не пустяк.

— Что-то затянулись твои хлопоты. — Жена поджала губы и выдержала паузу. — Кто-то только что звонил...

— Кому? — застыл на месте Григораш.

— Не знаю, кто, кому... Позвонил да извинился, сказал, ошибся номером... Но голос показался знакомым.

Григораш разделся и умылся, причесался перед зеркалом и прошёл на кухню. Уставя глаза в стол, раздумчиво спросил:

— А голос... старый? Молодой?

Новый русский хант

— А ну-ка, тормозни, браток!

Джип «Гранд-Чероки» резко сбросил скорость, съехал на обочину шоссе в полукилометре от стольного града югорского края Ханты-Мансийска.

Водитель-охранник — типовой новорусский «бычок» с короткой тонкой стрижкой, в светлых джинсах, в тенниске, в очках «хамелеон», с шарами узловатых бицепсов на тренированных руках, легко выскочил из машины и открыл перед боссом дверцу.

Предприниматель Векшин — уже не молодой, медлительный мужчина с пеплом седины на волосах, в униформе дельца средней руки (белоснежная сорочка, модный яркий галстук с малиновым отливом, синий костюм-двойка в светлую полоску), выйдя, потянулся с наслаждением, привстав на острые носочки цвета спелой вишни туфель фирмы «Mario Bguni»:

— Сникерсни, браток, немножко!

Водитель-охранник понимающе кивнул.

— Да вот сюда нырните, Пал Иваныч! — указал блеснувшими стёклами «хамелеонов» на заросли малинника в стороне от сбегавшей по склону, усыпанной рыжими сосновыми иголками пешеходной тропки.

Векшин не ответил, не разомкнул замок из сцепленных на затылке пальцев. Покачиваясь, словно бы в раздумье, с крутояра всматривался вдаль. Там, впереди, блестел Иртыш, трудно шла гружённая щебнем самоходка, туда-сюда сновали «крымы» и «обянки», а крутояр по обкошенной пойме с редкими, оставшимися после спада воды блюдцами озёр, опоясывала безымянная протока, в половодье спрямляющая путь до судоходных рек и речек. Вдоль берега виднелись мальчишечьи фигурки с удочками в руках...

— Ты вот что, отдохни чуток в машине, а я спущусь к протоке, посмотрю.

— Что там смотреть-то, Пал Иванович? — оторопел водитель-охранник. — Невидадь какая! Пацанва щурят там ловит! Ехать надо — времени в обрез!

— Не твоя забота, покури! — сказал, как отрубил, предприниматель и добавил уже на ходу дружелюбно. — Из администрации позвонят, скажешь, мы в пути.

— То гнали, как шального, то перекури... — Водитель-охранник выдернул из заднего кармана джинсов мобильник, набрал номер, коротко кому-то что-то сообщил и уселся на своё водительское место так, чтоб был обзор всего участка берега, к которому по глинистому, скользкому от недавнего дождя склону неуклюже спускался Векшин. — Ну вот куда его нечистая несёт? Вывозится в глине, как потом в администрацию? — Достал из надорванной пачки сигарету «кэмел», прикурил, наслаждался первой глубокой затяжкой и отпал на спинку кресла. — Водилово дело холопье!

А Векшин, балансируя руками, цепляясь за свисающие над тропой колючие стебли маличника вперемежку со жгучей крапивой, чертыхаясь, спустился с крутояра, оглядел красные, в мелких занозах, ладони, вытер о штанины.

Протоку от яра отделяла узкая песчаная полоска, а у самой кромки воды, по колено в бурой ленте ила стояли неподвижно трое пацанов.

Векшин подошёл, встал за смуглыми спинами увлечённых рыболовов.

— На что, бойцы, рыбачим?

«Бойцы» и голов не повернули. Мало ли проезжих спускается к протоке поглазеть! Но двое ответили вяло:

— На кишку...

— На червя!..

— Так на кишку или червя?

— А кто на чё! — обернулся, наконец, и третий — худенький курносый мальчуган лет десяти-двенадцати, с большими серыми глазами. Шмыгнув носом, уточнил. — Я, дак, например, на щучью жабру!

— Ну и как, берёт?

— С утра на всё подряд хватала, даже на окурочок, а шас чего-то плохо — жор, наверно, кончился, залегла, зараза. Ну

ничё, мы подождём... К вечеру опять оголодает. Куда, на фиг, денется!

— Это точно! — согласился Векшин, с интересом оглядев бойкого на слово мальчугана. Тот, в свою очередь, с любопытством оглядел его и, переступив с одной, затонувшей в иле по колено, на другую, увязшую по шиколотку, ногу, неуверенно спросил:

— А у вас закурить не найдётся?

— Нет, не найдётся, боец. Не курю. Сам не курю и тебе не советую — вредно.

— Фигня всё это, блин! Фигня и пропаганда! — зло парировал юный рыболов.

Похожие друг на друга как две капли воды два черноволосых мальчугана в одинаково синих замызганных шортах (вероятно, близнецы, предположил Векшин) переглянулись, приснули с ужимками.

— Он, дядь, с пелёнок курит!

— И не только курит!.. — собрался доложить другой, но курносый вдруг ощерился.

— Р-разговорчивые, блин! Вам слово не давали!

Близнецы на всякий случай промолчали.

— Ух, какой ты лютый! — оценил «бойца» предприниматель и обратился сразу ко всей троице: — У кого, добытки, удочка найдётся для меня?

Близнецы переглянулись, но смолчали. Курносый тоже отвернулся, будто не расслышал. Сменил наживку на крючке и забросил снасть.

— Что, нет ни у кого? — не поверил Векшин. — Тогда вот что, друг горячий! — обернулся он к курносому. — Хочешь покурить? Уши пухнут, да? Дуй вон к тому джипу, наверху, спросишь у водилы сигарету, скажешь, я велел — он даст. Покури, я порыбачу.

Курносый просиял. С трудом высвободил ноги из чавкающего месива, шмыгнул носом и вручил самодельную удочку Векшину, даже посоветовал:

— Лучше на кишку попробуйте! На жабру чё-то не берёт!

— Ладно. Дуй за сигаретами, пока уши не отпали!

Мальчуган вприпрыжку пустился к крутояру, почти на четвереньках прытко стал взбираться по тропе наверх.

В туфлях соваться в ил было безрассудно. Векшин разулся на бугре, снял носки, пиджак и галстук, до локтей закатал рукава рубашки. Невдалеке из-под песка торчал обугленный обломок плахи. Раскачав, не без усилий выдернул его, принёс и скинул в ил. Плашка держала. Испытывая известное каждому заядлому рыболову нетерпение, взял у близнецов «уснувшего» шурёнка, осколком тонкого стекла вспорол бестрепетной рыбёшке белое брюшко и, запустив вовнутрь, к жабрам, указательный палец, зацепил кишку, оторвал у основания. Разрезал кишку надвое, утолщённым, прочным концом нацепил на крючок, заученным с детства движением вздёнул так, чтобы наживка не висела неподвижно, как изолировка, а скользила бы по леске от зарубочки на кончике крючка до свинцовой капельки-грузила. И, как в детстве, прежде чем закинуть приготовленную снасть, трижды сплюнул на наживку.

— Ну, ловись рыбка, большая и маленькая!

* * *

Урождённом ханты-мансийцу не нужно объяснять, что такое ловля щурогаев! Назвать рыбалкой это древнее занятие уважающий себя рыбак не решится ни в шутку ни всерьёз. Это не добыча и не промысел. Скорей, забава, отдых, состязание таких, как курносый с близнецами, «бойцов», готовых сутками торчать на берегу по колено в холодной воде или вязком иле; досуг не озабоченных делами «молодых» пенсионеров, сочетающих приятное с полезным; это не рыбалка в привычном смысле слова, но школа юных рыбаков, прививка страсти и азарта на всю последующую жизнь, ибо никто не возразит, что ловля щурогаев — азартнее рыбалки обычной поплавочной удочкой, когда сидишь часами неподвижно, тупо уставясь в поплавок; азартней блеснования, когда момент заглота щукой тройника в глубине из-за тяжёлой снасти порой не ощутишь; а для кого-то и азартнее подлёдного ужения...

Лёгким подёргиванием удилица Векшин повёл леску из глубины на себя, направил вдоль берега, и вот он — желанный рывок! Натянутая леска вдруг метнулась

в сторону. Не ожидавший столь быстрого клевка, он не-лепо рванул удочку вверх. Сорвавшись, щурёнок шлёпнулся в песок за его спиной. Вяло трепыхнувшись, тотчас и сомлел, едва вздымая жаберные крышки... Векшин подобрал рыбёшку. Совсем ещё малёк!

Он и не услышал, когда спустились с крутояра курносый, а за ним и водитель-охранник. Мальчонка первым делом подбежал к рыбёшке.

— Что, дядь, поймали, да? — За ухом у него торчала жёлтым фильтром сигарета.

— Как видишь. О, да ты запасся, парень! Как тебя зовут-то?

— Денис меня зовут!

— Ну, отдохни, Денис, маленько!

— Да мне-то чё, рыбачьте! — расщедрился курносый. — У меня в пакете запасная есть.

— А что же ты молчал, когда я спрашивал про лишнюю? Денис, не моргнув, оправдался:

— Лишней нет, есть запасная! Хотите, вам её продам?

Водитель-охранник снял свои «хамелеоны».

— Наш человек, Пал Иваныч!

Векшин усмехнулся.

— Да ты жучок, Денис! Жуча-а-ра! Платную услугу, значит, предлагаешь? Ладно, так тому и быть. Рынок — для всех рынок. Называй цену!

Мальчуган слегка смутился.

— А сколько вы дадите?

— Надеюсь, хватит доллара?

— Реально!

— Что, что? — не понял Векшин.

— Договорились! — пояснил Денис.

— Ну ты, боец, не лох, однако! — оценил предприниматель. Кивнул водителю-охраннику. — Дай ему зелёную!

Тот заглянул в полиэтиленовый пакет, извлечённый Денисом из углубления в песке. Брезгливо сморщил нос: в пакете вяло трепыхнулись щурогайки.

— Пал Иваныч, может, хватит? Ехать надо. Через пять минут начнётся вскрытие конвертов с конкурсными заявками!

— Вот через пять минут и поедем! А пока позвони и скажи, что задержимся... Ну, соври там что-нибудь!

— Ох, Пал Иваныч!.. — Водитель-охранник достал из кармана бумажник, протянул Денису сложенную вдвое долларовую купюру. — Держи, мироед!

Денис, разгладив на коленке, рассмотрел её, затем сложил и сунул в кармашек серых шортов.

— Дядь, вы новый русский, да? — поинтересовался у Векшина.

— Ну, какой я новый? Я, скорее, старый. Старый русский хант... Ведь я вырос в Хантах. Сейчас живу в Сургуте, а когда был пацаном, таким же вот, как ты, тоже рыбачил на этой протоке. На блесну, на петлю... Тогда протока была полноводной, как речка... Из медной проволоки делали петельку, привязывали к удилищу, опускали в воду... Только всплывёт в неё щурогойка, дёрнешь удилище вверх на себя, и петлёй захлестывает рыбину... Знай выкидывай на берег! Ловил когда-нибудь на петлю?

— Не-е... Сейчас петлёй на речке только в Шапше ловят! Деревенские. Не хило, я видел... А джип на горке ваш?

— Джип-то? Мой. А что?

— Значит, новый русский. Старым джип не по карману. Классная машина! Можно, я помою?

— Ну нет, боец, не надо.

— За пару долларов, а, дядь?

— Есть кому помыть!.. Что-то рано ты, Денис, на долларах зациклился! — заинтересовался Векшин. — Или нужда заставила?..

— А кого, блин, не заставила? — с недетской убеждённо-стью в глазах выкрикнул Денис. — Папка на похмельку просит, матушка — на хлеб. На рынке тоже надо сунуть, чтоб не прогоняли...

— Стоп, а папка что, он разве не работает?

— Отработался, ага... Он у нас больной. С войны. Ему лечиться нужно...

— С какой, Денис, войны? Ему сколько лет?

— С какой, какой! С чеченской! Вы будто, дядь, в другой стране живёте! Ему осколок от гранаты в голову попал, он у нас маленько не в порядке...

— Вот теперь понятно. Сочувствую, браток... Ну а на рынке ты кому и за что обязан?

— Да-а! — отмахнулся Денис. — Я там щурогайку бабкам да картошку с огорода продаю. А без бумажки прогоняют все, кому не лень...

— Без бумажки худо, — согласился Векшин.

Денис выдернул на берег щурогайку.

— Ну ничё, я этот рынок скоро под колпак возьму. Сам буду там порядки наводить. Хватит им командовать! Они меня ещё узнают! — Он грозно шмыгнул носом.

— Кто это — они?

— А то вы, блин, не знаете! Везде сейчас они. Мы их скоро свергнем на фиг. Пусть летят на свой Капказ, у себя командуют. А дома будем мы. Сами будем с рынков стричь!..

— Вот как?! Не простой ты парень...

В эту самую минуту клюнуло опять. Удилище в руках согнулось вопросительным знаком. Векшин рванул его через плечо, и, на мгновение блеснув над головой живым серебряным кольцом, щурогайка плюхнулась к ногам. Он попытался схватить её левой, свободной рукой, но рыбёшка скользнула между пальцами и затрепыхалась в иле, юзом уходя к воде.

— Ногой! Ногой её зажмите! — закричал Денис. — Дяденька, ногой, а то уйдёт!

Выронив удилище, Векшин сделал шаг навстречу ускользящей рыбёшке и, увязнув в иле, повалился, выкинув вперёд обе руки и всё же захватив растопыренными пальцами правой облепленную грязью щурогайку. В положении упора лёжа высвободил ноги. С зажатой в пальцах рыбиной обмыл в протоке руки и взошёл на бугорок.

— Ах ты, змейка! — щёлкнул ногтем по открытой пасти мелкой хищницы с окровавленными жаберными щелями. — Ах ты, змейка, уронила босса в грязь! В грязь лицом, негодница, уложила!

...И клёв настал. Он не успевал забросить снасть, как хватала щурогайка, заглывала наживку, приходилось силой выдирать крючок из пасти, разрывая жабры или брюхо. Осклизлыми, окровавленными пальцами вновь цеплял

наживку и, потеряв счёт времени, вытаскивал шурёнка за шурёнком...

Денис раззадорился тоже. Наладил запасную удочку, забрёл в воду по колено, с особой удачью и шиком выдёргивал рыбёшек так, что они срывались с крючка уже на берегу, трепыхались там и сям в песке. Он их уже не складывал в пакет поодиночке, а собирал всех сразу, когда менял наживку...

На противоположном берегу высадился десант рыболовов из подъехавшей на велосипедах ребятни. Засвистели, рассекая воздух, лески...

Водитель-охранник вновь спустился с крутояра с мобильником в руке.

— Пал Иваныч, вас!

— Кто? — спросил, не отвлекаясь, Векшин.

— Комитет по экономике. Требуют каких-то объяснений!

— Вот и объясни, в конце концов, просто и доходчиво, — вспылил внезапно Векшин, — что я снял свою заявку! Все объяснения дам завтра. Лично. Мэру. Всё! И выключи мобилу! Не маячь перед глазами!

— Вам виднее, как прикажете...

Один из вновь прибывших мальчуганов с первого заброса выдернул крупную щуку-травянку. Хищница успела проглотить крючок, сорвалась с перекушенной лески, затрепыхалась на отмели. Рыбак в акробатическом, немыслимом прыжке упал на неё сверху, прижал голым животом...

— А-а-а! — завопил он истошно, обалдев от удачи.

На помощь счастливицу кинулись приятели. Выдернув бьющую тяжёлым хвостом полуметровую щуку из-под живота удачника, отволокли её подальше от воды. Сгрудились вокруг хищницы, шумно восторгались, измеряли, взвешивали добычу на глазок...

— Ты смотри-ка, — удивился Векшин. — Хороша зубастая! И как она сюда попала?

Присев на корточки, водитель-охранник молча кивнул, отмахнулся от мошкеры сосновой веткой, настраиваясь на долгое ожидание.

А мошкара наседала. Векшин отбивался от назойливо атаковавших жгучих насекомых, мокрыми руками стирал их

с грязного лица и шеи, стряхивал черными катышками сухой — тыльной стороной ладони. Раскатал до искусанных в кровь шиколоток безнадежно заляпанные илом брюки, кутал голову в наброшенный пиджак, но мошкара проникла под рубаху, жгла голени, глаза, уши...

— Вот же зараза какая — нет от неё никакого спасения! — кряхтел и ругался вполголоса Векшин. — Орлы! Нет ли у кого комариной мази?

Мази у «орлов» не оказалось.

— Как же вы терпите этих скорпионов?!

Но на мошкару Денис и близнецы не обращали внимания, будто бы для них её не существовало...

На том берегу выловленную щуку наконец-то утомили, и счастливый рыболов, весь в песке и глине, ликуя, демонстрировал добычу, подняв кукан над головой.

Бросив свои удочки, Денис и близнецы молча кинулись к нему через протоку вброд, взбаламутив воду.

— Вот же бесенята! — Векшин сменил наживку. — Как-то в детстве, лет пять-шесть мне было, здесь, на этом месте, на блесну рыбачил с плотика — женщины ковры, половики на нем стирали-полоскали, — стал вполголоса рассказывать водителю-охраннику. — И вдруг схватила щука! Такая, веришь, крупная — волна пошла кругами. Я к берегу пытаюсь подвести её — куда там, силы не хватает, прет, как торпеда, в глубину. А плот бревенчатый, сосновый... И вот я поскользнулся да в воду лицом — плюх! Голова в воде, а ноги на плоту. Но удочку держу, вцепился мёртвой хваткой. Щука бьётся так и эдак, круги выписывает — водит, но она уйти не может, и я не подтяну... А был со мной приятель. За ноги схватил, а что делать дальше — с испугу сообразить не может. Держит меня за ноги, а я в воде уже по пояс пузыри пускаю. Но удочку держу! Вот что удивительно! Сколько так барахтался, не помню — помню только, парень подросел... Мотоцикл мыл, увидел. Вытащил меня, а я уж посинел. Но удочка в руках. А на блесне, поверишь, щука — килограмма три. Из меня вода фонтаном хлещет — нахлебался до ушей, надо бы домой, да боюсь — отец накажет за мокрое бельё. Разделся, выжал трусы, майку, на травку разложил, щуку — на кукан, а сам опять рыбачить. К вечеру иду домой. Вот,

мечтаю, мать меня похвалит! Такую щуку добыл на уху! А не подумал, что на солнце щука-то уснула, а пока я обсыхал, запашок дала... Мать приняухалась: где взял? — Сам выловил на блесну! — Тебе такую не осилить! — Не поверила мне мать. Так, браток, обидно было... Такими испытаниями щука эта мне досталась!

Денис и близнецы вернулись с того берега.

— На что они там ловят? — поинтересовался Векшин.

— На лягушку, дяденька! Шас и мы попробуем, не такую выловим! Вам лапку оторвать?

Водитель-охранник сплюнул брезгливо, нацепил «хамелеоны» и, не сказав ни слова, направился к крутояру. Векшин тоже отвернулся.

— Нет уж — лучше на кишку!

Мальчуганы какое-то время возились с лягушкой, препираясь, разделявали её. Закинули снасти со свежей наживкой, но и мелочь на лягушку не цеплялась, и крупная — травянка — не брала...

А невидимое в наслоениях бурых облаков августовское солнце неспешно завершало дневной оборот. Светлая полоска низкорослого заречного ивняка за пойменной луговиной на глазах померкла...

Клёв резко прекратился. Векшин водил леску вдоль берега, изредка подёргивал снасть. Побелевшая наживка едва держалась на крючке, волочилась по мягкому дну, цепляясь за водоросли, вздымая нити жёлтой мути; серебристые мальки то шарахались по сторонам, то непостижимым образом вновь сбивались в стайку. Изредка из глубины стремительно выскакивал изумрудный, с карандашик, щурёнок, но не хватал безрассудно наживку, а замирал перед ней, словно сомневался — что-то тут не так!

Денис и близнецы сворачивали снасти.

— Всё, пора и меру знать! — поставил точку Векшин.

— Куда теперь прикажем, Пал Иваныч? — с показным равнодушием спросил водитель-охранник, бросив беглый взгляд на предпринимателя, вывоженного илом с ног до головы.

— В Сургут. Домой... И первым делом — в сауну... Но сначала подбросим коллегу до рынка. Ему ещё работа

сегодня предстоит. — Векшин подтолкнул к машине мальчугана. — Садись, боец. Прокатимся. Да смотри мне, чтоб пакет не лопнул. Тогда точно мыть салон заставлю!

— Почему бы не подбросить! — Водитель-охранник дружески хлопнул по плечу Дениса. — Свой человек. Видно птицу по полёту!

— Да, — со вздохом согласился Векшин. — Свой-то свой, да жалко парня.

— Это почему же? Что его жалеть? Такой нигде не пропадёт! Верно, брат Денис?

«Брат» Денис смущённо хмыкнул и пожал плечами. Водитель-охранник внимательно поглядел на Векшина.

— Целый день понять вас не могу! — Он завёл машину, сдал назад, выруливая на шоссе. — Такой заказ сегодня упустили! Ведь ясно ж всем, как дважды два, — заказ на поставку был ваш! В администрации сейчас голову ломают — почему вы не явились. Мэр будет сам звонить. Странный вы сегодня, Пал Иваныч!

— Не странный, а дурак! — Векшин легко, от души, рассмеялся. — Дурак дураком. Ты хоть никому там, в Сургуте, не рассказывай, как на конкурс в Ханты съездили, а то ведь обсмеют...

— Да мне-то что! — Водитель-охранник любовно огладил баранку и прибавил газу. — Тем более, дурака, осознавшего себя дураком, дураком уже не назовёшь!

— Ну-ну, полегче мне на поворотах!

— А рыба ваша где? Улов-то, Пал Иваныч?

— Да на кой он мне!.. Денису вон отдал, пусть реализует. Разве это рыба? Баловство одно. Да и жена, признаться, с этой рыбой не поймёт.

— Это почему же?

— Так ведь не стерлядь, не осётр!

— А я думал, не поверит, что сами наловили! — Водитель-охранник от души расхохотался.

— Не к добру развеселился, гляди лучше на дорогу! — вяло буркнул Векшин, но не смог сдержать улыбки. — Ничего! Не смертельно. Упустили заказ на поставку сегодня — ухватим завтра. Что нам стоит дом построить! Верно, нет, Денис?

— Ухватим, делать не фиг!

— Денису можно верить! — Векшин достал из нагрудного кармана пиджака визитку. — Держи, браток, на память. Будет худо, позвони, что-нибудь придумаем. И спасибо за рыбалку. Душу отвел в кои веки!

— Душу отвести можно было в отпуске, — угрюмо возразил водитель-охранник. — Вы ж на той неделе на Лазурный берег, в Ниццу, улетаете. Вот где рай-то для души!

— В Ницце, дорогой мой, безусловно, рай. — Векшин сладко, словно сытый кот на солнцепёке, потянулся. — Вот только щурогаев там не ловят!

Слово о друге

Размышляя о творчестве сибирского прозаика, нашего земляка Николая Коняева, тюменский писатель Виктор Строгальщиков в «Литературной России» как-то обмолвился: «Книги Коняева читаются с болью, а помнятся светло». Действительно, удивительная вещь...

Когда я впервые познакомился с Николаем Ивановичем, изумился его мальчишеской задорности и абсолютному отсутствию писательской «солидности». Увлечённость творчеством - вот, пожалуй, то, что выделяло его среди других. Порою он не знает полутонов - рубит с плеча и тогда для него нет авторитетов. Но в коняевской индивидуальности есть и нечто такое, что можно назвать зоркостью сердца...

Наблюдательный прозаик, он обращает внимание не на трагедии вселенского масштаба, а на моменты обыденной жизни. Они также полны событий и потрясений. Благодаря писательскому увеличительному стеклу, мы начинаем понимать: здесь тоже кипит жизнь со своими страстями, кодексами чести, радостями и огорчениями. Мы, читатели, невольно вовлекаемся в жизнь людей из российской глубинки, и с удивлением обнаруживаем: то, что до вмешательства Коняева казалось бурей в стакане воды, оказывается беспощадным приговором нашему обществу, и мириться с таким положением невозможно. Мы вдруг сами осознали — общество стало безответным на чужую боль всего за какую-то пару десятилетий. Утрачивается связь с народом, подпитка от его корней. Писатель подталкивает нас к размышлению о том, как, повинувшись неведомому замыслу, нация начинает превращаться в население, а родная земля - в территорию. От этого становится горько, но спасение есть: оно в понимании героев Коняева, в постижении главного: они - часть нас, а мы - часть их... Пусть им жизнь выдалась беспокойная, несытная. Но ведь не хлебом же единым... Потому-то писательская печаль светла, полна веры в человека...

Сколько бы ни сваливалось на русского человека неведомых соблазнов, а он всё пытается оставаться тем, кем его задумал Создатель. Грешным и слабым, но всё же человеком, находящим в себе силы подняться с колен. Спасает русского человека, конечно же, любовь и вера - это отчётливо прочитывается у Коняева. Но о том и другом его герои не говорят громогласно - большей частью они об этом молчат. И читателю становится понятно, о чём они безмолствуют...

У Николая Коняева нет суперменов, в его крепко сложенных повествованиях они оказались бы инородным телом и были бы по меньшей мере смешны. Все его персонажи - нашенские, земные, будь то «русский хант», чудачки Малыги, сторож Гурий Фадеевич, доморощенный поэт Мишуня, аптекарша Васюна, графоман Слепак... У каждого своя изюминка, которую подметил и переосмыслил писатель.

Не всякому дано сразу постигнуть убеждения коняевского героя, его подвижничество, проявляющееся в работе души. А для художника - это главное. Таков же и Николай Иванович. Энергичный, деятельный человек, бессменный редактор литературного ежегодника «Эринтур» на протяжении восемнадцати лет, он помог в издании книг многим своим товарищам по писательскому цеху. За три непрерывных срока руководства писательской организацией Югры способствовал выходу в свет десяткам сборников поэзии и прозы молодых литераторов, не забывал и о литературных опытах тех, кто развивал словесность в регионе с 30-х годов прошлого века, осуществив издание двухтомника литературной антологии. Он выступает и в роли летописца и мемуариста писательской организации, у истоков создания которой находился. А в произведении «Моя нечаянная Родина», которое трудно отнести к какому-то одному определённому жанру, выступил в роли серьёзного исследователя и публициста. А сколько ежегодных детских и взрослых литературных конкурсов за его плечами, различных конференций и презентаций, «круглых столов» и творческих обсуждений, семинаров и мастер-классов! Когда он в 1997 году принял руководство окружной писательской организацией, членов

Союза было 17, а когда покидал её, организация насчитывала 39 членов.

Переехав в Тюмень, писатель по-прежнему интересуется творческими делами в Югре, продолжает работу над своим детищем — альманахом «Эринтур». Количество его читателей с каждым новым произведением прибавляется, и они с нетерпением ждут его новых книг.

Михаил РЯБИЙ,
кандидат филологических наук,
член Союза писателей России

Содержание

Сергей ЛУЦКИЙ. И это всё о нём.....3

Прыжок с закрытыми глазами

Чтоб нас тоже видели! <i>Рассказ</i>	19
Деньги для адвоката. <i>Рассказ</i>	29
Прыжок с закрытыми глазами. <i>Рассказ</i>	48
Обидно! <i>Рассказ</i>	55
Прости, капитан! <i>Рассказ</i>	65
До поры до времени. <i>Повесть</i>	71

Отголоски

Отголосок. <i>Рассказ</i>	127
Коршун. <i>Рассказ</i>	133
Всё перевернут. <i>Рассказ</i>	137
Чужая музыка. <i>Рассказ</i>	146
Малыги. <i>Рассказ</i>	157
Околоток Перековка. <i>Повесть</i>	167

Бывает!

Старинный городской романс. <i>Рассказ</i>	241
Коллеги. <i>Рассказ</i>	251
Бывает! <i>Рассказ</i>	255
Изоша Поперёшный. <i>Рассказ</i>	270
Ночной грибник. <i>Рассказ</i>	276
Время поворота солнышка на лето. <i>Рассказ</i>	286
Новый русский хант. <i>Рассказ</i>	294
Михаил РЯБИЙ. Слово о друге.....	307

Литературно-художественное издание

Коняев Николай Иванович

БЫВАЕТ!

Рассказы и повести

Компьютерная верстка, оформление
В. Михайлов.

Подписано в печать 13.08.2013. Формат 84x108/32.
Печать офсетная. Гарнитура NewtonС. Усл. печ. л. 16,38.
Тираж 1 000 экз. Заказ № 18277.

Типография ООО «Сити-пресс»
625019, Тюмень, ул. Республики 211.
Тел. (3452) 27-37-00, 27-31-62.

КОНЯЕВ Николай Иванович



Родился 1 января 1954 года в посёлке Нялино Ханты-Мансийского района Тюменской области. Окончил Омский филиал Всесоюзного финансово-экономического института (1982) и Литературный институт им. А. М. Горького (1993). С апреля 1996 года – главный редактор литературно-художественного альманаха писателей Югры «Эринтур (Поющее озеро)». С ноября 1997-го по декабрь 2011 года – ответственный секретарь – председатель правления Ханты-Мансийской окружной организации Союза писателей России.

Автор книг повестей и рассказов «Сборщик дани. Звенела птица в поднебесье» (1992), «Перековка» (1993), «Чужая музыка» (1994), «Околоток Перековка» (1996), «Отголоски-отзвуки» (2000), «До поры до времени» (2005), художественно-документального и историко-публицистического повествования «Моя нечаянная Родина» (2008), сборника статей и выступлений «Право на профессию» (Шадринск, 2011). Проза печаталась также во многих центральных и региональных журналах, альманахах и коллективных сборниках.

Член Союза писателей России с 1994 года. Дважды лауреат премии губернатора Ханты-Мансийского автономного округа в области литературы (2001; 2009), Всероссийской премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (2005), региональной – «Урал промышленный – Урал полярный» (2007), премии Уральского Федерального округа в области литературы (2012). Заслуженный деятель культуры Югры.

Живёт в Тюмени.

ISBN 978-5-98100-165-9



9 785981 001659